



Т. МАНН О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ

145

THOMAS MANN

1550 SAN REMO DRIVE
PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA

10. Aug. 75

Sehr verehrter Herr Peter Choris,
Ihre erpaulichste Sendung vom 4. J.

ulph 16

caare

keide

den!

geh

und

in.

keide

kleu

keine

duld

gend und

aber mehr und mehr genügt bei höherer

Grande Kuschreiter, die Dinge nur mag

liebst Besten zu werden. Ihre epigramm

in um w

für

sein

son

sch

at n

at g

kom

ein

+ Je.

stigte v

igkeit, die u

Thomas
Mann



В немцах
и евреях

Томас Манн
О немцах и евреях

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפיאי
מרכז תרבות לעו
בית ארדשטיין - כ
מס. מלאי.....

1207



Т. Манн. Цюрих. 1955.

Томас Манн

О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ

Статьи, речи, письма, дневники

Составители:

Л. Дымерская-Цигельман, Е. Фрадкина



Библиотека-Алия

1990

Printed in Israel

תומס מאן על גרמנים ויהודים

Thomas Mann. On Germans and Jews

Составители: *Л. Дымерская-Цигельман,*
Е. Фрадкина

Перевод с немецкого: *Е. Фрадкина*

Редактор *М. Шкловская*

Обложка *Д. Мороз*

ISBN 965-320-138-7

*На обложке: факсимиле письма Т. Манна
к Ш. Бен-Хорину (публикуется впервые)*

© Русское издание 1990 — "Библиотека-Алия"

© Составление: *Л. Дымерская-Цигельман, Е. Фрадкина*; предисловие *Л. Дымерская-Цигельман*; примечания и перевод (кроме произведений, отмеченных в содержании *) *Е. Фрадкина*

All rights reserved

כל הזכויות שמורות

לספריית-עליה

ת.ד. 4140 ירושלים

יוצא לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, сентябрь 2020 г., Хайфа

*Памяти профессора
Шмуэля Эттингера
посвящается*

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	1
Томас Манн: Уроки гуманизма. <i>Д-р. Л. Дымерская-Цигельман</i>	9
"СТРАДАЯ ГЕРМАНИЕЙ"	
Дух и сущность немецкой республики	77
Артуру Шницлеру	83
Иде Бой-Эд*	84
Из эссе "Гёте и Толстой"*	86
Иозефу Понтену*	103
Мюнхен как центр культуры	107
Любек как форма духовной жизни*	110
Неизвестному	118
Теодор Шторм*	119
Немецкая речь. Призыв к разуму	122
Вальтеру Х. Перлю	127
Генриху фон Кайзерлингу	128
В издательство Пауля Челни	129
Из дневников	130
Альберту Эйнштейну*	134
Из дневников	135
Из сборника "Страдая Германией"	136
Герману Гессе*	141
Из дневников	142
А. М. Фрею*	144
Карлу Кереньи*	145
Герману Гессе*	147

Рене Шикеле*	148
Из дневников	149
Карлу Кереньи*	151
Эрнсту Бертраму	152
Из дневников	153
Гарри Слочауэру*	155
Из дневников	156
Внимание, Европа!	158
Эдуарду Корроди*	172
Из дневников	176
Конраду Энгельману	180
Декану философского факультета Боннского университета	180
Эрике Манн	188
К проблеме антисемитизма	189
Речь о необходимости борьбы за свободу	193
Из вступительной статьи к № 1 журнала "Мас унд Верт"	198
Из дневников	198
Обращение к Европейской конференции в защиту права и свободы в Германии	199
Из доклада "Вагнер и 'Кольцо Нибелунгов' "	199
Послание художникам Америки	202
Господину Кинбергеру*	203
Из дневников	204
Из послесловия к сборнику "Испания"	205
О грядущей победе демократии	206
Из дневников	240
Вступительная статья к сборнику "Внимание, Европа!"	241
Анне Джекобсон*	244
Из дневников	246
Речь на Всемирном конгрессе писателей в Нью-Йорке	247
Францу Верфелю	250
Из дневников	251
Голо Манну	252
Братец Гитлер	253

Культура и политика*	261
Опасности, грозящие демократии	271
Из дневников	273
Немецкие слушатели!	275
Агнес Мейер*	277
Рейнгольду Нибуру	277
Госпоже Ревальд	278
К.Б.Баутеллу*	279
Возможно ли сохранение мира или предстоит еще одна мировая война?	283
Из дневников	284
Кларе Земплини-Нейман	284
Эриху фон Калеру	285
Агнес Мейер	286
Из доклада "Германия и немцы"	287
Йозефу Публитцеру	306
Вальтеру фон Моло*	307
О Нюрнбергских процессах	317
Из послесловия к радиопьесе "Кровь моего брата"	318
Обращение по радио к американским солдатам в Германии	319
Гансу Поллаку*	320
Герману Гессе*	321
Выступление перед студентами Цюриха	323
Максу Рихнеру	325
Вилли Бауэру	325
Гансу Майеру	326
Паулю Ольбергу	329
Гансу Майеру	329
Джулио Эйнауди	330
Р.И.Гумму	331
Примечания к разделу I	333
 "УПОРНЫЙ НАРОД"	
О решении еврейского вопроса	359
О еврейском вопросе	363
Эрике Манн	369

Эрнсту Бертраму*	369
Интервью польской газете	
"Ционистише Вельт"	370
Якобу Горовицу	372
Интервью корреспонденту	
"Палестинского Бюллетеня"	375
Томас Манн о перспективах сионизма	378
Б. Фучику	378
Живая человеческая реальность	379
Юлиусу Бабу	381
Из дневников	382
Томас Манн и еврейство	382
Эриху фон Калеру	384
Почему еврейскому народу	
не надо отчаиваться	385
Из статьи "Памяти Макса Либермана"	386
Генриху Ротмунду	386
Зигфриду Гуггенгейму	387
Джеймсу Лафлину	388
Эмилю Бернгарду Кону	389
Доклад "Иосиф и его братья"*	389
Билликопфу	411
Немецкие слушатели!	412
Агнес Мейер	414
Клаусу Манну	415
Из дневников	415
Немецкие слушатели!	415
Гибель евреев Европы	417
О "Белой книге"	419
Протест против преследования	
венгерских деятелей культуры — евреев	424
Упорный народ	425
Еврейскому рабочему комитету	428
Агнес Мейер	428
Ионасу Лессеру	429
Бертольду Фиртелю	430
Шалому Бен-Хорину	431
Спасите евреев Европы!	432
Из статьи "Призраки 1938 года"	433

Д-ру И.-Л. Магнесу	433
Примечания к разделу II	437
Аннотированный список имен	451
Основные источники, использованные составителями	491

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая читателю книга — первое за пределами Советского Союза издание публицистики Томаса Манна на русском языке. Среди многочисленных тематических сборников на разных языках — это первый, где собраны вместе его мысли об истории, культуре и о пересечении судеб немецкого и еврейского народов.

Тексты, которыми начинаются оба раздела сборника "Страдая Германией" и "Упорный народ", датированы 1921—1923 гг.* Именно тогда в веймарской Германии все громче стала заявлять о себе национал-социалистическая партия. Этой партии немцы отдадут власть и тем предопределят свою роль палача Европы и коллективного убийцы шести миллионов евреев. В 1933 году большинством голосов власть будет отдана нацизму. Уже с 1921 года Томас Манн анализирует проявления и сущность национал-социализма, делает все, чтобы противопоставить новоявленному варварству гуманистические традиции немецкой культуры. Национал-социализм отрицает эту культуру; и тем не менее, он — ее порождение. Точнее, как покажет Т. Манн, он — продукт перерождения немецкой культуры и немецкого духа. Но нацизм нельзя объяснить лишь как локальное явление; Томас Манн рассматривает его в контексте всей европейской истории. И здесь, в общеевропейской исторической

*Исключение составляет одна статья во втором разделе — "О решении еврейского вопроса" (1907).

перспективе, национал-социализм предстает как феномен новой эпохи — той, начало которой положил "большевистский переворот в стране Толстого". Так названа Октябрьская революция в большом эссе "Гёте и Толстой", над которым писатель работал на протяжении 1921 и 1922 годов. Анализ духовных истоков сущности "переворота в стране Толстого" способствовал пониманию внутренней природы национал-социализма — писатель уже тогда распознал в большевизме и нацизме части того "мирового движения", для которого в целом "характерна диктаторски-террористическая тенденция", и уже тогда у него зарождается опасение, что антигуманизм, воцарившийся в России, может восторжествовать и в Германии.

Его публицистика начала 20-х годов показывает, что раскрытие общей природы тоталитарных систем, понимание того, чем чреваты они для человечества, побудили Томаса Манна переосмыслить некоторые свои прежние взгляды. Сам процесс этого переосмысления, его мотивы и результаты отражены в исповедальных эссе, статьях, выступлениях тех лет.

Известно, однако, что темы, нашедшие отражение в настоящем сборнике, занимали писателя много раньше 20-х годов. Принимая эти годы за точку отсчета, составители руководствовались также и тем, как оценивал сам Т. Манн свою публицистику того периода. Обозревая свой творческий путь, писатель говорил, что, меняя мнения, он всегда оставался верен своим убеждениям. Убеждением Т. Манна, его неизменной целью был гуманизм. "...Я никогда не посвящал своих сил чему-либо иному или, во всяком случае, не хотел посвящать свои силы чему-либо иному, кроме защиты гуманизма", — писал он за пять лет до своей смерти. Средства достижения этой цели, т. е. пути и способы защиты гуманизма, относились к сфере мнений,

которые, по признанию самого писателя, менялись весьма существенно.

Вплоть до 1920 года Т. Манн считал, что гуманистическую культуру нужно защищать от рассудочной меркантильной цивилизации Запада, политическое воплощение которой он видел в демократии. Работы же 1921—1923 годов показывают, что именно тогда Томас Манн меняет это свое мнение и приходит к выводу, что демократия, и только она, может выстоять против нарастающего "антигуманизма эпохи".

Этот вывод — плод долгих и мучительных поисков писателя*. По таким работам, включенным в настоящий сборник, как "Братец Гитлер", "О грядущей победе демократии", "Культура и политика", "Германия и немцы", можно видеть, что Т. Манн не калялся, не проповедовал, не упрощал задачи поисками сторонней злокозненной силы, а наоборот, исследуя истоки и причины процесса внутреннего перерождения "доброй Германии в злую", признает и раскрывает собственную причастность к этой трагической метаморфозе.

Открывающая сборник речь "Дух и сущность немецкой республики" публикуется на русском языке впервые. Это относится и ко многим другим текстам, например, дневниковым записям 1933, 1936, 1939 годов, вступительной статье к сборнику "Вни-

*Эти поиски отражены в его книге "Размышления аполитичного" (1915—1918), никогда не публиковавшейся на русском языке. Характеристику этого произведения, информацию о предыстории и истории его написания читатель найдет в книге Соломона Апта "Томас Манн" (Серия "Жизнь замечательных людей". М., "Молодая гвардия", 1972). В ней глубоко анализируются многие важнейшие философские и психологические аспекты художественного творчества и публицистики Т. Манна. Вместе с тем там почти не затрагиваются темы, стоящие в фокусе данного сборника. То же можно сказать и о советских работах о творчестве Т. Манна, в том числе и о весьма содержательной книге В. Адмони и Т. Сильман "Томас Манн. Очерк творчества" (Л., "Советский писатель", 1960).

мание, Европа!" (1938), "Опасности, грозящие демократии" (1940), "Из выступления перед студентами Цюриха" (1947), письмам Г. Майеру (1948), П. Ольбергу (1949), Дж. Эйнауди (1953), в которых Томас Манн говорит об исторической однотипности фашизма и большевизма, органическом родстве обоих тоталитарных режимов, об одинаковой губительности таких диктатур для человека, его достоинства, его культуры.

Также впервые на русском языке публикуется и большая часть помещенных в сборнике работ Томаса Манна о еврействе. В основном они сосредоточены во втором разделе книги, хотя статьи и выступления писателя об антисемитизме, о Катастрофе европейского еврейства, о вине и ответственности немцев за геноцид, об отступничестве западных держав читатель найдет и в первом разделе книги: "К проблеме антисемитизма" (1937), вступительная статья к сб. "Внимание, Европа!" (1938), письмо к А. Джекобсон (1938), "Опасности, грозящие демократии" (1940), из сб. "Немецкие слушатели!" (1942), "О Нюрнбергских процессах" (1945), из "Обращения по радио к американским солдатам" (1946) и др. Такое распределение материала вполне соответствует позиции самого писателя, ибо для Томаса Манна антисемитизм был в первую очередь немецким вопросом. Он всегда рассматривал юдофобию как симптом разложения и одичания того народа, который становится носителем (и жертвой одновременно) человеконенавистнических концепций.

По работам, включенным во второй раздел данного сборника — "Упорный народ", читатель может составить мнение о взглядах писателя на еврейство. Томас Манн был убежден, что евреи, дав миру единого Бога и Десять заповедей, заложили основы христианско-гуманистической культуры Запада (см. "Томас Манн и еврейство", 1935; "Почему еврейскому народу не надо отчаива-

ться”, 1936; доклад “Иосиф и его братья”, 1942; “Немецкие слушатели!”, 1943; письмо к А.Мейер, 1943; “Гибель евреев Европы”, 1943; письмо Ш. Бен-Хорину, 1945 и др.). Томас Манн также убежден, что история евреев не исчерпалась в древности. По ряду его выступлений (интервью газете “Юдише Рундшау”, 1927; интервью корреспонденту “Палестинского бюллетеня”, 1930; интервью венской газете “Фрейе Прессе”, 1930) мы видим, и как он оценивал вклад евреев в европейскую культуру и какое вместе с тем значение придавал строительству еврейского Национального очага в Палестине. Историческая правомерность сионизма, его общая цивилизаторская направленность всегда признавались писателем. Но если вплоть до Второй мировой войны Томас Манн считал, что большая часть евреев будет и дальше жить и творить в диаспоре, а в Палестине будет строиться культурно-национальный еврейский очаг, то под влиянием Катастрофы европейского еврейства и отступничества западных держав писатель меняет это свое мнение и приходит к выводу о необходимости создания еврейского государства, ибо только оно даст возможность евреям собственными силами отстоять свое существование и свое место в истории (см., например, “О ‘Белой книге’”, 1944; “Призраки 1938 года”, март 1948; письмо д-ру И.-Л.Магнесу, апрель 1948 и др.).

Стремление составителей дать более или менее адекватное представление о взглядах Томаса Манна по широкому спектру проблем, относящихся к тематике сборника, привело к тому, что некоторые работы представлены в нем фрагментарно. Это в первую очередь относится к тем работам, которые опубликованы в других изданиях на русском языке. Не полностью приводятся и ряд записей и писем, в которых опущены большей частью бытовые подробности.

Работа над настоящим сборником, естественно,

включала в себя ряд этапов — от зарождения замысла до создания собственно книги. С чувством глубокой благодарности составители отдают дань памяти покойному профессору Шмуэлю Эттингеру. Его идеи и советы, его заинтересованное участие способствовали превращению абстрактного поначалу замысла в более или менее стройную концепцию книги.

В разрешении трудной задачи организации собранного материала неоценимую помощь оказала нам редактор Маргарита Шкловская. Столь же весомым был ее вклад и в составление справочного аппарата, и в работу над текстами переводов и вступительной статьи. Составители глубоко признательны М. Шкловской за ее творческий вклад в создание этого сборника.

Весьма полезными для нас были замечания израильского писателя Ицхака Орена (Наделя), его интерпретация манновского понимания смысла еврейской истории. К сожалению, анализ философско-исторических концепций Т. Манна, вплетенных в ткань его художественных произведений и находящих свое выражение в судьбах и образах героев его романов ("Волшебная гора", "Иосиф и его братья", "Доктор Фаустус"), выходит за рамки данного — публицистического — одготомника. И в самих текстах сборника, и во вступительной статье к нему отражены лишь те аспекты художественного творчества писателя, которые освещаются им самим в его публицистических работах. Анализ манновской философии еврейской истории, его понимание "архетипности", типологичности событий, персонажей и сюжетов, его трактовка феномена повторяемости в историческом процессе, его объяснение постоянства черт национального духа и характера при всем разнообразии индивидуальных судеб и личностных особенностей составили бы содержание другой работы

— о еврейской теме в художественном творчестве писателя.

Большую помощь в поиске текстов по еврейской тематике, в особенности малоизвестных выступлений Т. Манна о сионизме, оказал нам д-р Марк Гельбер, автор ряда статей об отношении Томаса Манна к еврейству и сионизму.

Составители выражают также искреннюю благодарность д-ру Нафтали Прату за его советы и замечания.

Д-р Л. Дымерская-Цигельман, Е. Фрадкина

ТОМАС МАНН: УРОКИ ГУМАНИЗМА

В письме Эрнсту Бертраму* от 2 февраля 1922 года Томас Манн писал: "... мысль, по-настоящему мною сейчас владеющая, — это мысль о новом, личном осуществлении идеи гуманности — в противоположность, однако, гуманному миру Руссо. Я буду в конце месяца говорить об этом во Франкфуртской опере перед "Волшебной флейтой" — в связи с Неделей Гёте..." (Г. Манн, Т. Манн. Эпоха, жизнь, творчество. Переписка, статьи. Перевод С. Апта. М., "Прогресс", 1988, стр.173)**. Свой доклад в опере Томас Манн назвал "Идея органической связи исповеди и воспитания". На этой же идее — идее воспитания, основанного на исповеди, строилось эссе "Гёте и Толстой" (его подзаголовок: "Фрагменты к проблеме гуманизма"), над которым Т. Манн тогда работал. Это эссе было опубликовано в конце 1922 года после серии чтений фрагментов из него, начатой Т. Манном в сентябре 1921 года на Неделе Севера в Любеке и продолженной в Праге, Брно, Вене, Будапеште, Мадриде и Франкфуртена-Майне.

*Встречающиеся здесь имена собственные можно найти в Аннотированном списке имен, помещенном в конце сборника.

**В скобках даны указания на источник. Отсутствие подробных отсылочных данных означает, что цитируемый текст или его отрывок включен в состав настоящего сборника.

Эссе как "критическое наблюдение над собственной жизнью" всегда, по словам Т.Манна, сопровождало его творчество. Прямое и многократное обращение к разнонациональной европейской аудитории показывает, сколь поучительными считал Манн "наблюдения над своей жизнью" тех лет, ибо не приходится сомневаться, что эссе, в котором сопоставляется жизнь и исповедально-педагогическое творчество великих наставников двух народов — немецкого и русского, — было одновременно и исповедью самого Томаса Манна.

Также исповедальными, но связанными непосредственно с его собственным опытом, были статьи, речи, письма Т.Манна о пережитом в годы войны и об уроках, извлеченных из пережитого. Писалось все это примерно тогда же, когда и эссе "Гёте и Толстой", — в 1921—1923 годах. "Эссе" тех лет возникли, писал Томас Манн, "из совпадения внутренней необходимости с запросами времени". Далее там же он подчеркивал, что "речи, начиная с речи "О немецкой республике", произнесенной зимой 1922—1923 года в Берлинском зале имени Бетховена, обозначают выходящие за пределы литературы высокие моменты моей личной жизни" (Т.Манн. Очерк моей жизни. Собр. соч. в 10-ти тт., т.9. М., "Худ. литература", 1960, стр. 129).

Публицистические работы тех лет и прежде всего эссе "Гёте и Толстой" дают достаточное представление о духовной эволюции Т.Манна в период отхода от провозглашенной им ранее доктрины "аполитичности". В годы Первой мировой войны Томас Манн прошел трудный путь самопознания. Именно так он оценивал продолжавшуюся более трех лет (1915—1918) и стоившую ему "мучительных усилий" работу над книгой "Размышления аполитичного". "Ту книгу, — вспоминал он, — я написал, страстно отдаваясь самопознанию и пересмотру всех основ моего мировоззрения, всех унаследованных мною традиций — традиций аполи-

тичной немецко-бюргерской духовной культуры” (“Культура и политика”). Во имя этой культуры Т.Манн, по его словам, всеми силами сопротивлялся тому, что он называл “демократией”, имея в виду политизацию духовной жизни. “По моему мнению, притязания демократии на ‘дух’ — дерзость, — писал он А.Эренштейну 11 февраля 1915 года. — Ее ‘дух’ — добиваться прогресса в политике, ‘дух’, из которого можно извлечь выгоду... Это дух прессы. И демократия симулирует тождество между прессой и духом”.

Демократия представлялась Т. Манну продуктом западной утилитарно-рассудочной цивилизации, которую он, следуя за Ф.Ницше, противопоставлял духовной культуре Германии. Спустя неделю после подписания Версальского договора Томас Манн, не скрывая горечи, писал: “... победа Англии — Америки закрепляет и завершает ход цивилизации, рационализации, утилизации Запада... Великая немецкая идея от Лютера (самое позднее от Лютера) до Бисмарка и Ницше опровергнута и обесчещена — это факт, который многие из нас *приветствуют* (курсив Т.М.), который будет установлен многими хорошо продуманными пунктами условий мира и который я хотел предотвратить в своей борьбе против литератора от цивилизации” (письмо Густаву Блюме от 5 июля 1919 г. См.: Т.Манн. Письма. М., “Наука”, 1975, стр.23).

“Литератор от цивилизации” — это старший брат Томаса Манна Генрих. “Литератор от цивилизации” — такой заголовок дает Томас Манн одной из самых полемичных глав “Размышлений аполитичного”, награждая в ней не названного по имени брата еще и такими эпитетами, как “друг Антанты”, “немецкий западник” и т.п. Главным предметом полемики был объемистый очерк Генриха Манна “Золя”, опубликованный в ноябре 1915 года. Пользуясь историческими аналогиями, Генрих Манн утверждал неизбежность и желатель-

ность поражения вильгельмовской Германии — государства, основанного на насилии, где человек не ставится ни во что. В "Размышлениях аполитичного" Томас Манн парировал: "Я заявляю, что, по моему глубочайшему убеждению, немецкий народ никогда не примет политическую демократию. Я предвижу, что столь часто осуждаемое 'авторитарное государство' — самая приемлемая для него форма правления и что ее-то он в глубине души и желает".

Чуждые немцам идеи равенства и всеобщего избирательного права, считал тогда Томас Манн, исходят от французов и евреев — носителей "того галльско-еврейско-интернационалистского интеллектуализма, который заставляет немецкую душу смириться под его тиранством" (письмо Гансу Йосту, 1920. См.: Э.Келлер. Национализм и литература. Берн, 1970, стр.222). Так выглядела "аполитичность аполитичного" в 1920 году. Еще тогда Томас Манн не отказался от идей, выдвинутых в полемике с братом, в частности, идей, изложенных в небольшой, но весьма насыщенной статье 1917 года "Мир во всем мире?". Руссоистскому учению о "добром народе", революционному оптимизму, "то есть вере в политику, в муравейник, в социализм и в *gerublique sociale et universalle*", там противопоставляется русский и немецкий дух, Достоевский и Шиллер, которые, пишет Т. Манн, "согласны в том, что проблема человека может быть решена не политическим, а только психологически-нравственным способом" (см.: Г. Манн, Т. Манн. Цит. соч., стр.161)*.

*Стоит отметить, что в "Размышлениях аполитичного" в подтверждение своих идей Томас Манн часто и охотно цитирует "Дневник писателя" Ф.М.Достоевского, в особенности места, где русский писатель противопоставляет Германию Западу, немецкую историю — Риму.

Последовавший в январе 1918 года обмен письмами между братьями привел к трехгодичному разрыву отношений, одинаково болезненному для обоих. Томас Манн на некоторое время уходит в "свободное музицирование" — так в отличие от "писательства" (эссеистики, публицистики) он называет свое художественное творчество. Он создает несколько новелл, но главное, возвращается к начатому еще до войны роману "Волшебная гора" — истории, которая, по его словам, "пытается своеобразно, иронически и несколько пародийно возродить старонемецкий 'роман воспитания' типа 'Вильгельма Мейстера', плод нашей великой бюргерской эпохи" ("Любек как форма духовной жизни", 1926).

Но уже с 1921 года "свободное музицирование" вновь сопровождалось "писательством". Две наиболее значимые работы тех лет — эссе "Гёте и Толстой" и речь "О немецкой республике" — Т. Манн назвал впоследствии "непосредственными прозаическими ответвлениями романа". Он работал над ними, по его собственным воспоминаниям, в то "терзаемое проблемами и нещадно понуждавшее думать время", когда "требования со стороны внешнего мира неминуемо должны были множиться, и автор "Размышлений аполитичного" менее чем кто-либо другой из его собратьев был тогда вправе от них уклоняться" (Т. Манн. Очерк моей жизни. Собр. соч., т. 9, стр. 128—129).

"Нещадно понуждавшими думать" событиями были: война, революция, падение двух империй и появление на политической карте Европы двух новых республик. Российская советская республика приняла свою конституцию 10 июля 1918 года; конституция Германии, провозгласившая республику, была принята в Веймаре 31 июля 1919 года.

Опыт первых лет существования этих республик, воспринятый в контексте жизни военной и послевоенной Европы, подводит Томаса Манна к новой постановке традиционного для него вопроса — о

взаимоотношении духа и жизни, духовной культуры и социальной действительности. Именно тогда Т. Манн приходит к убеждению, что "политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма". Именно тогда снимается традиционное для него противоположение духовной культуры и цивилизации, духа и политики, и он заключает: "Культура стоит перед лицом грозной опасности, если ей недостает политического инстинкта и воли". ("Культура и политика").

В какую форму должны воплотиться "политический инстинкт и воля", дабы создать благоприятные для развития духовной культуры рамки? Ответ однозначен: республика, демократия. Демократия и только она определяется как "политический аспект духовного, как готовность духа к политике" (там же). Свою аргументацию в пользу демократии Т. Манн, еще недавно ратовавший за авторитарное государство, изложил в речи "О немецкой республике", произнесенной 15 октября 1922 года на вечере, посвященном 60-летию Герхарта Гауптмана. Но юбилейные торжества вряд ли были тем главным, что волновало докладчика. "Конец Ратенау, — писал он Э. Бертраму спустя полмесяца после убийства министра иностранных дел Веймарской республики, — был и для меня тяжелым шоком. Какой мрак в головах этих варваров! Я собираюсь придать статье ко дню рождения Гауптмана вид некоего манифеста, взывающего к совести молодежи, которая ко мне прислушивается" (цит. по: С. Апт. Томас Манн. М., "Мол. гвардия", 1972, стр. 200).

Массовая молодежная аудитория, которая к нему прислушивается, внимает голосу совести — одна из иллюзий Томаса Манна, стремившегося своим уроком, своей исповедью приблизить превращение должного в сущее. Речь "О немецкой республике", построенная на искусной интерпретации идей не-

мецкого романтика XVIII века Фридриха Новалиса, прерывалась топотом и выкриками всякий раз, когда докладчик говорил о пагубности романтизации войны, "сентиментального обскурантизма", открывшего дорогу террору и запятнавшего страну "отвратительными и безмозглыми злодеяниями". "Топот ног" и "шум в зале" (эти ремарки по желанию автора были впоследствии включены в напечатанный текст) сопровождали доклад и в те моменты, когда Т.Манн пытался "расположить своих слушателей в пользу республики" (так он определял потом цель доклада), доказывая, что немцы должны проникнуться республиканским духом в интересах гуманизма, ради достойного соединения национального с общечеловеческим.

Не только присутствовавшие на докладе, но и многие другие, в том числе близкие друзья, отнеслись к выступлению Томаса Манна как к "предательству, измене самому себе, отречению от собственных поступков". Так писатель оценил реакцию на его речь Иды Бой-Эд (см. в наст. сб. письмо Иде Бой-Эд от 5 декабря 1922 г.). Томас Манн категорически отвергает эти обвинения. Вслед за Гёте он различает между убеждениями и мнениями, подчеркивая постоянство первых и изменчивость вторых. В письме Герману Гессе от 8 февраля 1947 г. (см. в наст. сб.), обозревая пройденный им путь, Т.Манн утверждает: "... за тридцать лет я весьма существенно менял свои мнения, не ощущая в общем-то никакого перелома, никакого разнобоя в себе". Не ощущал он такого разнобоя и в 1922 году, утверждая, что его речь "О немецкой республике" — "прямое продолжение существенной линии "Размышлений" (письмо Иде Бой-Эд от 5 декабря 1922 г.). Существенное, относящееся к убеждениям, — это гуманизм и его немецкое воплощение — духовная культура бюргерства. Во имя немецкой гуманности он отрекался от политики, во имя той же гуманности он считал теперь

своим долгом отречься от позиций аполитичного, ибо ему становится ясно: не сама по себе гуманистическая культура, а ее государственно-политическое воплощение — демократия — может выстоять против "фашистско-экспрессионистского бушевания", против обскурантизма, "привораживающего уставшее от релятивизма и жаждущее абсолюта человечество" (см. то же письмо).

В годовщину убийства Вальтера Ратенау, в Мюнхене, 28 июня 1923 г. Томас Манн произносит речь "Дух и сущность немецкой республики". Вечер, посвященный памяти В. Ратенау, был организован сообществом студентов-республиканцев, так что на этот раз Т. Манн выступал перед сочувственно настроенной аудиторией. Анализируя смысл и значение убийства В. Ратенау — одной из первых публичных антисемитских акций нацистов, Томас Манн разъясняет, в чем опасная привлекательность диктаторских тенденций, что можно и должно противопоставить нарождающейся фашистской диктатуре. Углубляя свою аргументацию, писатель кратко и выразительно резюмирует идеи, изложенные за семь месяцев до того в его первой "республиканской" речи в Берлине.

Теперь Томас Манн определяет республику как *"единство государства и культуры"*. Республиканская идея, говорит он, означает, что "политика перестает быть просто политикой, она возвышается до *гуманности*" ("Дух и сущность немецкой республики", курсив Т. М.). Т. Манн, разумеется, видит, как далек провозглашенный им идеал от веймарского его воплощения. Но это не основание для отказа от самого идеала. Напротив, Томас Манн настаивает на том, что "единство государства и культуры, которое является основным принципом идеи республики, должно составлять не только немецкого, но и всех народов главнейшую цель, к ее достижению следует приложить все усилия, на какие только способен человек, иначе Европа поте-

ряет себя и придет в упадок". Он уже тогда прозревает универсальность "порожденного депрессией антигуманизма", считая наиболее очевидными его проявлениями большевизм в России, фашизм в Италии, реакцию в Венгрии, распространение националистических идей во Франции. Томас Манн объясняет, почему большевизм, "хоть он и проникнут революционным и радикалистским духом", относится к формам проявления депрессии. "Большевизм, как бы ни расценивать его и его значение, во всяком случае, — утверждает Т. Манн, — не является ни демократией, ни свободой, ни гуманностью, а диктатурой и террором". Именно поэтому писатель видит в нем часть того "мирового движения", для которого в целом "характерна диктаторско-террористическая тенденция" (там же).

Частью этого "мирового движения" является и нацизм, в политическом терроризме и диктаторских устремлениях которого Томас Манн сразу же распознал тоталитарную альтернативу республике. Но в Веймарской республике "порожденный депрессией антигуманизм" лишь набирал силу, а в России он уже стал всеохватывающей политической реальностью.

Как это произошло? Томас Манн не политолог и не социолог, он в ранге тех, кто творит культуру. Политическое и социальное в жизни личности и народа он рассматривает прежде всего как гуманист — с точки зрения сохранения и приумножения человеческого в человеке. Его занимает не то, как и какими силами был осуществлен "большевистский переворот в стране Толстого", для него важнее всего духовные истоки русского устремления к Абсолютному, к обскурантизму — "опасности любого времени, которое вожделеет Абсолютного" ("Дух и сущность немецкой республики"). Томас Манн основательно и с большим пиететом изучал русскую литературу и, сравнивая русских мыслителей с немецкими, приходил к вы-

воду, что глубокое духовное сродство, сближавшее Россию и Германию, во многом определяется одинаково критическим отношением германо- и славянофилов к Западу, к его политической культуре, к его духовным ценностям. Именно духовная близость обоих народов, тот резонанс, который получила в кругах немецких и русских интеллектуалов философия жизни с ее апологетикой архаики, "природы", "почвы", "народа", та популярность, которой пользовались в обеих странах антизападные почвенно-народнические воззрения, — именно все это и родило у него опасение: немцы, подобно русским, презревшим гуманистические ценности своей культуры, тоже могут пойти "диктаторско-террористическим путем". И Томас Манн обращается к тем свойствам немецкого духа, к тем гуманистическим традициям, которые могли бы стать преградой на пути "русского соблазна" (Н. Бердяев). И в Германии наблюдалась "тяга к Абсолютному", тем более опасная, что послевоенное поколение воспринимало идеи гуманизма, либерализма, демократии, суверенности личности как "осужденные временем и отжившие свое". На смену им и в Германии поднималось "нечто совсем иное, противоположное этому. Не индивидуализм, а общность, не свобода, а железное обязательство, безоговорочный приказ, террор" ("Дух и сущность немецкой республики").

Надежду на то, что такое "иное" не восторжествует в Германии, что ее не постигнет участь России, Томас Манн основывает на принципиальных различиях во взглядах двух равных по рангу наставников своих народов — "небожителя" Гёте и "великого писателя земли русской" Толстого, который "для своей страны и своего народа имеет примерно то же значение, что для нас автор "Фауста" и "Вильгельма Мейстера" ("Гёте и Толстой").

Какова роль идей "великого писателя земли русской" в совершившемся в его стране "боль-

шевистском перевороте”? Оценивая значение “европейски-прогрессистской идеи”, с одной стороны, и толстовства — с другой, Томас Манн пишет: “Западно-марксистский чекан, озаривший ясным светом великий переворот в стране Толстого (подобно всякому свету, озаряющему покров вещей), не мешает нам усмотреть в большевистском перевороте конец Петровской эпохи — западно-либеральствующей *европейской* (курсив Т. М.) эпохи в истории России, которая с этой революцией снова поворачивается лицом к Востоку. Отнюдь не европейски-прогрессистская идея уничтожила царя Николая. В нем уничтожили Петра Великого, и его падение расчистило перед русским народом путь не на Запад, а возвратный путь в Азию” (“Гёте и Толстой”).

“Западно-марксистский чекан” озарял лишь покров вещей... Не так просто согласиться с этим на восьмом десятке советской истории. Пожалуй, ближе к истине часто встречающееся толкование марксизма как особого плода западноевропейской мысли, семена которого пошли в рост на Востоке. Логично, правда, предположить, что дружные “восточные” всходы могли появиться на уже взрыхленной, подготовленной почве. Томас Манн, в сущности, и рассматривает тот процесс, который подготовил в России почву для восприятия идей коммунистического мессианства, освятивших “исторический поворот”. “Возвратный путь” России в Азию во многом, полагает он, был подготовлен распространением и усвоением философско-морализаторских и педагогических идей Толстого. Льва Толстого он называет пророком того исторического поворота, с момента совершения которого “появилось в Западной Европе ощущение, что и она, и мы, и весь мир, а не только Россия, присутствуем при конце эпохи, эпохи буржуазно-гуманистической и либеральной, которая родилась в эпоху Возрождения, достигла расцвета в период

Французской революции и сейчас мы присутствуем при ее последних судорогах и агонии” (“Гёте и Толстой”).

Называя Толстого пророком этого исторического поворота, Т. Манн добавляет: “... хотя в Москве и не отдают в этом отчета”.

Позволим себе небольшое отступление, чтобы показать, что в Москве (хотя Томас Манн об этом не знал, да и не мог знать) приходили к выводам, по сути своей совпадавшим с его заключениями. В том же 1921 году, когда он занялся сопоставлением Гёте и Толстого, рабочие московской типографии Кушнарева самовольно решили выпустить в продажу сборник “Из глубины”, набранный еще в 1918 году, но запрещенный тогда цензурой. “Революция 17-го года перед судом русской религиозно-философской и философско-общественной мысли” — так определил смысл сборника Никита Струве в предисловии к изданию 1967 года — фактически первому доступному для читателя, ибо тираж 1921 года не дошел даже до московских магазинов. “Нигде с такой ясностью и остротой, — пишет Н. Струве, — не были вскрыты те особые свойства русской души и условия русской истории, приведшие к взрыву 1917-го года” (Из глубины. Сборник статей о русской революции. Париж, “Имка-пресс”, 1967, стр. V). Все одиннадцать авторов сборника, среди них — Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Вячеслав Иванов, Петр Струве, Семен Франк и другие, были единодушны в своем восприятии революции: для них она была глубочайшей национальной катастрофой. Ее национальные корни исследуются русскими мыслителями с тем же мужеством и с той же исповедальной силой, с какими Томас Манн исследует дух и судьбу своего “злополучного народа”, принесшего миру “столько невыразимых страданий” (“Германия и немцы”, 1945).

Равно как и Томас Манн, который считал, что “нет двух Германий, доброй и злой, а есть одна-

единственная Германия, лучшие свойства которой превратились в олицетворение зла” (там же), так и авторы сборника “Из глубины” исходят из идеи единства и преемственности русского духа и русской истории. В статье “Духи русской революции” Н. А. Бердяев писал: “Нелегко улавливается связь нашего настоящего с нашим прошлым... Но более углубленное и проникновенное познание должно открыть в России революционной образ старой России. [...] Долгий исторический путь ведет к революциям, и в них открываются национальные особенности даже тогда, когда они наносят тяжелый удар национальной мощи и национальному достоинству. [...] Русская революция антинациональна по своему характеру, она превратила Россию в бездыханный труп. Но и в этом антинациональном ее характере отразились национальные особенности русского народа и стиль нашей несчастливой и губительной революции — русский стиль” (см.: “Из глубины”, стр.72).

Николай Бердяев, как и Томас Манн, исходит из того, что разгадка истории и судьбы народа кроется в истории его духа. “В образах Гоголя и Достоевского, в моральных оценках Толстого, — утверждает русский философ, — можно искать разгадки тех бедствий и несчастий, которые революция принесла нашей родине, познания духов, владеющих революцией” (там же, с.73). Однако сама роль этих великих русских художников в духовном процессе, предварявшем революцию, далеко не однозначна. “... Ложную мораль и ложную святость революции Достоевский раскрыл и предсказал их последствия, Толстой же проповедовал их”, — пишет Н. Бердяев (там же, стр.104). Он показывает прямую связь толстовского требования “немедленного и полного абсолютного добра” с пролетарским мессианством, с пагубной революционной апокалиптикой, бывшей, по сути, той тягой к Абсолютному, которой так опасался Томас Манн.

И Томас Манн, и Николай Бердяев глубоко почитают Толстого-художника. Но в революции, утверждал Бердяев, "восторжествовал другой Толстой — Толстой моральных оценок, обнаружилось толстовство как *характерное* для русских мирозерцание и мировоззрение" (там же, стр.73; курсив мой. — Л.Д.-Ц). И Томас Манн, сопоставляя просветительские идеи Гёте и Толстого, писал, что в идеях Толстого его в первую очередь интересовало то, что в них характерно. "А они действительно характерны, в высшей степени и со всех точек зрения, и не только для самого Толстого, а как знамение эпохи, да, как пророческое знамение эпохи" ("Гёте и Толстой"). К идеям, знаменовавшим "конец европейской эпохи в истории России" (Т.Манн), "освятившим революцию" (Н.Бердяев), оба мыслителя относят нравственный максимализм Толстого, вылившийся в отрицание суверенности личности и ее свобод, и такую философию жизни, которая, призывая к непротивлению и опрощению, возвращению к природе и "естественному порядку", по существу, отрицала христианскую культуру Запада и в конечном счете вела к социальному хаосу и анархизму. Н.Бердяев пишет: "Толстой хотел бы последовательно истребить все, что связано с личностью и качеством. Это в нем восточная, буддийская настроенность, враждебная христианскому Западу" (там же, стр.97). И еще: "В нем совершилась роковая встреча русского морализма с русским нигилизмом и дано было религиозно-нравственное оправдание русского нигилизма, которое соблазнило многих. В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание" (там же, стр.98).

Направляя острие своей критики против культуры и государства (их возникновение, по Толстому, было "отпадением от естественного божественного порядка, началом зла, насилием"), идеализи-

руя простой народ — "источник правды", обоготворяя физический труд и выказывая "пренебрежительное и презрительное отношение ко всякому духовному труду и творчеству", Толстой, по утверждению Н. Бердяева, "оказался источником философии всей русской революции. [...] Поистине Толстой имеет не меньшее значение для русской революции, чем Руссо имел для революции французской" (там же, стр.100, 101). Правда, насилия и кровопролития, пишет Н. Бердяев, ужаснули бы Толстого. Но и Руссо ужаснули бы деяния Робеспьера и революционный террор. "Но Руссо так же несет ответственность за революцию французскую, как Толстой за революцию русскую", — утверждает Н. Бердяев. "Толстой был одним из русских соблазнов, — заключает он. — Толстовство в широком смысле этого слова — русская внутренняя опасность, принявшая обличье высочайшего добра" (там же, стр.101).

Во многом так же оценивал сущность толстовских идей и Томас Манн, подчеркивая при этом, что "то, что Толстой думал, было, как правило, бесконечно ниже того, чем он *был*" ("Гёте и Толстой", курсив Т.М.). Томас Манн пишет о "мятежном христианстве" Толстого, отмечая, как и Н. Бердяев, его "враждебность духу культуры, противоположной всему первобытному". Педагогические воззрения Толстого, считал он, носят крайне антизападный, антипрогрессистский характер. "С этими воззрениями тесно связан анархизм Толстого — его вера в анархический принцип как единственно разумную основу человеческого общежития, его догмат, согласно которому абсолютная свобода делает окончательно излишней дисциплину" ("Гёте и Толстой"). Томас Манн утверждает, что "в анархическом учении великого русского его азиатство... вступает в соединение с западноевропейскими революционными элементами, с педагогическими идеями Руссо и его ученика

Песталоцци, в которых продолжает жить, хотя и под другим обликом и окраской, этот же элемент антицивилизированности и возврата к первобытному состоянию, словом — анархический элемент” (там же). Именно в анархическом элементе, в отрицании культуры Т. Манн, как и Н. Бердяев, видит то общее, что объединяет пророка “большевистского переворота” в России с духовным вдохновителем Французской революции.

В полемическом призыве Толстого не изучать античные языки звучит, считает Томас Манн, “протест *русского народничества* против *гуманистической цивилизации*: в нем проявляется враждебное классической культуре язычество Толстого...” (там же, курсив Т. М.). Толстовское противопоставление “истинного воспитания, которое дает жизнь”, тому, которое получают в университетах (откуда, как отмечает Т. Манн, цитируя Толстого, выходят “раздраженные больные либералы”), толстовское отрицание ценности классического образования характеризуют, утверждает Т. Манн, отношение Толстого к Западу, к цивилизации, “его народническую ненависть к ненародному, чужому, образующему; словом, — обобщает Т. Манн, — раскрывают возмущение древней Руси против Петра” (там же). События, разыгравшиеся в Европе, заключает он, “позволяют нам воспринять педагогические теории Толстого как пророчество” (там же).

Речь шла о послевоенной Европе, о нараставшей угрозе ее дегуманизации. Антигуманизм, пронизавший все сферы жизни в стране Толстого, все громче заявлял о себе и в стране Гёте. Здесь он воплощался в немецкий фашизм, определяемый Т. Манном как “этническая религия, которой ненавистно не только международное еврейство, но явно и христианство — как человеческая сила” (там же). В “националистическом язычестве” и “романтическом варварстве” фашизма, в стремлении “вытеснить из культурно-воспитательной области humaniora,

классическое образование” Томас Манн видит явное родство с философией жизни, освятившей тягу к Абсолютному, ради достижения которого в стране Толстого дозволенным теперь было все.

И Томас Манн стремится убедить своих соплеменников: “Сейчас для Германии не время выступить против гуманизма, брать за образец... педагогический ”большевизм” Толстого... Наоборот, для нас наступил момент со всей силой подчеркнуть и со всей торжественностью восславить наши великие гуманные традиции ...” (там же).

Эти традиции Томас Манн возводит к Гёте. ”Гуманистическая божественность Гёте, — пишет он, — совершенно явно принимает какие-то иные черты, чем глыбистая первобытно-языческая божественность Толстого...”. ”Европейский гуманист” Гёте отличается от ”апостола восточного мира” Толстого своим преклонением ”перед нравственной культурой христианства, иначе говоря, перед его гуманизмом, его просветительской, антиварварской тенденцией”. Этой тенденции, утверждает Т. Манн, следовал сам Гёте — ”он считал своей задачей, своим национальным призванием быть прежде всего просветителем”. И в этом — высшее выражение его немецкости, ибо в просветительстве Томас Манн видит историческую миссию немецкой нации, которой (мечтал он тогда) ”предназначено подняться до такой ответственности, чтобы стать образцом для других” (там же).

В завершающей части эссе ”Гёте и Толстой” Томас Манн излагает свое понимание ”серединности” немцев — той особой черты немецкости, которая делает немцев ”образцом для других”. Он стремится убедить своих современников, что немцам — ”этому срединному народу — ’гражданину мира’ — пристали пафос и мораль, соответствующие его положению” (там же). За год до публикации эссе, в своей статье ”О еврейском вопросе” (1921) Томас Манн одобрительно отзы-

вается о молодежи, "которая сегодня решительно ищет немецкое, не считая истиной ни 'Рим', ни 'Москву'". Но такое проявление немецкости, как срыв лекции Альберта Эйнштейна, "потому что этот человек — еврей", Томас Манн называет отвратительным позором, и он желал бы "не быть в этом виновным".

Идея "серединности" немцев — их уникальной способности сочетать в себе природное начало с духовным, их органической чуждости всякому экстремизму, философскому и политическому, — преподносится как школа национального воспитания и в романе Т. Манна "Волшебная гора". "Немецкий дух, — говорил он, объясняя главную идею этого романа, — значит то же, что 'середина', а 'середина' то же, что бюргерство... Немецкий характер как таковой и есть бюргерство, бюргерство в высоком смысле слова, мировое бюргерство, мировая среда, мировая совесть, мировая умеренность, которая не дает увлечь себя ни вправо, ни влево и критически отстаивает идею гуманности, человечности, человека от всех крайностей" ("Любек как форма духовной жизни", 1926).

Роман "Волшебная гора", говорил Т. Манн, был попыткой возродить старонемецкий роман воспитания. Принимая на себя роль наставника, писатель стремится свое собственное постижение идеи серединности превратить в общенациональное достояние. Он верит, что своим примером, примером героя своего романа — простодушного Ганса Касторпа — может приблизить превращение должного в сущее, разумного в действительное. И до тех пор, пока нацизм существует как некая идеологическая доктрина, как политическая потенция, т.е. до тех пор, пока не выявлены реальные масштабы его укорененности и сила его влияния, Т. Манн стремится убедить себя и других, что единственное подлинно немецкое — это гуманность. В этом смысле истинно немецкое равнозначно общечело-

веческому, и потому оно неуничтожимо. Он отвергает саму возможность того, что бюргерскую форму жизни, "тесно сплетенную с идеей гуманизма, человечества и вообще человеческого развития", могла бы обречь на гибель ставшая непреложным фактом "мировая революция", что ее без остатка мог бы поглотить "новый мир, возникший на востоке" (там же).

* * *

"Серединный путь" — это путь соединения, писал Т. Манн, национального начала, сущность которого всегда лежит в природе, с общечеловеческим, сущность которого — в духе ("Гёте и Толстой"). "Торжественная встреча духа и природы, страстно стремящихся друг к другу, — *это человек*" (там же, курсив Т. М.). Так афористично завершает писатель главу "Природа и нация" своего эссе "Гёте и Толстой".

Путь, который ведет к "торжественной встрече духа и природы", путь к человеку становится основным мотивом "поэмы о человечестве" — романа об Иосифе. Здесь он символизируется библейским "двойным благословением". "Настоящий и тайный мой текст есть в Библии, в самом конце истории, — пишет Т. Манн Э. Бертраму. — Это благословение, которое оставляет Иосифу умирающий Иаков: 'От всемогущего благословен ты *благословениями небесными свыше*, благословениями бездны, лежащей долу' (письмо от 28 декабря 1926 г., курсив Т. М.)"*.

* Бытие, 49:25. Приводим этот стих полностью: "От Бога, отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцев и утробы".

Замысел романа об Иосифе в общих чертах складывается к 1923 году. Но еще раньше, в эссе о Гёте и Толстом, разъясняя общечеловеческий смысл срединности своего народа, вознося хвалу оговорке и иронии, — которая и есть "пафос срединности", — Томас Манн прибегает к авторитету языка Библии. "... Я слышал, — пишет он, — что в еврейском языке слова 'познание' и 'уразумение' происходят от того же корня, что и слово 'между' ". Действительно, в иврите эти и родственные им слова — однокоренные*. Понятно, что Т. Манн "услышал" об этом лишь потому, что догадался адресовать некий вопрос еврейским авторитетам. Но и сам вопрос вряд ли возник случайно: писатель много размышляет о библейских истоках общечеловеческой морали, ищет и находит то общее, что объединяет мудрость, свойственную народу Священного писания, и благочестие, свойственное его собственному, "срединному" народу.

"... Мне не случайно захотелось почитать Библию... — говорил о возникновении замысла романа его автор в докладе "Иосиф и его братья" (1942 г.). — Я был предрасположен чувствовать и мыслить в общечеловеческом плане... а эта предрасположенность была, в свою очередь, продуктом *нашего* времени, эпохи исторических потрясений... поста-

* Даже не знакомый с ивритом читатель увидит общее в корнях слов *רָב* (*бейн*) — между и *לֵב* (*бина*) — интеллект, разум, содержание. В раввинистической литературе "срединность" трактуется как определенный принцип поведения человека: "Дорога зрячих проходит посередине (*узък*), слепые бродят по краям" (Вавилонский Талмуд); "Не следуй, человек, тропой ни огненной, ни снежной, а выбирай дорогу посередине" (Иерусалимский Талмуд).

"Срединный путь" — понятие, вошедшее в иврит. В словаре синонимов современного иврита, кроме других выражений, синонимичных "срединному пути" (*дерех бейнонит*, *дерех эмцаит*), упоминается идиома *לֵב אֶזְרָא* (*швиль ха-захав*) — золотая тропа, соответствующая русскому "золотая середина".

вивших перед нами вопрос о человеке, проблему гуманизма во всей ее широте...” (курсив Т. Манна).

”Что есть человек?” — в поисках ответа на этот вопрос, в поисках смысла бытия, своего назначения и места во вселенной пребывают герои Т. Манна — сначала Ганс Касторп, главный герой ”Волшебной горы”, а потом и Иосиф. ”Волшебную гору” Томас Манн называл ”предшественницей” ”Иосифа”. Эта книга, говорил, он, ”представляла собой попытку пересмотреть всю совокупность проблем, волновавших Европу на заре нового века” (там же). Той же ”заинтересованностью в человеке, которая не замыкается в рамках индивидуального, а распространяется на общечеловеческое”, внушены и романы об Иосифе, в которых сам автор видел ”окрашенную юмором, смягченную в своем звучании иронией... поэму о человечестве” (там же).

Трактовка мифа в ”Иосифе” по самой своей сути отлична от современных приемов его использования, ”приемов человеконенавистнических и антигуманистических” (там же). ”Ведь слово ’миф’ пользуется в наши дни дурной славой, — пишет Т. Манн, — достаточно вспомнить о заглавии, которым снабдил свой зловеший учебник присяжный ’философ’ германского фашизма Розенберг, этот идейный наставник Гитлера” (там же)*.

В романах об Иосифе миф радикально меняет свои функции; Т. Манн уподобляет его захваченному в бою орудью, которое разворачивают и наводят на врага. ”В этой книге, — говорит писатель, — миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь, — вплоть до мельчайшей клеточки языка, — пронизан идеями гуманизма, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа” (там же, курсив Т. М.).

Был ли роман об Иосифе книгой о евреях? Об-

* Напомним, что ”зловеший учебник” А. Розенберга назывался ”Миф XX века”.

ращение к материалу Ветхого завета, конечно, не было случайностью, пояснял Томас Манн. Его выбор стоял в скрытой связи с современностью, шел наперекор тенденциям, внушавшим ему "глубочайшее отвращение", и был "особенно непозволительным для немцев". "Я имею в виду, — говорил писатель, — бредовые идеи расового превосходства, которые являются главной составной частью созданного на потребу черни фашистского мифа. Написать роман о духовном мире иудейства было задачей весьма своевременной, — именно потому, что она казалась несвоевременной" (там же).

Вместе с тем Томас Манн подчеркивает, что "все 'еврейское' составляет в романе лишь его передний план". И далее: "... все мифологии мира — еврейская, вавилонская, египетская, греческая — сплетаются в такой пестрый клубок, что читатель, полагавший до сих пор, что он держит в руках книгу библейских легенд о народе Иудеи, теперь уже вряд ли вспомнит об этом" (там же).

Может быть. И все же, читая не только роман, но и доклад о нем, невольно приходишь к выводу, что в сказаниях об Иосифе воплощены манновские представления об иудаизме как о "культурной основе бытия" (см. интервью газете "Зельбствер. Юдишес Фольксблатт" от 25 января 1935 г.). Т. Манн неоднократно утверждал, что, дав миру единого Бога и десять заповедей, евреи заложили основы человеческой нравственности, духовную основу западноевропейской цивилизации, основы ее христианской культуры, ибо христианство является не чем иным, как "духовным плодом иудаизма" (там же). Эти его представления об иудаизме нашли свое выражение в теологии романа, которая, по словам Т. Манна, выводится из "трактовки присущей Ветхому завету идеи *союза* между Богом и человеком" ("Иосиф и его братья", доклад, курсив Т. М.).

Стремление к высшим целям ведет к развитию и совершенствованию обеих сторон союза — и

Бога, и человека. Подобно тому как Бог не может без помощи человеческого разума пойти вперед, так и разум человека не может развиваться без Бога. Отсюда и трактовка религиозности, которую автор "поэмы о человечестве" понимает как *"вдумчивость и послушание"*; вдумчивое внимание к внутренним изменениям, которые претерпевает мир, к изменчивой картине представлений об истине и справедливости; послушание, которое немедля приспособливает жизнь и действительность к этим изменениям, к этим новым представлениям, и следует таким образом велениям разума" (там же, курсив Т.М.). Так интерпретируется иудаистский принцип ответственности человека, который должен уметь распознавать "дурное, устаревшее, все то, из чего человек уже внутренне вырос, что стало нестерпимым, невыносимым или, на языке Израиля, 'скверной'" (там же). Такова манновская защита Разума, который предавался анафеме всюду, где вожддели Абсолютного и ради него шли на уничтожение человека и человечности.

Становление человечества, человеческого в человеке совпадает с формированием "я" — суверенной, одаренной религиозным сознанием личности. Личность кристаллизуется в длительном процессе круговращений, точкой отсчета которого Томас Манн избирает "рождение из первобытного коллектива Авраамова 'я' ". "Притязания человеческого 'я' на роль центра мироздания являются предпосылкой открытия Бога" (там же).

Но и внук Авраама, Иаков, хотя и видит в себе "подлинного героя драматической повести своей жизни", тоже еще пребывает "в плену нерасчлененности коллективного бытия". И лишь сын Иакова Иосиф — "освобождающаяся человеческая индивидуальность" — уже не только герой своей жизненной драмы, но и ее режиссер.

В жизненном пути Иосифа, в траектории его духовного развития, от "преступно эгоцентриче-

ского художнического 'я' до благодетеля и кормильца чужого народа и своих близких" легко находятся параллели жизненному и духовному пути автора романа о нем. Разрешение противоречия "между служением прекрасному и служением согражданам, между обособленностью личности и ее принадлежностью к обществу, между индивидом и коллективом" — это отданная герою романа канва жизни самого писателя. Его отказ от аполитичности в пользу демократии, его защита разума против обскурантизма, его борьба против обретавшего все более ужасающие формы истребительного антигуманизма — все это нашло опору в "поэме о человечестве", которая создавалась в течение двадцати лет — с 1923 по 1943 годы. "Большой эпический труд, прошедший вместе со мной через все годы изгнания и придававший целостность моему бытию", — так определял для себя значение тетралогии об Иосифе ее автор (Т. Манн. История "Доктора Фаустуса". Роман одного романа. Собр. соч., т. 9, стр. 207).

* * *

За годы, прошедшие от замысла романа до публикации его первого тома (сентябрь 1933 г.), завершила свою краткую историю Веймарская республика, так и не оправдавшая надежд на "единение государства и культуры". Не воплотилась в сущее и преподанная немцам как исконно национальная гуманистическая идея идея "серединности".

17 октября 1930 года (семь лет спустя после "Речи о немецкой республике", в том же Бетховенском зале) Томас Манн выступает с речью "Призыв к разуму", где анализирует причины "сенсационного волеизъявления народа во время выборов"*.

* Речь идет о выборах в рейхстаг в 1930 г., когда национал-социалистическая партия получила 6,4 млн. голосов и 107 де-

казавшее свою огромную притягательную силу” национал-социалистическое движение Томас Манн и теперь связывает с происшедшим в России историческим поворотом, ”который являет собой конец начатой Французской революцией буржуазной эпохи и ее идейного мира”. Вера в разум, принципы свободы и равноправия отовсюду изгоняются. Возвращение к язычеству, к ”радикально враждебному гуманности вакхическому культу природы”, ”восславление животворных сил бессознательного” — все это Томас Манн определяет как духовные источники национал-социализма. Не используя их, национал-социализм вряд ли приобрел бы такую власть, какой он достиг, став выразителем ”продиктованных чувством убеждений масс”. К духовным источникам нацизма Томас Манн относит и распространенную в академических кругах некую ”нордическую веру”, которая еще опаснее ”и еще страшнее затопляет и парализует мозги”.

Знамение времени — вседозволенность. Идея свободы, провозглашенной ”буржуазным хламом”, появляется ”в соответствующем времени образе — как одичание, издевательство над объявленным отжившим авторитетом гуманности, как развязывание инстинктов, эмансипация жестокости, диктатуры, насилия”. Анализируя эти явления, Т. Манн говорит и о переживающей период коллективизации России, где ”думают утолить голод тех, у кого отняли продукты питания... кровью расстрелянных контрреволюционеров”. И ему ясно, что и в Германии, и в стране, реализующей ”пролетарское учение о конце света”, ”фанатизм становится принципом спасения, восхищение — эпилептическим экстазом, политика — массовым наркотиком... Разум отвратил свой лик от людей...”.

И на этот раз доклад Т. Манна прерывался топо-

путатских мест, в то время как в 1928 г. она получила всего 810 тыс. голосов и 12 депутатских мест.

том ног, воем и руганью. От расправы докладчика спас его друг, дирижер Бруно Вальтер, который вывел его через запасной выход к машине.

27 февраля 1933 года нацисты подожгли рейхстаг. За две с половиной недели до этого (Гитлер уже десять дней как был рейхсканцлером) Томас Манн выступил с докладом "Страдания и величие Рихарда Вагнера", который стал мишенью нацистских нападок на писателя. 11 февраля 1933 года Томас Манн отправился в краткосрочное лекционное турне по Европе. День отъезда стал первым днем его "полудобровольного-полувынужденного" изгнания из Германии, ставшего пожизненным.

Покинув Германию, Томас Манн напряженно следил за тем, что происходит в его злополучной стране. Его ужасает то, что кроется за "чудовищным и подлым обманом с пожаром рейхстага" (см. дневниковую запись от 24 ноября 1933 г.). Заявление Димитрова о том, что Ван дер Люббе был использован врагами коммунизма, "звучит убедительно", — записывает Томас Манн. Вместе с тем он считает, что поджог рейхстага с одинаковым успехом могли совершить как нацисты, так и коммунисты, "авторство может быть приписано и тем, и другим, ибо граница между ними в духовном и личностном отношении столь же размыта и нечетка, как граница между национал-социализмом и коммунизмом вообще. Я склонен усматривать подспудный смысл процесса в выявлении близости, родства, даже идентичности национал-социализма и коммунизма. Его результатом будет доведение *ad absurdum* ненависти и идиотской страсти к уничтожению друг друга. По существу же этого вовсе не требуется, они лишь различные, — как различаются между собой братья, — выражения одного и того же исторического явления, одного и того же политического мира... Символические акции, такие, как поджог рейхстага, мы ощущаем, хотя

это невозможно увидеть, как их общее дело” (там же).

Нельзя не поразиться его пронизательности. Советский “поджог рейхстага” — убийство Кирова — произойдет немногим более полутора лет спустя после нацистской инсценировки. Не обманули Т. Манна и последовавшие за этим убийством очередные организованные Сталиным судебные мистерии. В отличие от многих западных интеллектуалов, принявших на веру то, что происходило на московских процессах 1936—1938 годов, Томас Манн считал, что покаянные признания обреченных были либо фальсифицированы, либо получены при обещании помиловать, “если будут говорить то, что хочет услышать правительство”. “По своей пропагандистской лживости” сообщения московского радио о процессе троцкистов, считал Томас Манн, “не уступают фашистским достижениям такого рода — по стилю они весьма схожи” (см. дневниковую запись от 20 августа 1936 г.). Такое сходство объясняется общим для обеих стран государственным устройством — и в Германии, и в советской России восторжествовало тоталитарное государство, которое “не только является основой власти, но подчиняет себе все, также и культуру, и прежде всего ее, командует ею, знает, какой она должна быть, диктаторски беря себе исключительное право руководства и, не допуская противоречий, сокращает ее до своих понятий...” (см. дневниковую запись от 8 сентября 1933 г.).

Итак, если прежде речь шла о сходстве, подобии, родстве идейных источников антигуманизма в стране Гёте и в стране Толстого, то теперь Томас Манн приходит к выводу о тождественности политических форм его воплощения в обеих странах: тоталитарного типа государство в равной степени враждебно западной цивилизации, идее свободы, истины и права как в провозгласившей диктатуру и антикоммунизм фашистской Германии, так и в

декларировавшем демократию, интернационализм и антифашизм Советском Союзе.

Различия существовали, таким образом, в идеологическом оформлении тоталитарных режимов, в содержании и методах их пропаганды. Нацистская, отличаясь полной откровенностью, открыто провозглашала цели третьего рейха — мировое господство, тотальное истребление евреев, полное подчинение "новому порядку" других народов, славянских прежде всего. Советская же пропаганда, прикрываясь бутафорскими лозунгами, вводила в заблуждение несоответствием слова и дела. Правда, по части "пролетарского интернационализма" Сталин исподволь начал приближать теорию к практике. Год спустя после триумфальной победы национал-социализма в Германии (свидетельством тому было "сенсационное волеизъявление" народа на выборах в рейхстаг) Сталин, в свою очередь, задумывает соединение коммунизма ("пролетарского учения о конце света") с идеей "народно-национального" (выражение Т. Манна, см. "Страдая Германией"). Уже с середины 30-х годов интернационал-социализм соединяется с идеями русско-имперского патриотизма, наднациональный "враг народа" наделяется чертами "антипатриота и клеветника" и в конце концов замещается привычным муляжом "народа-врага"*.

Закон причинности, таким образом, действует безотказно: тождественные основания порождают тождественные следствия.

О немецком антисемитизме Томас Манн писал, что духовно он направлен не только против евреев. "Он направлен, как все ясней и ясней обнаруживается, против христианско-античных основ европейской цивилизации; он представляет собой... попыт-

* См.: Л. Дымерская-Цигельман. Замечания к истории, или История, сотворенная по замечаниям. — "Страна и мир" (Мюнхен), 1985, № 12; 1986, № 11.

ку сбросить путы цивилизации, грозящую ужасным, гибельным разрывом между страной Гёте и остальным миром” (письмо к Э.Корроди от 3 февраля 1936).

Ту же тенденцию — “сбросить путы цивилизации” — обнаруживает и советский тоталитаризм, на счету которого ко времени воцарения Гитлера были уже многомиллионные жертвы “красного террора” и коллективизации. Дальнейшее продвижение советского тоталитаризма по пути террора, по пути уничтожения остатков доставшейся ему в наследство цивилизации сопровождалось возрождением и культивированием русского “этнического варварства”, которое, подобно немецкому, тоже начинает культивировать ненависть к евреям и к Западу и превращает эту фобию в основу партийной идеологии и “продиктованных чувствами убеждений масс”.

Стоит отметить, что уже в 30-е годы не только на Западе, но и в Советском Союзе не оставалась тайной “размытость духовных границ” между национал-социализмом и коммунизмом. Однако то, что именно “размытость духовных границ”, глубокое духовное сродство, сближавшее Россию и Германию в их отношении к Западу и его ценностям, и определило в конечном счете “историческую однотипность” восторжествовавших в обеих странах диктатур, было понятно тогда совсем немногим. Томас Манн одним из первых постиг глубинное духовное родство и историческую однотипность немецкого национал-социализма и русского коммунизма.

Активное сопротивление надвигавшемуся варварству отличало позицию Томаса Манна от позиции тех, кого он называл “ренегатами культуры”. К ним он прежде всего относил “дезертира и перебежчика, пораженца рода человеческого” Освальда Шпенглера (см.: Т.Манн. Об учении Шпенглера. Собр. соч., т.9, стр.618). Со шпенглеровским

фатально-пораженческим "Закатом Европы" Томас Манн полемизирует в ряде своих работ, в частности, в статье "Внимание, Европа!" (1935).

Эра, которую самоубийственно приближали адепты "заката Европы", стала эрой "массового человека" и вождей типа "братца Гитлера". В эссе "Братец Гитлер" (1938) Томас Манн писал, что не хотел бы "закрывать глаза на такое родство", ибо и сам он "был не совсем в стороне от амбиций и влечений своего времени, от стремлений, которые через двадцать лет превратились в крикливые требования уличной толпы". Поэтому осуждение всего так или иначе причастного к нацификации Германии у него не проповедь, а протянувшаяся до конца жизни исповедь. Он остро ощущал свою ответственность и за торжество "массового человека", и за тот "новый порядок", при котором культура превращается в свою противоположность. Признание своей причастности к свершившемуся отнюдь не означало согласия Т. Манна с теми, кто приписывал ему "либеральную нерешительность", неспособность "устоять перед иррациональным и антидуховным", истолковывая таким образом аполгетику "серединности" в эссе "Тёте и Толстой" (см. письмо к Г. Слочауэру от 1 сентября 1935 г.).

Возражая на обвинения в нерешительности, Т. Манн подчеркивал, в частности, в том же письме к Г. Слочауэру, что он "почти единственный из немецких писателей боролся против того, что надвигалось и теперь добилось абсолютного господства в Германии".

В противоположность Шпенглеру (см. дневниковую запись от 1 августа 1936 г.) Томас Манн убежден: вторжение "массового человека" в цивилизацию еще не означает неизбежного конца европейского мира. Европу ждет гибель в том и только в том случае, если она продолжит свое отступление. Томас Манн предупреждает: если не избавиться от гипноза, если и дальше дать эксплуатировать

фанатизму принципы свободы и терпимости, если гуманизм не осознает источников своей жизненной силы и бодрости и не станет воинственным, "Европа сохранит свое имя только в истории" ("Внимание, Европа!").

Томас Манн не ограничивается пророчествами и предупреждениями. Призывая к действию, он анализирует природу "массового человека" и разъясняет, почему именно "этот человеческий тип" становится опорой тоталитарных режимов. Искореня культуру, эти режимы предоставляют полный простор антидуховному резонерству "массового человека", его смешанному с суеверием "мировоззрению", "мелкотравчатому, преступноромантическому" миру его чувств. Провозглашая истинным все, что служит их "абсолютным" принципам, подменяя истину мифом, а воспитание пропагандой, тоталитарные режимы вполне импонируют "взбесившемуся обывателю", который "кроме насилия верит только в ложь, и в ложь еще истовее, чем в насилие". Вожденную свободу от своего "я" и "избавление от страха перед жизнью 'массовый человек' находит в коллективистском опьянении", освящаемом идеологическими приманками "социализма", "величия государства, родины" и т. п. (там же).

"Массовый человек" — это "европеец послевоенного времени", познавший "счастье освобождения от своего 'я', от ответственности перед собой" на войне. Означает ли это, что он — продукт войны? Нет, отвечает Томас Манн, не война создала современный мир, он продукт начавшегося много ранее упадка культуры и нравственного регресса. "Массовый человек" в Германии, "взбесившийся обыватель" — это переродившийся бюргер, это Ганс Касторп, но утративший всякий вкус к "жизни по совести", к "серединности", к "образованности", к сопротивлению грубости и человеческому убожеству, поддавшийся лени и жалкой вялости,

”которая остается вялостью, какой бы молодцеватой она ни тщилась выглядеть” (там же).

Бюргерство как полномочный выразитель немецкости, как носитель ”серединности” и гуманистического духа исчезает из манновской публицистики второй половины 30-х годов. Исчезает оно не только в ”прозаических ответвлениях”, но и в ”музицировании” тех лет — нет его в романе ”Лотта в Веймаре”, начатом в 1936 году и выпущенном в свет в 1939 году. Советский исследователь С.Апт прав: в том микрокосме, каким всегда был Гёте для Томаса Манна, на первый план выступили стороны, отделявшие Гёте от немецкого бюргерства, ставившего его над ним (см.: С.Апт. Томас Манн. М., ”Мол. гвардия”, 1972, стр.288). Гёте позволил Томасу Манну подойти к разрешению вставшей и перед ним задачи: как и от имени кого представлять, если ты, как и Гёте, вошел в глубокий разлад со своей нацией, осознал всю несоизмеримость своих воззрений на культуру с духовным уровнем родственной тебе прежде среды.

”Страдая Германией”, Томас Манн представляет от имени культуры, которую, пишет он, ”я понимаю как дело всего человечества” (вступит. статья к сборнику ”Внимание, Европа!”). Свое слово, свой авторитет он ставит на службу тем политическим силам, которые, ”казалось, могли еще возвести плотину, преграждающую путь фашистской войне” (там же). Его, однако, глубоко удручает отступничество этих сил. Западные демократии, целенаправленно следуя принципу невмешательства, обнаружили полное равнодушие ”к судьбе немецкого народа, зверствам в концентрационных лагерях, пыткам и убийствам, преследованиям евреев и христиан... к изгнанию всего духовного, к террористическому, потрясающему основы западной цивилизации господству в центре Европы невежественного большинства” (там же).

Запад потворствует нацизму, ибо верит, что он защитит его от большевизма. Но диктатура, представляющая себя в роли спасителя цивилизации от большевизма, — это не более чем уловка, которая помогает Гитлеру подчинить себе весь мир. В докладе "О грядущей победе демократии" (1938) Томас Манн доказывал: фашистская диктатура не есть "спасительный оплот против настоящего русского, пролетарски окрашенного большевизма", ибо "в решающем отношении, а именно в экономическом, национал-социализм не что иное как большевизм: это враги-братья, из которых младший научился у старшего, русского, можно сказать, всему — только не морали".

Разбивая иллюзии Запада относительно "фашизма — оплота против большевизма", Томас Манн явно непоследователен в своих оценках большевистской России. С одной стороны, он настаивает не только на исторической однотипности этих режимов, но и на экономической близости большевизма и нацизма, создающих "нечто, что можно назвать как государственным капитализмом, так и государственным социализмом" (там же). С другой стороны, он как бы забывает, что сам же писал о "необходимости связи между внутренней и внешней политикой" (см. вступит. статью к сборнику "Внимание, Европа!"). И, утверждая, что "Россия своей внутренней политикой подает дурной пример, можно бояться такого примера", заявляет: "нравственная природа всякого настоящего социализма и в случае России выдержала испытание... Не случайно и не только из соображений политики, но и морали Россия как миролюбивое государство выступает на стороне больших и малых демократий" ("О грядущей победе демократии").

Год спустя был заключен германо-советский пакт. Из дневниковых записей Томаса Манна следует, что этого союза он опасался больше всего. "Новое варварство, — пишет он, — очень есте-

ственно вступило в контакт с якобы противоположной ему Россией. Если этот блок, в котором около трехсот миллионов человек, продержится, то почти невысказано, что "цивилизация", которая за время долгой войны тоже претерпит изменение, сможет победить его и поставить свои условия" (запись от 11 сентября 1939 г.).

Создается впечатление, что Томас Манн, может быть, сознательно шел на логические прегрешения, лишь бы предупредить формирование такого блока, лишь бы убедить Запад в том, как важно удерживать Россию в качестве военного союзника, как важно переориентировать все силы на борьбу с нацизмом.

В своем докладе он разъясняет, за счет чего диктатуры достигают столь опасного могущества и какими должны быть демократии, чтобы лишиться диктатуры ее пусть временных, но несомненных преимуществ.

"Рекомендательной" части предшествует философски-гуманистическая: человек и диктатура, человек и демократия. Фашизм использует вечную тягу человечества к новизне, постоянную неудовлетворенность человека, его стремление к переменам, от которых он ждет улучшения "своего всегда наполовину горестного состояния". Но "революционная будущность и рассветная заря этих тенденций — фашистских... сплошное надувательство" ("О грядущей победе демократии"). Тем не менее, отмечает Т. Манн, их соблазну поддается не только молодежь, но и те, кто принадлежит другому времени, например, его знаменитый коллега Кнут Гамсун — "ярый фашист... писатель поколения 1870 года, на чье творческое становление решающее влияние оказали Достоевский и Ницше..." (там же).

Фашизм "велик и хитер в использовании человеческих слабостей и потому потворствует болезненной потребности человечества в новизне" (там

же). Но он — "гнусное дитя *времени*, и из времени черпает то, что есть в нем молодого" (там же, курсив Т.М.). Демократия же лишена отпечатка времени, отсюда ее "потенциальная молодость".

Насилие — сущность фашизма, и оно так же коренится в природе человека, как нечто противоположное насилию, — идея права. Но право, истина, свобода — грани единой идеи, составляющей "не-что специфически и собственно человеческое, то, что делает человека человеком" (там же). Свою веру в конечную победу демократии над враждебной ей политической системой Томас Манн основывает на том, что демократия строится на общечеловеческих вневременных ценностях, на вытекающей отсюда "безграничной способности демократии к обновлению", на ее неисчерпаемом абсолютном богатстве — "потенциальной молодости" (там же). Демократия, утверждает Т. Манн, — понятие куда более высокое, чем позволяет предположить политическое звучание этого термина. "Ее следует определить как такую форму государства и общества, которая более чем какая-либо другая воодушевлена чувством и сознанием достоинства человека" (там же).

Демократия чтит достоинство тайны человека, чтит его грехопадение, его совесть, его способность различать между Добром и Злом. Это почитание тайны человека, его духовности и есть гуманность.

Те, кто исповедуют диктаторский образ мысли и, изгоняя дух, учат оптимистической героике; те, "чья цель — превратить нацию в бездумную военную машину", — презирают людей. Способ существования диктатуры — террор. Террор развязывает в людях инстинкты зла, превращая их в трусливых лицемеров. "Их страсть осквернять человека — грязная и патологическая. Их обращение с евреями в Германии, концлагеря и все, что там происходит, тому доказательство и подтверждение" (там же).

Демократия желает людям добра. Она стремится возвысить их, научить думать, она "стремится к воспитанию" (там же, курсив Т.М.). Диктатура замещает дружественное человеку воспитание презирающей его и порабащивающей его сознание пропагандой. Ее задача — оглуплять и унифицировать людей, чтобы сделать их пригодными для войны и закрепить систему власти.

Дружественное отношение демократии к духу, к искусству и литературе отличает ее от диктатуры, чуждой и враждебной духу. Дух для демократии не есть нечто изолированное, "высокомерно далекое от реальности". Демократия сама — это мышление, но мышление, подчеркивает Т.Манн, обращенное к жизни и действию. Ему было ясно, что "для недемократических или не воспитанных в демократическом духе наций характерен отрыв мышления от действительности, оно там чисто абстрактно, полностью изолировано от жизни и совершенно не учитывает последствий мышления для действительности". Мысль, лишенная прагматической ориентации, иными словами, утопическая, в конечном счете так же лишена "аристократичности" (почитания высокой жизни духа), так же антидемократична, как и антиинтеллектуализм фашизма с его презрением к разуму, с его демагогическим призывом подчиняться инстинктам.

В истинной демократии всегда содержится аристократический элемент, ибо она "стремится привить культуру низшим слоям, дабы уровень лучших был признан нормой". При диктатуре место духа занимает демагогия, и уровень национальной жизни снижается до уровня людей невежественных и некультурных, ибо демагогия есть не что иное, как определение культуры и ее уровня по понятиям и пониманию черни.

Для демократии характерен критический дух. Подвергая сомнению и пересмотру свои собственные ценности, она, может быть, в какой-то

мере и ослабляет себя перед лицом добивающейся единомыслия и устремленной к единой цели диктатуры. Но заложенная в демократии воля к объединению познания и искусства, духа и жизни, мысли и действия — это ее вневременное преимущество, и именно оно гарантирует ее грядущую победу над диктатурой.

Победа, однако, не придет сама собой. Она зависит от неких условий, выполнение которых Томас Манн вменяет в обязанность демократии. Первое — самоосознание, четкое определение своей сущности и своих задач. Второе — уразумение средств и путей создания той "ударной силы", на которую опирается диктатура.

Диктатура добивается "пусть созданного насильственно", но действительного единства воли народа, заставляющего верить в ее силу не только другие народы, но прежде всего свой собственный. Такой народ являет собою "картину единого, чрезвычайно уверенного в себе, деятельного, гармоничного государственного организма, закаленного во имя подготовки к войне строжайшей экономией". Эта экономия воспринимается как нечто привлекательное теми, кто готов быть "не более чем частичкой олицетворяющей государство нации". Демократии должны представлять себе, какова концентрация власти в тоталитарном государстве, подчиняющем себе все области общественной жизни и устанавливающим контроль над всей духовной жизнью человека. Они должны понять, что ради власти и гегемонии правители такого государства готовы на все.

Опасность, подстерегающая демократию, предупреждает Томас Манн, это вера в то, что с фашизмом можно договориться, что можно привлечь его на свою сторону уступками. Демократии, занятые созиданием, действительно заинтересованы в мире, фашистская же диктатура, добиваясь безграничной власти, ведет "постоянную репетицию войны".

Власть и гегемония над обществом и личностью — цель и сущность политики фашизма, постоянная война с "врагами" — средство ее осуществления. Однако "для пропаганды культа молодости и прекрасного будущего" он присваивает "нравственную и гуманистическую" идею социализма. Социализм, в понимании Томаса Манна, — это гуманистическая доктрина XIX века. Этот век, писал он, верил не только в благо либеральной демократии, но и в социализм, и "именно в такой, который хотел *поднять* массы и научить их, подвести их к науке, образованности, искусству, благам культуры" ("Внимание, Европа!", курсив Т. М.). Маркс боролся против понятий истины и нравственности немецкого идеализма "во имя новой истины и справедливости, а не потому, что презирал дух" (там же). Его доктрина, как и вообще теории социализма идеалистического XIX века, утрачивает свой смысл, когда "наступает время масс, которое одновременно время презрения к массам и к человеку" (см. дневниковую запись от 19 января 1935 г.).

Социализм фашизма — это псевдосоциализм, это "социализм презрения к человеку и террора против культуры со стороны мелкого буржуа, а все вместе — род обывательского большевизма, который, бесспорно, является более страшной опасностью для цивилизации, чем социальная доктрина, угроза которой бросает в объятия фашистской диктатуры такую большую часть состоятельного бюргерства" (там же).

Национал-социализм — это полное искажение "истинного социализма", главная цель которого, считает Томас Манн, решение внутренних *социальных* проблем нации. Такое толкование социализма объясняет, почему понятия "социалистический" и "социальный", перемежаясь местами, становятся у Т. Манна синонимами. Можно ли, например, считать социалистической программу строительства гигантских, поглощающих огромные сре-

дства помпезных сооружений — таких, например, как "храмовый город" в Нюрнберге — в то время, когда в стране не хватало 950 тысяч квартир?

Национальным и социалистическим Томас Манн называет предложение президента Рузвельта построить за счет государства и частных предпринимателей от трех до четырех миллионов квартир. Здесь тоже "размах огромный", но план президента не рассчитан на то, "чтобы ослепить народ роскошью и запугать его могуществом власти, он направлен на пользу и рост благосостояния жителей страны" (там же).

Национализм и социализм — противоположности, поэтому "склеивать из них партийную программу — духовное хулиганство". Это относится как к внутренней, так и к внешней политике. Принцип внешней политики истинного, то есть соединенного с демократией социализма, — пацифизм, в то время как национализм — "агрессивный, направленный вовне импульс" — заинтересован не в труде, а в войне. Война, считает Томас Манн, это "позорный отказ от задач мира... ибо означает, что вместо усилий ради улучшения жизни народа внутри страны они тратятся на внешнеполитические авантюры. [...] Война всегда была лишь средством подавления и удержания в повиновении народов своей страны, мощным и обманным средством заставить народы криками "ура" славить свое собственное поражение от победоносного правительства" (там же). Таким образом, противоположность социализма и национализма заключается в противоположности между миром и войной.

Использование диктатурой слова "социализм" во внешней политике столь же лживо, как и его использование во внутренней политике. Тем не менее, псевдосоциалистическая риторика нацистов встречает живой отклик. Встречает понимание деление мира на "пролетарские государства", "динамичные и героические ... стремящиеся к соучастию

в пользовании благами земли”, и на “капиталистические, сытые и не заинтересованные в изменениях ... не допускающие бедняков к счастью и богатству” (там же). Важно понять, считает Томас Манн, на чем зиждется пропагандистский и политический успех нацизма. Он настаивает на том, что нацизм эксплуатирует реальное стремление к справедливости, ибо более справедливое распределение экономических и социальных благ внутри государств и между ними становится “жизненно важным требованием”.

Демократия должна прислушаться к зову времени. Во избежание поражения в “исторической схватке мировоззрений” необходимо, чтобы она “превратилась из либеральной в *социальную демократию* как в экономическом, так и в духовном отношении” (там же, курсив Т.М.). Это требование не должно отпугивать своей революционностью, оно содержит охранительную идею. Франклина Рузвельта Томас Манн называет консервативным государственным деятелем потому, что именно он, соединяя демократию с социальным элементом, умело охраняет западную культурную традицию, что именно он — “честный слуга свободы”, — обуславливая свободу социалистическим началом, то есть решением социальных проблем, “отвоевывает преимущества как у фашизма, так и у большевизма” (там же).

К единомышленникам Рузвельта Томас Манн относит и консервативных депутатов Народного собрания Франции, и социалиста реформистского толка бельгийца Вандервельде, и президента Чехословакии Масарика, из чего следует, что его понимание “социального реформирования”, “социалистического” ни в коей мере не сводимо к какой бы то ни было партийной программе. Оно относится к “зову времени”, пренебрегая которым, человечество рискует погрязнуть в скверне тоталитаризма.

Социальное обновление демократии, убеждал Томас Манн, есть *"условие и гарантия ее победы"* (курсив Т.М.). Только путем духовного, экономического и социального реформирования свободного общества, прорицал он, "можно вырвать преимущества у фашизма и большевизма, отвоевать у диктатуры ее лишь временное, обманное, однако пропагандистски-привлекательное превосходство — спекуляцию на культе молодости и прекрасном будущем" (там же).

Речь здесь идет не о военной, а об исторической победе демократии — той, которую она одержала в послевоенном мире, создав открытые общества с экономикой и системой распределения, обеспечивающей высокий жизненный уровень большинства населения. Как и предрекал Томас Манн, демократия явила неисчерпаемые потенции своей молодости и продемонстрировала свои "вневременные" преимущества перед диктатурой, в исторически короткие сроки доводящей общество до социального и экономического кризиса, до культурного и духовного разорения.

* * *

Раскрывая исторические преимущества демократии, Томас Манн всегда видел разницу между "должной" и "сущими" демократиями. В канун войны он подвергал резкой критике "близорукую, слабую и бестолковую политику западноевропейских держав", предоставившую "национал-социалистическому режиму такую полноту власти, которая дает возможность этим людям творить, ничего не боясь и ни с чем не считаясь, решительно все" (письмо Анне Джекобсон от 30 ноября 1938 г.)*.

* В русском переводе письма Т.Манна А.Джекобсон (см.: Т. Манн. Письма. М., "Наука", 1975, стр.97), как и в большинстве

Пацифизм Запада был маской фашистских симпатий, он обернулся Мюнхеном 1938 года и стал "отчаянием всех друзей мира". И хотя он знал всегда, пишет Т. Манн, что "всякая война, даже та, что ведется за человечество, оставляет после себя много крови, великую деморализацию, огрубление, оглушение", — тогда он "страстно мечтал о войне против Гитлера и подстрекал к ней" (письмо Г. Гессе от 8 февраля 1947 г.).

Война против фашизма была борьбой против "упразднения всех нравственных достижений человека" (сборник "Немецкие слушатели!", 1942), и Томас Манн прилагал все усилия, чтобы не восторжествовал "циничный взгляд", будто война была всего лишь борьбой держав за власть и закончилась победой лишь благодаря перевесу в силе ("О нюрнбергских процессах", ноябрь 1945). Томас Манн стремится довести до сознания современников: нацизм — не просто военный противник, он последовательно и неуклонно уничтожает все устои цивилизации. Пробное отравление газами четырехсот молодых голландских евреев (к сообщению об этом в Америке отнеслись как к устрашающей выдумке) Томас Манн оценивает как "сознательное и демонстративное историческое действие", которым нацисты хотят войти в историю (сборник "Немецкие слушатели!"). Антисемитизм в их руках — "не что иное как средство, гаечный ключ для того, чтобы разобрать на части весь механизм нашей цивилизации" ("Опасности,

нынешних советских изданий, фигурирует термин "национал-социалистский". Такое словообразование не соответствует ни самому немецкому названию фашистской партии Германии, ни существу олицетворяемого ею режима. В концептуальной статье "Фашизм" советского социолога Юрия Левады приводится точный перевод самоназвания фашистской партии Германии: "Немецкая национал-социалистическая рабочая" (Философская энциклопедия. М., "Сов. энциклопедия", т.5, 1970, стр.306).

грозящие демократии”, 1940). Миф о зловредности евреев используется, чтобы завладеть миром, подтачивая его изнутри, привлекая “маленького человека эрзацем аристократизма: “Может быть, я никто, но, по крайней мере, не еврей!” Удар по евреям — “народу Священного писания” — был сигналом к началу общего похода против основ христианства. “То, чему мы сегодня свидетели, не что иное, как еще одно восстание непобежденных языческих инстинктов против установленных десятью заповедями ограничений. [...] Тем самым то, что происходит с евреями, — не только еврейский вопрос” (там же).

Томас Манн повторяет то, что было ясно для него всегда, — отношение к евреям, или способ решения еврейского вопроса, был и остается показателем общего развития культуры. “...если этот вопрос в России является нам в гораздо более страшном и кровавом облике, чем у нас, — писал он еще в 1907 году, — то мне кажется, это объясняется просто тем, что Россия вообще ближе к варварству, чем наша западная половина Европы” (“О решении еврейского вопроса”). Томас Манн не мог тогда и предположить, как скоро его “серединая” Германия догонит и даже превзойдет в варварстве своего “старшего брата”. Три десятилетия спустя, отстаивая быстро сдающую свои позиции немецкую гуманность, Томас Манн пытался убедить соплеменников: “Немец, воспитанный на Гёте, для которого, по словам его учителя, имеет значение только вопрос: культура или варварство, не может быть антисемитом. Он должен отказаться от какого бы то ни было участия в этом низменном народном развлечении, ибо чувствует, что это вопрос его мировоззрения... что от этого зависят идеи свободы, истины, права и человечности” (выступление в союзе “Кадима”, 1937).

Должное, как известно, и тогда не стало сущим. Слишком массовым было немецкое участие в этом

и ему подобных "народных развлечениях", чтобы можно было воздержаться от собирательного понятия "немцы" и обобщающего — "Германия". Сущим для них стало иное, миру до того неведомое, — методичное, индустриально организованное истребление миллионов мужчин, женщин, стариков, детей, преданных мучительной смерти лишь потому, что они евреи. "Другие народы, — писал Томас Манн, — также испытали на себе безжалостность нацистов, страдали от унижений, организованной деморализации и рабства. Но только евреи были приговорены к истреблению" ("Упорный народ", 1944).

В годы, когда многие продолжали верить или изображать веру в то, что из Европы поступают всего-навсего "ужасные выдумки", Томас Манн делает все от него зависящее, чтобы довести до сведения и сознания современников масштабы и суть Катастрофы европейского еврейства. В сентябрьской радиоречи 1942 года (одной из 55 речей, регулярно выходивших в эфир в годы войны) писатель оповещает своих слушателей, что только в Варшавском гетто гестапо замучило до смерти более 700 тысяч евреев, что тысячи евреев из Франции отправляются в товарных вагонах на Восток, что в герметически закрытых вагонах евреев умерщвляют ядовитым газом, что есть точный отчет о том, как не менее 11 тысяч польских евреев в течение четверти часа были превращены в трупы. Летом 1943 года Томас Манн доводит до сведения цивилизованного мира, что число погибших, уже исчисляемое миллионами, "поскольку эти страшные акции проводятся во все большем объеме", продолжает возрастать. Стирается с земли восточноевропейское еврейство — резервуар культурных сил и почва, на которой выросли гении и таланты, обогатившие западную науку и искусство. И Томас Манн обращается к окружавшим его адептам демократии: "...мы, которые хвастливо считаем себя

борцами за гуманизм и человеческое достоинство, должны спросить себя, делаем ли мы хотя бы все, что в нашей власти, чтобы смягчить неопи- суемые страдания, которые обесценивают всякий гуманизм” (“Гибель евреев Европы”, 1943). Многое было упущено до войны. Писатель напоминает о корабле с еврейскими беженцами, “который в 1939 году, как призрак, блуждал по морям, и ни один порт его не принимал, пока наконец эмигран- тов не приютили маленькие страны, Голландия и Бельгия. *Мир в лености сердца своего разрешил Гитлеру насмеяться над этим*” (там же, курсив мой, — Л. Д.-Ц.).

Но и тогда, в 1943 году, было еще не поздно, и тогда могли крупные демократические державы изменить иммиграционные законы, установленные для нормального времени. “С бюрократическим равнодушием придерживаться их в сегодняшних условиях... — разъяснял истинный смысл злока- чественного бездействия “демократов” Т. Манн, — значит показать фашистским врагам ахиллесову пяту вместо того, чтобы ... доказать, что война действительно ведется во имя гуманности и чело- веческого достоинства” (там же).

Закон гуманности — это Декалог, полученный Моисеем на горе Синай. Рассказ о даровании Торы, о законодательстве, которое, как писал Т. Манн, “я представляю как некий микеланджеловский труд скульптора над необработанной глыбой — наро- дом” (письмо к А. Мейер от 17 февраля 1943 г.), был назван автором “Закон”. Рассказ этот был закончен 13 марта 1943 года, одновременно с завершением цикла романов об Иосифе. Обращаясь к своему израильскому корреспонденту, писателю и теологу Шалому Бен-Хорину, Томас Манн писал: “... спе- цифически-еврейское не было в моем сознании на первом плане ... Важна была для меня идея ци- вилизации, человеческой нравственности, символ которых — десять слов Закона, полученного с

горы Синай” (письмо Ш. Бен-Хорину от 10 августа 1945 г.).

”Закон” был написан как вступление к сборнику рассказов, каждый из десяти авторов которого интерпретировал один из законов применительно к событиям того времени. Оповещая радиослушателей о подготовке этой книги, Т. Манн говорил, что в ней писатели показывают ”кошунственное осквернение, коему подвергся этот основной закон человеческой порядочности со стороны сил, против которых после долгого промедления поднялся с оружием мир, еще приверженный религии и гуманности. Другими словами: в книге речь идет о войне и о том, во имя чего она ведется” (выступление по радио 25 апреля 1943 г.).

Естественно, что каждый из народов, вовлеченных в бойню, сражался в первую очередь за свое сохранение и свою свободу. В этой борьбе участвовало и более полумиллиона евреев, воевавших в составе союзнических армий, и только часть из них думала о спасении евреев как народа.

Томас Манн считает своим долгом показать, что, кроме ясной для каждого цели — защиты себя и своего народа, война ведется и во имя общих целей. Именно потому, что целеустремленное истребление еврейства — и по замыслу, и по исполнению, и по результатам — означало крах духовных устоев цивилизованного человечества, защиту и спасение евреев оно должно было осознать как одну из своих общих задач, как задачу общечеловеческую.

Должное, однако, снова, — и в разгар Катастрофы, и в послевоенном мире, — продолжало далеко отстоять от сущего.

Война еще не кончилась, но Томас Манн выражал сомнение в способности Организации Объединенных Наций создать после войны лучшее, достойное человека общество, если ООН ”окажется виновной в несправедливости и в измене достойному уважения людскому племени, которое под властью

общего врага и его презренной одержимости творить зло, с самого начала испытывало страшнейшие страдания” (“О ‘Белой книге’”, 1944). Томас Манн настаивал на отмене английской “Белой книги” 1939 года, практически пресекавшей еврейскую иммиграцию в Палестину. В отношении держав к еврейству, утверждал он, “можно усматривать своего рода пробный камень — честно ли они воевали, по праву ли победили, действительно ли представляли лучшую часть человечества против худшей, дано ли им выиграть мир” (там же).

Надежду на настоящий мир, основанный на справедливости и человеческом достоинстве, Томас Манн связывает с решением еврейского вопроса, “который, конечно, не есть единственная проблема нашего времени, но ... может считаться пробным камнем зрелости нашей цивилизации и ее желания служить Добру” (“Спасите евреев Европы!”, 1945).

Но спустя всего полгода после капитуляции Германии Томас Манн вынужден констатировать: “Ядовитые семена, посеянные Гитлером, глубоко запали ... в сбитые с толку европейские умы”. Антисемитизм, который, казалось бы, должен быть отвергнут всем миром, продолжает существовать, и народ, обреченный принести самые страшные жертвы, “вынужден еще и сегодня вести в Европе жизнь парий и терпеть тяжелейшую нужду” (там же).

Народ, в очередной раз оказавшийся в роли парий, точнее, часть его уцелевшей части с полной определенностью заявила о своем решении самим и на своей земле распоряжаться своей судьбой. Это стремление, как можно видеть по цитированной выше статье “О ‘Белой книге’”, встретило полную поддержку Томаса Манна. И это не случайно. Писатель высоко оценивал “незабываемое героическое восстание евреев Варшавского гетто”. Выступая весной 1944 года на выставке, приуроченной к памятной дню — 19 апреля 1943 года,

годовщине восстания, Томас Манн выражает уверенность в том, что "еврейскому духу и его освященному религией пониманию действительности уготована еще важная роль при созидании социального мира, черты которого постепенно начинают обозначаться" ("Обращение к Еврейскому рабочему комитету", 1944). Томас Манн — и это очевидно — не ограничивает вклад евреев в мировую историю лишь их духовным творчеством в глубокой древности. Ему чуждо отношение к евреям как к историческому реликту, представление о том, что их живая история давно исчерпалась (так, например, считал французский историк раннего христианства Эрнест Ренан). Еще в довоенном 1937 году Т. Манн говорил о принципиально важном участии еврейской части населения Германии в немецкой культуре, о "важности, необходимости существования еврейского духа для современности и для будущего нашего континента" (выступление в союзе "Кадима").

В сборнике, посвященном семидесятилетию Хаима Вейцмана — "мудрого и влиятельного руководителя еврейского народа", проявившего такое воодушевление и такой характер, что его "можно считать звеном в неразрывной цепи — от Амоса до Иезекиила", — Томас Манн называет евреев древним, высокоталантливым и необходимым миру народом ("Упорный народ", 1944). "Мир нуждается в еврейской нации и ее своеобразии так же, как он нуждается для своего существования и прогресса во всяком другом варианте и оттенке человеческого и национального характера". Писатель убежден, что такие черты и способности еврейского народа, как интенсивность религиозного сознания, живое внимание к новому, несущему в себе будущее, — прогрессу на земле, окажутся необходимыми и обязательными во времена грядущих социальных изменений. Напомним, что эти изменения Томас

Манн считал необходимым условием исторической победы демократии.

* * *

Столь высокие оценки духа еврейского народа и его вклада в историю, бескомпромиссное "нет" антисемитизму отнюдь не означали манновского "да" всему и всякого рода еврейству" (его собственное выражение из выступления в союзе "Кадима"). Томасу Манну чуждо абсолютное, легко переходящее в свою противоположность юдофильство, когда о евреях, как о покойниках, говорят хорошо или никак.

Человек, глубоко приверженный своей национальной культуре, "страдавший Германией", но никогда не отрекавшийся от нее, Томас Манн и в евреях не любил их "стремления бежать от собственного 'я', не любил их 'гениев с подавленными комплексами', готовых видеть антисемитизм уже в том, что люди отказываются игнорировать и отрицать такой выдающийся феномен как еврейство" ("О еврейском вопросе", 1921).

В сионизме он видел процесс еврейского национального возрождения. И его, немецкого писателя, с готовностью подписавшего воззвание немецкого Палестинского комитета, глубоко поразили резкие антиссионистские выступления еврейских либеральных кругов в Германии. "Мне совершенно непонятно, как могут евреи выступать против еврейских национальных идеалов", — искренне недоумевал Томас Манн (интервью газете "Юдише Рундшау", 1927). Со своей стороны, он считал, что "для еврея, даже если он не соглашается отказаться от своей современной западной формы существования, национальная основа, которую ему предоставляет национальное возрождение Палестины, должна быть благословением, укреплять и

развивать его самосознание” (“Живая человеческая реальность”, 1932).

Томас Манн писал, что его связывает с евреями — “и связывает навсегда” — их любовь к интеллекту, “их природная чуткость ко всему, в чем есть изысканность, дерзание, утонченность и свобода” (“О еврейском вопросе”, 1921). Но он отмечает также и то, что интеллектуальный дар евреев и их особая чувствительность к новому, которое они склонны приветствовать безоговорочно, “просто как новое”, — ставили их порой “во главе греховных и пагубных движений” (там же).

Уже после прихода нацистов к власти он много думал, пишет Томас Манн, “о нелепости того, что евреи, которых в Германии лишают прав и изгоняют из страны, принимают большое участие в событиях духовной жизни, находящих свое выражение, — в известной мере, разумеется, очень искаженно, — в политической системе” (см. дневниковую запись от 15 июля 1934 г.). К тем, кто участвовал в духовной подготовке антилиберального поворота, Томас Манн относил востоковеда и теолога Оскара Гольдберга, который “явно принадлежит господствующему духу времени своей книгой “Действительность евреев” — антигуманистической, антиуниверсалистской, националистической, в религиозных выражениях восхваляющей технику; Давид и Соломон для него либеральные вырожденцы” (там же).

Оскар Гольдберг стал прототипом одного из двух еврейских персонажей романа “Доктор Фаустус” — произведения, о котором Томас Манн писал, что, “будучи от начала и до конца исповедью и самопожертвованием”, оно “выходит за рамки искусства и является подлинной действительностью” (История “Доктора Фаустуса”. Собр. соч., т.9, стр.259).

“Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом” — таков подзаго-

ловок книги, которую Т.Манн назвал "романом моей эпохи". Серенус Цейтблом, друг и биограф Леверкюна, начинает его жизнеописание в тот самый весенний день 1943 года, когда Томас Манн, упаковав "мифологически-востоковедческие" материалы к "Иосифу", приступил к своему роману "Доктор Фаустус". В повествовании совмещены два времени — то, когда оно ведется, — годы военного разгрома нацистской Германии, и то, когда подготавливалось торжество нацизма и осуществлялось его господство. Автор передоверяет "тишайшему" учителю Цейтблomu свою горько-ироническую хронику завершающего этапа "той чудовищной катастрофы", в которую Германия вовлекла мир, и вместе с ним ищет разгадку "характера и судьбы народа, принесшего миру столько неоспоримо прекрасного и великого и в то же время неоднократно становившегося роковым препятствием на пути его развития" ("Германия и немцы").

Томас Манн отвергает существование двух Германий: доброй и злой. Весь роман — это повествование о том, как лучшие свойства немецкого духа и национального характера — стремление к внутренней свободе, самоуглубленность, романтизм, исконный универсализм и космополитизм, — как все эти достоинства "под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла" (там же). Но "дьявольская хитрость", она же черт, покупающий душу Фаустуса-Леверкюна и всего "злополучного народа", — не потусторонняя сила, он не вне, а внутри него самого. Томас Манн шаг за шагом прослеживает внутренний процесс перерождения доброй Германии в злую. В центре его внимания те интеллектуалы, на совести которых готовность нации пойти по "пути бедствий и преступлений", те, кто непосредственно участвовал в процессе перерождения национально-гуманистического духа в расистско-каннибальское варвар-

ство. Томас Манн устами Цейтблома рассказывает о немецких салонах кануна Первой мировой войны и 20-х годов, об их участниках — интерпретаторах и распространителях концепций, восхваляющих язычество, возвращение к радикально враждебному гуманизму культу природы, отвергающих дух как убивающее жизнь начало — словом, исповедующих все то, что было освоено национал-социализмом и без чего он вряд ли смог бы “угасить разум” и стать выразителем “продиктованных чувствами убеждений масс” (“Призыв к разуму”).

Видную роль в подобного рода дебатах автор предоставляет доктору Хаиму Брейзахеру — “человеку ярко выраженной расы, интеллектуально весьма развитому, даже смелому, впечатляюще безобразной наружности, который — явно не без злорадства — играл роль чужеродной закваски”. Вместе с другими “разношерстными элементами”, заполнявшими салон госпожи Шлагингауфер, Брейзахер исповедует ультраревOLUTIONИОННЫЙ консерватизм и фрондирует против буржуазно-либеральных вкусов. Культурфилософ, “настроенный, однако, против культуры”, он не видел в ее истории ничего, кроме процесса упадка.

В культурно-критических разглагольствованиях Брейзахера о Ветхом завете — “сфере личного происхождения оратора” — Томас Манн воспроизводит основные идеи Оскара Гольдберга, не скрывая того возмущения, которое вызвал в нем еврейский интеллектуал, демонстрирующий “злой консерватизм” в отношении своего народа и его духовной истории; интеллектуал, для которого “почитаемые каждым христианином библейские цари Давид и Соломон” — не более чем “либеральные вырожденцы”. “Вырожденцы” именно потому, что они причастны к “проповеди абстрактного единого Бога” — идеи, которая, согласно культурфилософу, знаменовала деградацию истинно народной религии с ее осязаемым — “шеству-

ющим в огненном столпе” и требующим ”жертвы из крови и жира” Богом. Томас Манн, точнее, его ”доверенное лицо” Цейтблом, оценивает эти ”kozyри атавизма”, эту апологетику язычества как ”охранительный радикализм”, который благодаря своей революционности, сочетаемой с ”похвально консервативной личиной”, подрывал устои опаснее, чем всякий либерализм. Разоблачая поклев культурфилософа на духовную историю его народа, Томас Манн, считавший высшим вкладом евреев в цивилизацию идею единобожия и десять заповедей, устами Цейтблома утверждает, что ”не только у пророков, но уже в самом Пятикнижии, а именно у Моисея”, во главу угла ставится не жертва (языческий анахронизм), а ”послушание Богу, исполнение его заповедей”. Вспомним, что под религиозностью сам Томас Манн понимает ”вдумчивость и послушание”, позволяющие распознать ”скверну” и избежать ее (см. доклад ”Иосиф и его братья”).

Томас Манн не исключал возможности ”превратного антисемитского толкования” еврейских персонажей его романа и — более того — признавал, что то, как описан ”гнутый Брейзахер, этот хитроумный сеятель великой беды”, дает повод заподозрить его самого в юдофобстве (История ”Доктора Фаустуса”. Роман одного романа. Собр. соч., т.9, стр.342).

Отвергая подобного рода предположения*, Томас Манн объясняет, что и выведенные в романе немцы — ”настоящая кунсткамера диковеннейших созданий отживающей эпохи”, — дают такие же основания упрекать его в антинемецкости, как отрицательные еврейские персонажи — в антисеми-

* Аналогичные предположения (не лишённые в определенной мере оснований) высказывались в отношении Т.Манна много ранее — в связи с публикацией его новеллы ”Кровь Вельзунгов” (1905). Но анализ этого никогда не публиковавшегося по-русски произведения выходит за рамки настоящей статьи.

тизме. Эти пояснения, а также заверение в том, что Саул Фительберг* ему "куда милее чистокровно-немецких масок, дискутирующих ... о капризах своего времени" (История "Доктора Фаустуса"), видимо, далеко не всем казались достаточно убедительными. Это видно и из того, что писал Томас Манн израильскому исследователю его творчества Курту Левенштейну: "Я... вполне сознаю, что не воздал должного еврейству и его часто столь высокой и серьезной духовности и что упустил — должен был упустить — в качестве противовеса Фительбергу и Брейзахеру вывести в книге образ другого еврея (я думаю о пророческом типе Бубера). Опасность, что это может быть воспринято как антисемитизм, по крайней мере людьми более простыми, нельзя вовсе отбросить, и хорошие друзья указывали мне на это еще во время работы над романом". Томас Манн повторяет, что "арийцы" в его книге тоже "отнюдь не заслуживают самого большого доверия". Далее, переходя от частных к общему, он формулирует свой главный аргумент: "Общий дух книги дает слишком мало пищи для обвинения его в антисемитизме" (письмо К. Левенштейну от 24 сентября 1948 г.**).

Не только дух его итогового романа, но и всего исповедального творчества Томаса Манна не дает пищи для обвинений в антисемитизме. Оценивая свой доклад "Германия и немцы" как образец немецкой самокритики, Томас Манн выражает уверенность, что ни на каком ином пути он не мог бы сохранить большую верность немецкой традиции. Возводя ее к Гёте, Гельдерлину, Ницше, Томас Манн отказывается видеть первопричину зла в некой сторонней силе, совращающей на путь бед-

* Саул Фительберг — еще один еврейский персонаж романа "Доктор Фаустус".

** См. Бюллетень Института им. Лео Бека, Иерусалим, 1967, №37, стр.54 (на англ. яз.).

ствий и преступлений беспорочных индивидуумов и добродетельные народы. Он на собственном опыте познал "таинственную связь немецкого национального характера с демонизмом". "Черт Лютера, черт Фауста представляется мне, — пишет Томас Манн, — в высшей степени немецким персонажем, а договор с ним, прозакладывание души черту, отказ от спасения души во имя того, чтобы... владеть всеми сокровищами, всею властью мира, подобный договор, как мне кажется, весьма соблазнителен для немца в силу самой его природы" ("Германия и немцы").

В мире Томаса Манна, в мире, где почитаются "вдумчивость и послушание", где разум и критический дух, отвергая мистику и идолов, постигают истинную связь причин и следствий, нет места мифам о злокозненно-всесильном, устремленном к всемирному владычеству еврействе. Привнесение в мир зла, соращение и покорение народов — так представлена в антисемитских мифах роль евреев в мировой истории. Привнесение в мир идей, заложивших основу гуманистической культуры европейской цивилизации, — в этом видит вклад еврейства в историю человечества Томас Манн. Быть евреем — значит приумножать этот вклад. А персонаж его романа — "хитроумный сеятель беды" Хаим Брейзахер — не только не следует еврейско-гуманистической традиции, но, подобно своим арийским собеседникам, сеющим беду вместе с ним, изменяет своему народу и его высокой духовности. Брейзахер — наглядное подтверждение всеобщности "дьявольского парадокса — порождения зла добром", парадокса, воплотившегося в трагедию перерождения "доброй" Германии в "злую". Брейзахер являет собой пример того же перехода в свою противоположность высших свойств еврейского духа, какой происходит и в сфере метаморфоз немецкого духа. Так же, как немецкий романтизм, "опустившись до жалкого уровня черни, до уровня

Гитлера... выродился в истерическое варварство, в безумие расизма и жажду убийства" ("Германия и немцы"), так в случае Брейзахера "вдумчивость и послушание", "чуткая иудейская восприимчивость к новому и грядущему" вырождаются в суетное приспособление к "господствующему духу", в апологетику исподволь возникающего старо-нового, революционно-архаизированного мира, "где ценности, связанные с идеей индивидуума... переосмыслены, поставлены в связь с куда более высокой инстанцией насилия, авторитета, основанной на вере диктатуры" ("Доктор Фаустус". Собр. соч., т.5, М., 1960, стр.475, 476).

Брейзахер принадлежит к тем, кто, прорицая будущее, ничего не делает, чтобы предостеречь и предотвратить его. Более того, он относится к грядущему с интересом и даже, может быть, с сочувствием. "Раз оно новое, не наше дело этому препятствовать". На его примере продемонстрирована самоубийственность непротивления варварству в его зародыше. Именно Брейзахеру — еврею, народ которого шестью миллионами жизней оплатил "гигиену арийской расы", Томас Манн предоставляет слово о "гигиенической точке зрения". Без признаков страха и озабоченности, ничего не противопоставляя предрекаемому, Брейзахер уведомляет, что "если когда-нибудь приступят к устраниению больного элемента в широком плане ... то и под это подведут такие основания, как гигиена народа и расы, хотя в действительности... дело будет идти о гораздо более глубоких преобразованиях, об отказе от всякой гуманной мягкотелости... об инстинктивной самоподготовке человечества к суровой и мрачной, глумящейся над гуманностью эре" (там же, стр.478).

Столь покорное принятие мира, избавленного от "гуманной мягкотелости", отвращает Томаса Манна и от немецкого прорицателя заката Европы Освальда Шпенглера, и от еврейского

апологета революционно-архаизированного мира Оскара Гольдберга. Для него они пораженцы рода человеческого именно потому, что предают, отступаются от гуманистических принципов своих народов, своих национальных культур — немецкой и еврейской.

* * *

Отвращение к национальному отступничеству, равно как и к тупо-апологетическому, построенному на ненависти к инородцам агрессивному национализму, который более точно определяется понятием шовинизм, сочетается у Томаса Манна с уважением гуманистических начал и принципов любой национальной культуры, будь то немецкая, русская или еврейская. В развитии национально-духовного он видел путь к служению универсальному, общечеловеческому.

Такое понимание диалектики национального и универсального объясняет отношение Томаса Манна к сионизму. В мире, писал он, наблюдаются две мощные тенденции: устремленность к универсальному и устремленность к национальному. Евреи много сделали в первом направлении, и пришло время заняться собственными национальными проблемами. Таким путем "еврейский гений сможет лучше всего служить универсальному", ибо "мировая культура — мозаика, в которую каждый народ вносит свою собственную краску" (интервью газете "Юдише Рундшай" 22 апреля 1927 г.).

"Свою собственную краску" евреи вносят в мировую культуру, превращая Палестину — "колыбель современного человечества" — в еврейский национальный дом, где, считал Томас Манн, еврейский народ сможет "жить свободно и беспрепятственно и создавать для себя и для всего мира великие культурные и человеческие ценности" (там

же). Не входя сейчас в оценку осуществимости этих надежд и прогнозов, отметим, что еще в 20-х годах Томас Манн видел в сионизме "культурный фактор большого гуманистического значения" (там же) и от этого своего убеждения не отказывался никогда.

Но в отношении сионизма как способа решения еврейского вопроса, его роли в жизни и судьбах современного еврейства оценки Томаса Манна претерпели явную эволюцию. Он принимал как факт исторически сложившуюся двойственность еврейского существования — жизнь одной части еврейства в диаспоре и другой (численно значительно меньшей) — в своем национальном доме. До Первой мировой войны Томас Манн считал господствующей тенденцией в жизни еврейства его европеизацию — процесс, совпадающий с общим культурным развитием народов Европы ("О решении еврейского вопроса", 1907). Но уже в 20-х годах Томас Манн признает историческую значимость сионизма, оценивая его как "важный исторический процесс национального возрождения одного из культурнейших и древнейших народов мира" (интервью газете "Юдише рундшау" 22 апреля 1927 г.).

Посетив Палестину в связи с работой над "Иосифом" (март — апрель 1930 г.), Томас Манн, по его словам, убедился, что у этой страны есть будущее. "Тот, кто видел эту страну, знает, что это не романтическая мечта, а живая человеческая реальность, — суммировал он свои впечатления. — Эксперимент возрождения языка иврит превзошел все ожидания, и молодые люди, которые говорят на иврите, как французы по-французски... сильное, деятельное, прекрасное поколение..." ("Живая человеческая реальность", 1932). Томас Манн высоко оценил созидательную работу евреев, превращающих "свою историческую родину" в цветущую страну. Особый интерес вызвал у него Еврейский университет в Иерусалиме: "Он проникнут деяте-

льным научным духом, научные исследования во многих областях сочетаются с постижением иудаизма” (там же).

Томас Манн считал, однако, нереальным массовое возвращение евреев в Палестину. “Такое требование противоречило бы здравому смыслу, — писал он, — ибо большинство евреев слишком глубоко укоренено в западной цивилизации и культуре стран их проживания, чтобы оторваться от них и суметь прижиться в стране их праотцев” (там же). Этой же позиции он придерживался еще и в 1944 году, полагая, что идея национального объединения евреев встречает сопротивление “главным образом из-за ошибочного представления, будто сионизм намеревается репатриировать всех евреев в Палестину”. Повторяя, что “репатриация в Палестину не соответствует желаниям многих евреев, столетиями укоренявшихся в западном мире”, Т. Манн одновременно заверяет, что она и не в интересах народов тех стран, в которых евреи проживают. “Я не сомневаюсь, — утверждает он, — что если после войны евреи не вернутся в Германию, она очень пострадает от отсутствия своих еврейских граждан, как ранее Испания веками страдала от последствий изгнания евреев и арабов” (“Упорный народ”, 1944).

Пережившим войну очевидно, что и на этот раз должное не стало сущим. Наставничество, стремление изменить реальность, показать, какой она должна стать, все же не помешало Томасу Манну трезво оценить послевоенную ситуацию (см. выступление на митинге под лозунгом “Спасите евреев Европы!”, 1945).

Антисемитизм, глубоко запавший в европейские умы, отступничество западных держав, отказавших евреям в убежище, антиеврейские манипуляции англичан в подмандатной Палестине — все это приводит Т. Манна к переоценке роли сионизма в жизни современного еврейства. Под влиянием Катастро-

фы европейского еврейства Т.Манн приходит к выводу о необходимости создания еврейского государства как силы, гарантирующей выживание и дальнейшее существование еврейского народа. Можно сказать, что эволюция взглядов Томаса Манна на сионизм как бы повторяет этапы общей эволюции его мировоззрения. И здесь он от аполитичности (игнорирования политического аспекта национального возрождения) приходит к идее государства как единственно возможной в современных условиях формы самозащиты нации. Сущность этого государства — демократия, ибо лишь она создает условия для сохранения и приумножения главного достояния народа — его духовности, его культуры.

Решение Англии ограничить, а с 1944 года практически пресечь еврейскую иммиграцию в Палестину Томас Манн оценивает как измену, как отказ от тех обязательств, которые приняла Англия вместе с мандатом на Палестину. "Английская 'Белая книга' от мая 1939 года превращает обещанный в 1917 году национальный очаг в Палестине в ... ограниченное сроком убежище и тем самым, — утверждал Томас Манн, — уничтожает его смысл и ценность" (О "Белой книге", 1944).

Томас Манн приветствует решение ООН о разделе Палестины от 29 ноября 1947 года. Он глубоко убежден в созидательных устремлениях евреев: еврейское государство в Палестине, писал он, "будет демократией людей, которые полны желания работать и строить свою культуру" ("Призраки 1938 года").

В письме ректору Еврейского университета в Иерусалиме доктору Иехуде Магнесу, придерживавшемуся позиций духовного сионизма, Томас Манн выражал уверенность в том, что "создание еврейского государства в крайне скромных границах могло бы быть осуществлено без особых конфликтов, если бы эта маленькая территория

не стала очагом борьбы великих держав за нефть и базы" (письмо И. Магнесу от 1 апреля 1948 г.). На основании данных, "точность которых не подлежит сомнению", Томас Манн утверждал: арабское восстание, начатое сразу же после принятия решения в ООН, разжигалось англичанами, заинтересованными в восстановлении своего мандата на Палестину.

19 марта 1948 года, в критический период, когда до истечения срока мандата оставалось менее четырех месяцев, американская делегация в ООН заявила об отказе от своего согласия на раздел Палестины. "Последнее решение США никак не связано с Палестиной, а только с военными планами против СССР", — писал Томас Манн (там же). Еще не родившееся еврейское государство становилось разменной монетой в "большой политике". Решение американской делегации Томас Манн расценил как "самое возмутительное и унижительное политическое событие со времени предательства Чехословакии в 1938 году". "Это способствует деморализации мира, что раньше или позже, — предупреждал Томас Манн, — приведет к всеобъемлющей катастрофе" (там же).

В статье "Призраки 1938 года", опубликованной 26 марта 1948 года, — неделю спустя после оглашения решения США об отказе от раздела Палестины, писатель призывал американскую общественность выступить против этого решения: "Почему мы осуждены поддерживать везде отвратительную грязную реакцию, ненавистную народам, — в данном случае арабских шейхов, — и разрушать демократию, изображая дело так, будто мы ее защищаем?"

* * *

Предательство по отношению к еще только за-

рождающейся демократии на Ближнем Востоке было следствием серьезных отступлений от демократических принципов во времена маккартизма в самой Америке. Демократию приходилось тогда отстаивать в самой ее цитадели. В цитированном выше письме Иехуде Магнесу Томас Манн пишет: "... мы, либералы, живем тут в условиях, при которых нас называют коммунистами... мы ведем трудную борьбу против тенденций, которые, как мы опасаемся, могли бы морально и физически уничтожить эту безусловно порядочную страну".

Моральное и физическое уничтожение грозило Америке, как и любой другой стране, которая, "унав от релятивизма", "возжаждала бы абсолютного". В первой своей послевоенной поездке в Европу, выступая летом 1947 года перед студентами Цюриха, Томас Манн говорил о нестабильности духовного состояния западного мира, о размытости различий между Добром и Злом, о царящей после войны анархии и растерянности. В мире, утратившем порядок и устойчивость, "велика тоска по новой вере, по связанным с религиозностью обязательствам, четко очерченные границы которых будут опорой в жизни индивидуума, опорой против зияющей пустоты, сомнения во всем и вся, его страхов, заменят отсутствующие у него критерии". Тоска по новой вере чревата забвением свободы, ибо "притягательная сила политического тоталитаризма, как фашизма, так и коммунизма", в том, что для многих — "и юных умов, но также и людей зрелых" — они становятся "заменой религии, гаванью для души, моральным прибежищем".

Если для послевоенного Запада "жизнь в рамках воззрений и связей, продиктованных государством", была лишь угрозой, то в СССР "тоталитарная политика, которой присягнул и которой силой добивается коммунизм", воплощалась в истребительную войну против интеллигенции, обре-

тавшую открыто антисемитский характер (письмо к Джулио Эйнауди от 28 июня 1953 г.). "Когда я вижу, как русские композиторы стоят на коленях, и слышу, как пустыми голосами они каются: да, да, мы были формалистами, и наше искусство было диссонантно, мы грешили, батюшка, и раскаиваемся, мне становится жутко", — писал Томас Манн Гансу Майеру в феврале 1948 года. Он рекомендует ему прочесть статью в журнале "Штиммен", автор которой, "потрясенный, показывает, что московские оценки искусства и предписания искусству в точности совпадают с оценками нацистов и что русская революция клеветает на тех же ведущих представителей современного искусства, которых изгнал и запретил Геббельс, — от имени народа". Томас Манн убежден, что речь идет "не только о музыке, а об угнетающе неверном упрощении *отношения между духом и народом вообще*" (там же, курсив Т. М.).

Кампании против творческой интеллигенции, проводимые, как и нацистские, от имени народа, от имени того же народа стали вестись против "космополитов". Коммунизм, как и нацизм (названный Томасом Манном "немецкой формой большевизма" — см. дневниковую запись от 28 мая 1933 г.), открыто берет на вооружение антисемитизм, который, став лозунгом "охваченных мистическими представлениями масс", служил платформой, объединяющей партию с народом.

Следуя Томасу Манну, можно утверждать, что и в советской России, как и в нацистской Германии, "испытали, к какой духовной нищете это приводит, когда интеллектуалы, ученые, писатели, мыслители — из ложного стремления к единению с народом, путая народ и толпу, опускаются до черни и унижаются до духовной поддержки ее лозунгов". Разве в адрес тех, кто участвовал в травле "космополитов", "убийц в белых халатах", "врагов человечества" — сионистов, а теперь ведет охоту на "русофобов",

— разве в адрес их всех неправомерно повторить слова Т. Манна, относящиеся к немецким интеллектуалам: "Они обесчестили себя и заслужили жалкую роль, которую играли под каблуком черни. Свойственные черни качества не могут быть облагорожены с помощью предавшего себя духа; происходит обратное — дух унижает себя и оказывается в рабстве". "Этому учит опыт", — подчеркивает Томас Манн. И разве сегодня утратили смысл аргументы, которыми гуманист Манн обосновывал свое "давнее глубокое неприятие антисемитского высокомерия"? "Неприятие, — говорил он, — которое усилилось, превратившись в отвращение, в той мере, в какой дурные инстинкты, раньше находившиеся под корректирующим давлением хороших обычаев, взяли верх, стали официально признанными, и чернь получила возможность беспрепятственно осуществлять свои гнусные намерения" (выступление в союзе "Кадима", 1937).

От московской политики, писал Томас Манн, на него "веяло ужасом". И все же он оставлял за собой право "отличать отношение коммунизма к человечности от абсолютной низости" (письмо Паулю Ольбергу от 27 августа 1949 г.). Томас Манн полагал, что будущее "нельзя представить себе без коммунистических черт" (там же), которые он, разумеется, ни в коей мере не отождествлял с тем, что называлось коммунизмом в СССР и в советской идеологии. Понятие коммунизма в гуманистической концепции Томаса Манна так же радикально отличается от советских деклараций, как и понятие социализма — от нацистских. "Коммунистические черты — это глубокие социальные преобразования". Лишь полное искоренение нацизма, утверждал Томас Манн, откроет "путь всемирной социальной реформе". Она приведет, прорицал немецкий мыслитель, к созданию "всемирной экономики, стиранию политических границ, постепенной деполитизации государственной жизни вооб-

ще, осознанию пробуждающимся человечеством своего практического единства". Эти черты будущего он назвал "социальным гуманизмом, выходящим далеко за пределы буржуазной демократии" ("Германия и немцы").

Неизжитая тяга к абсолютному, к эрзац-религиям, к твердому порядку, при котором "средний человек" чувствует себя счастливее, чем без руководства, не исключает и иной путь. Томас Манн считал возможным и такой "будущий род человеческий, который больше не понимает, что такое идея свободы ... который вполне удовлетворится существованием в твердых границах и обязательствах, продиктованных диктаторскими и не подлежащими обсуждению принципами тоталитарного государства" (Выступление перед студентами Цюриха, 1947).

И все же великий гуманист верит, что "просвещение свершило свой подвиг на века", что человек мыслящий отвергнет защищенность, получаемую ценой утраты "независимой и ответственной перед собой мысли" (там же).

Томас Манн не раз выражал надежду, что "в глубинах сердец и на высотах духа зреет... новый гуманизм", который, однако, ни в коем случае не должен быть оптимистической и идиллической любовью к роду человеческому. Узнав так много о человеке, о скрытых в нем безднах низкого и демонического, гуманизм не может быть наивным и чувствительным — он должен обрести мужество. Почитая тайну человека — его дух, его способность различать между Добром и Злом, — гуманизм может и должен быть действенным и самокритичным, ибо человеческое в человеке есть дух, а "дух — это самокритика жизни".

Д-р Л. Дымерская-Цигельман

I

”СТРАДАЯ ГЕРМАНИЕЙ”

ДУХ И СУЩНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ^{1*}

[...] Мы собрались сюда по призыву молодежи, выступающей за республику. Какая идея ее воодушевляет? *Что такое республика?* Некоторые говорят, что республиканская идея — нечто, совершенно чуждое стране, совершенно не соответствующее немецкому духу, нечто, против чего нужно бороться. Другие, к ним принадлежу я, считают, что республика может стать великолепным воплощением немецкого духа, более того, может олицетворять немецкое представление о человечности. Конечно, нам известны апеллирующие к чувству и разуму аргументы, которые выдвигают против республиканского принципа его противники. У нас есть основательные на это возражения. Каким бы искаженным и недостаточным не выглядел и не выглядит республиканский принцип, претворенный в действительность, — как принцип, как идея он сохранит огромную притягательную силу везде, где репутация и положение человека, его честь и его достоинство воспринимаются как самые высокие и самые важные качества ума и сердца. Ибо идея республики — это идея человеческого единения и полноты его существования. Республика, если вы разрешите дать ей определение, — *есть единство государства и культуры.*

Нет более высокой политической идеи; она означает, что политика перестает быть просто полити-

* Примечания, отмеченные цифрами, см. в конце раздела.

кой, она возвышается до *гуманности*. Вот и произнесено великое слово, затронута проблема, которая, если я правильно ее чувствую, в конечном счете лежит в основе всех духовных и политических битв, которые волнуют сегодня немецкий народ. Враги республиканской мысли с ожесточением и уверенностью в своей правоте утверждают, будто она противоречит сущности немецкой гуманности, немецкому понятию образования; они с ненавистью отвергают возможность изменения самого духовного склада немцев в результате воздействия на него республиканской идеи — поэтому их называют консерваторами. Мы, другие, не считаем духовный склад немцев чем-то окончательно сформировавшимся, раз навсегда данным, недоступным влияниям, как, по-видимому, думают те. Мы верим в то, что назвали *немецким становлением*, — и я хочу в двух словах объяснить, почему именно мы в это верим.

Самое прекрасное качество немца, самое примечательное, которое и ему самому больше всего в себе нравится, — обращенность к своему внутреннему миру. Не случайно он подарил миру духовный и высокочеловечный жанр воспитательного романа, который он противопоставил как нечто, лишь ему свойственное, западному социальному роману. Воспитательный роман всегда также и автобиография, всегда также и выражение приверженности той или иной идее. Обращенность к своему внутреннему миру всегда означает для немца углубление в проблемы духовные, в проблемы культуры, рассматриваемые с позиции совести индивидуума, направленность ума на заботу о собственном "я", его формировании и совершенствовании или, говоря религиозным языком, заботу о спасении и оправдании собственной жизни; итак — субъективизм духа, сфера, в которую он радостно погружается, я сказал бы, сфера пиетистической автобиографически-исповедальной и личной куль-

туры. Мир объективного, политический мир, он равнодушно отрицает как повседневный и суетный. Ибо, как говорит Лютер, в этом внешнем порядке не содержится ничего. Самое глубокое сопротивление, с которым сталкивается республиканская идея в Германии, объясняется тем, что немец, бюргер и человек, никогда не включал в свое понятие образованности политический элемент, что до сих пор этот элемент действительно в этом его понятии отсутствовал, что требование перехода от погруженности во внутренний мир к объективному, к политике, к тому, что народы Европы называют "свобода", немец воспринимает как призыв к искажению собственной сущности, как посягательство на его национальное своеобразие.

Это так, и так оно и должно оставаться -- считает тот, кто только консерватор. Национальная самокритика для него лишь констатация неких душевных данных, посягательство на которые он клеймит, считая ее враждебной народу. Но не должна разве национальная самокритика быть чем-то большим, чем это? Разве по-немецки — объявлять немецкость неспособной к совершенствованию и не нуждающейся в нем? [...]

Прототип немецкого воспитательного романа — гетевский "Вильгельм Мейстер" -- блестящее предвосхищение немецкого развития от погруженности во внутренний мир к объективному, политическому, к республиканству — произведение гораздо более всеобъемлющей человечности, чем думает немецкий бюргер, понимая его только как памятник личной культуры и как благоговейно воспринимаемую им автобиографию. [...]

Немец — бюргер и человек, побуждаемый суровой судьбой учиться тому, что было им упущено, и продолжать учиться дальше, оказывается перед необходимостью признать, что он, как мы уже говорили, слишком рано посчитал законченным свое понимание образованности, когда исключил

из него политический элемент, идею свободы, идею республики.

Он только медлительный и верный. Соответствующий ему темп, как говорит Вагнер — *andante*, в то время как его судьбе был предписан *molto vivace*. Что ж удивительного, что он не поспевал за ней! Но то, что немец догонит свою судьбу — в этом нет сомнений. Дайте ему время.

Дайте ему время прийти к пониманию того, что единство государства и культуры, которое является основным принципом идеи республики, должно составлять не только его, но и всех народов главнейшую цель, к ее достижению следует приложить все усилия, на какие только способен человек, иначе Европа потеряет себя и придет в упадок; дайте ему время прийти к пониманию того, что гуманность, всестороннее образование, человеческая полноценность также есть не что иное, как единство культуры и государства и что у этих двух вещей одно и то же определение, ибо они и есть одно и то же и должны быть одним и тем же; короче, пусть озарит его мысль, что в идеале республика, если не принимать во внимание ее обусловленные несовершенной действительностью недостатки, есть не что иное, как политическое имя гуманности, — и он станет республиканцем.

Он был бы уже им, если бы внутренние и внешние условия, в которые его *поставило время*, меньше препятствовали бы успеху его духовной работы. Действительно, этот народ живет в условиях, которыми можно извинить любой интеллектуальный застой, любую нравственную индифферентность. Явления, о которых, несмотря на эти тяжелейшие условия, может идти речь лишь вкратце. Их плохо знают за границей, эти условия. Мало знают об унижающей человека нужде, под гнетом которой так трудно живется большинству нашего народа, об упадке, который все больше дает себя знать во всех областях жизни. [...]

Внешнее давление, оказываемое на Германию, ужасно и тормозит прогресс ее духовной работы [...].

Нынешнее состояние Франции при господстве bloc national /национального блока — *фр.*/², столь огорчительное для ее собственных более духовных сынов и столь неблагоприятное для распространения добра в Германии, тем не менее лишь частичное проявление состояния, в котором находится мир; и, говоря о нынешних неблагоприятных условиях, в которых должна происходить работа немца над самим собой, мы имеем в виду, что таково общее положение в мире. Речь идет о состоянии душ и умов, которое можно сравнить с существовавшим после наполеоновских войн, — потрясения от наступившего кризиса, от неудач, от *порожденного депрессией антигуманизма*, наиболее очевидными проявлениями которого являются большевизм в России, фашизм в Италии, реакция в Венгрии, а также известные, настойчиво распространяемые, реакционные идеи во Франции, более или менее явные следы которых обнаруживаются во всех странах культурного региона. Мы причисляем и большевизм, хотя он проникнут все же более радикалистским и революционным духом, к формам проявления этой депрессии, ибо и он, как бы ни расценивать его и его значение, во всяком случае не является ни демократией, ни свободой и гуманностью, а диктатурой и террором. Именно диктаторски-террористическая тенденция характерна в целом для этого мирового движения. Его опасность вообще, и для немецкого характера в частности, состоит в том, что оно не лишено полета и смысла, что в его основе лежит в известной степени верное историческое чувство. Идея демократии связана с политическими формами, которые действительно кажутся устаревшими. У большей части молодежи Европы такое чувство, что наступил *поворотный момент в мировом развитии*.

Люди с более тонкой интуицией уже давно его увидели. Он ясно обозначился с начала Большой войны, этой катастрофы эпохального масштаба³. Мы замечаем признаки смертельной усталости даже на челе самой идеи гуманности. Эта идея предстает как нечто отжившее, вчерашнее перед новым европейским поколением, о котором мы говорим. Новое поколение видит в ней покрытую классицистической пылью принадлежность обанкротившейся, обреченной на смерть буржуазной эпохи. Культура этой эпохи началась в период Ренессанса, ее конституцию провозгласила Французская революция, экономически она осуществилась в капитализме, а на этапе промышленно-милитаристского империализма — бредет, спотыкаясь, к своей кровавой гибели. У этой эпохи были свои идеи, они назывались гуманизмом, индивидуализмом, либерализмом, демократией, свободой, личностью — смертельно усталые, отжившие и осужденные временем идеи, они сами довели себя ad absurdum /до абсурда — лат./ и, как думает молодежь, более ни на что не годны. То, что поднимается сегодня, что сегодня важно, — нечто совсем иное, противоположное всему этому. Не индивидуализм, а общность, не свобода, а железное обязательство, безоговорочный приказ, террор. Релятивизм окончившейся буржуазной эпохи был олицетворением порока. Необходимо *Абсолютное*. В этих мыслях молодежи, выражаемых намеками, убогими лозунговыми формулировками, содержится много верного для нынешнего времени, много истинной революции. И тем не менее им присуще нечто по-человечески жуткое — явная склонность к обскурантизму, опасность докатиться до обскурантизма. *Обскурантизм — это опасность любого времени, которое вожделем Абсолютного.* И опасность, которой подвергается значительная часть нашей молодежи и которая представляет собой угрозу для укрепления республики в Германии, состоит в

том, что эта молодежь, благодаря идеям первоначально действительно революционного характера, попадает в объятия политического обскурантизма, а это значит — реакции.

Тем не менее мы не считаем это серьезной угрозой. Идущая вразрез жизни реакционная эксплуатация антилиберальных идей не может принести победы. То, что покинуто духом и Богом, не получает поддержки в сфере правильной идеи, оно увянет и кончится. В конце концов мы страна, в которой творили такие умы, как Гёте, Гельдерлин* и Ницше*. Они не были либералами, эти великие немцы, они не были и обскурантами, и их "Абсолютное" — человек. То, что они видели и воспевали, было третьим царством религиозной гуманности, новой, стоящей по ту сторону оптимизма и пессимизма идеей человека, которая есть более, чем идея, — она пафос и любовь, истинная, воспитывающая любовь, которая обеспечивает ее носителям последователей среди молодежи всего мира.

Нет в этой идее ничего устаревшего, ничего буржуазно-вчерашнего, как думают некоторые, противопоставляя ей в качестве современной идеи радикалистский или реакционный фашизм. Республиканская молодежь Германии понимает, что гуманность — это идея будущего, та идея, к которой должна пробиться Европа, идея, которая должна ее воодушевлять и которой она должна жить — если не хочет умереть.

АРТУРУ ШНИЦЛЕРУ*

Мюнхен, 4.9.1922

[...]В октябрьском номере "Нейе Рундшау" Вы

* Встречающиеся здесь и далее в тексте имена, отмеченные *, см. в аннотированном списке имен, помещенном в конце книги.

найдете мою большую статью "О немецкой республике", продолжение, возможно, будет в следующем номере. Я призываю там бунтующую часть нашей молодежи и нашего бюргерства стать, наконец, безоговорочно на службу республике и гуманности — тенденция, которая Вас, очевидно, удивит, но именно в данный момент мой долг перед страной как автора "Размышлений аполитичного" выступить с таким манифестом. А что касается влюбленности в идею гуманности, — она с некоторых пор владеет мною, — то она связана с романом⁴, я пишу его слишком долго — своего рода воспитательную историю вроде Вильгельммейстериады⁵, в которой молодой человек (перед войной) через болезнь и угрозу смерти приходит к идее утверждения человека и государства [...].

ИДЕ БОЙ-ЭД

Мюнхен, 5.12.22

Дорогая, милостивая государыня,
спасибо за Ваше письмо, заботливая тревога которого вызывает у меня уважение! Но все-таки я не могу не думать, что если бы статью⁶ не опередили недобросовестные сообщения газет, Вы тоже прочли бы ее другими глазами. Тенденциозное бюро Вольфа⁷ сообщило, будто я так-таки и заявил, что республика рождена не позором и поражением, а подъемом и честью, точка... Этим выражалось одобрение революции. Чтó я сказал, Вы видели. Я отнес начало республики не к 1918, а к 1914 году. Тогда, сказал я, в час чести и беззаветной готовности броситься в бой, возникла она в сердцах молодежи. Этим я, как-никак, дал какое-то *определение* республики в моем понимании — ведь не стал бы я вообще провозглашать здравицу за республику, не определив ее прежде. И как?! Почти

как противоположность *нынешней* действительности. Но в том-то и штука: попытка придать этому горестному государству, у которого нет граждан, какое-то подобие идеи, души, живого духа казалась мне неплохой затеей, представлялась мне чем-то вроде доброго дела! И Вы, в своем письме, кое-где так близки ко мне, что я, право, не совсем понимаю Вашу боль. Вы видите мой путь, раз Вы говорите об отождествлении понятий гуманность и демократия. Вы называете мою демократию "идеалом всех зрелых и верящих в будущее творческих людей". И тем не менее предательство, измена самому себе, отречение от собственных поступков! Я ни от чего не отрекаюсь. Эта статья — прямое продолжение существенной линии "Размышлений", поверьте мне! Во имя немецкой гуманности я резко выступил против революции, когда она надвигалась. Из тех же побуждений я резко выступаю сегодня против реакционной волны, которая проходит по Европе (ибо я думаю не об одной Германии), как после наполеоновских войн, и которая не кажется мне отраднее в своем фашистско-экспрессионистском бушевании. Я чувствую, что великая опасность, привораживающая уставшее от релятивизма и жаждущее абсолюта человечество, — это обскурантизм в любой его форме (успех римской церкви), и я на стороне великих наставников Германии, Гёте и Ницше, которые умели быть антилиберальными, не давая ни малейших поблажек никакому обскурантизму и ничуть не поступаясь человеческим разумом и достоинством. Видите, я не отвернулся от Ницше, хотя, правда, задешево отдам его умную обезьяну, господина Шпенглера*. А из того, что я дважды становился в оппозицию к своему времени, надо бы, мне кажется, сделать вывод скорее об известной безошибочности инстинкта и независимости совести, чем о податливости "влияниям" и "связям".

Не обессудьте — и эту весьма отрывочную попытку оправдания, и меня вообще!

Ваш Т. М.

(Печатается по: Т. Манн. Письма. М., "Наука", 1975, стр. 32. Перевод С. Анта.)

ГЁТЕ И ТОЛСТОЙ⁸

К вопросу о рангах

[...] Мне хочется оправдать союз "и", который стоит в заголовке моего доклада, — разумеется, увидев его, вы изумленно вскинули брови. Гёте и Толстой — не правда ли, какое в высшей степени необычайное, произвольное и странное сочетание?

[...] Немец инстинктивно не желает признавать преимущества за какой-либо одной стороной, он предпочитает неукоснительно проводить политику "свободы выбора", и наши последующие рассуждения направлены, в сущности, на прославление как раз этой политики, — они открывают перед ней самые лучшие возможности. Лишь такая политика и придает смысл связке в словосочетании "Гёте и Шиллер", противопоставляя в нашем сознании как раз то, что их объединяет. [...] Существует еще одно "и", чуждое и далекое, имеющее подобный же смысл: "и" между Толстым и Достоевским. Но если лишить союз "и" права на противопоставление, если признать единственной его задачей только утверждение духовного родства, духовного тождества, — что тогда? Не произойдет ли тогда в нашем сознании мгновенной перемены местами между великими парами, названными мною? Не объединятся ли тотчас же, в силу глубоких духовных, нет, лучше сказать глубоких *естественных* причин, с одной стороны, Шиллер и Достоевский, а с другой — Гёте и Толстой?

[...] Оставим пока в стороне вопрос, который вам угодно игнорировать, — язычество одного и христианство другого! Быть может, у нас еще будет время к нему вернуться. Но, что касается "аристократического инстинкта", как вы изволили выразиться, то я желаю заявить без всякого промедления: именно его я не только не оскорбляю моим сопоставлением, но, напротив, возвожу на недостижимую высоту. Табель о рангах, иерархия знаменитостей? [...] Тургенев в своем последнем письме к Толстому, в том письме, которое он написал в Париже на одре смерти, заклиная друга бросить религиозное самоистязание и вернуться к искусству, к литературе, — Тургенев первый дал Толстому титул "великого писателя русской земли", титул, который с тех пор так за ним и остался и который с очевидностью подтверждает, что Толстой для своей страны и своего народа имеет примерно то же значение, что для нас автор "Фауста" и "Вильгельма Мейстера".

[...] Итак, "великий писатель русской земли", согласно самой авторитетной оценке, Гомер своего времени, согласно собственному суждению, — но и это еще не все. После смерти Толстого Максим Горький опубликовал небольшую книгу воспоминаний о нем, лучшую свою книгу, насколько я смею судить. Она заканчивается словами: "А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немного боязливо, смотрю и думаю: *"Этот человек — богоподобен!"*

Богоподобен! Это примечательно! О Достоевском никто и никогда так не говорил, так не думал. Да никто и не мог бы никогда так сказать, так подумать о нем. Достоевского называли святым, и можно с полнейшей искренностью так же назвать Шиллера, правда, не в столь византийски-христианском смысле, но все же в христианском смысле, бесспорно присущем этому слову. А вот в Гёте и Толстом, именно в них обоих видели

божества. [...] Что касается Толстого, то он был не олимпийцем и уж во всяком случае не гуманистическим божеством. Скорее он был, говорит Горький, таким русским богом, который "сидит на кленовом престоле под золотой липой", то есть языческим на другой манер, чем Юпитер из Веймара, но все-таки языческим, ибо все боги — языческие. Почему? Да потому, что они подобны природе. Потому что не надо быть последователем Спинозы, как Гёте, сознательный спинозист, чтобы видеть в боге и природе единое целое, а в избранности дарованное природой, божественное свойство.

[...] Гуманистическая божественность Гёте совершенно явно принимает какие-то иные черты, чем глыбистая, первобытно-языческая божественность Толстого, о котором Горький говорил: "Он черт". А все-таки в их сокровенной глубине таится нечто общее, а все-таки и в Гёте присутствует это стихийное, темное, надчеловеческое, хаотически-злое, таящее в себе дьявольское отрицание.

Природа и нация

Заявив, что национальная сущность всегда лежит в области природы, а космополитическая тенденция — в духе, мы не скажем решительно ничего нового; однако напомнить об этом необходимо для внутренней стройности нашего изложения. Слово "этническое" включает в себя понятия, которые обычно мы не привыкли объединять: то есть языческое и народническое, а следовательно, слово это утверждает и нечто противоположное, именно то, что всякий сверхнациональный и гуманный образ мыслей есть, отвлеченно говоря, христианство.

Таким образом, исходя из якобы законченного языческого мирозерцания Гёте (который в "Годах странствий" причисляет иудаизм к этнически-языческим, к народным религиям), от него ло-

гически следовало бы ожидать антигуманных, народнически-национальных воззрений. Неизвестно, считать ли их именно основой, то есть "природой" этого мирозерцания. И тем не менее, в сознании своем, Гёте был гуманист и гражданин мира; невзирая на всю олимпийскую божественность, он был высоконравственным христианином по всему своему душевному складу.

Невзирая на все свое отвращение к "кресту", Гёте, как известно, часто и красноречиво признавался в своем глубоком уважении к идее христианства. [...] И если он видел в церкви "нечто немощное и ветхое", а в догматах ее "чрезвычайно много глупого", то все-таки он утверждал, что в "евангелии сияет блеск величия, исходящего от личности Христа, величия столь божественного, что ничего более божественного никогда не появлялось на земле". "Над величием *нравственной культуры христианства*, — говорил Гёте с симпатией и с явным ощущением союзничества, — человеческому духу никогда не подняться".

[...] Мы говорим о чувстве союзничества, которое на короткие мгновения вспыхивало в Гёте при столкновении с христианским миром. Но в чем состояло это союзничество и на чем оно зиждилось? Гёте преклоняется перед "нравственной культурой" христианства, иначе говоря, перед его гуманизмом, его просветительской антиварварской тенденцией. Эта тенденция была и тенденцией Гёте, и мы находим у него клятвы верности идее христианства, ибо он, несомненно, понимал, что среди германского мира она осуществляет миссию, родственную его собственной. Вот именно в этом, в том, что он считал своей задачей, своим национальным призванием — быть прежде всего просветителем, и заключается самый глубокий и самый немецкий смысл его "самоотречения".

Мы столкнулись здесь с парадоксом, над которым сто́ит поразмыслить. Идеалистический инс-

тинкт непрерывно твердит нам, что талант, творческая потенция, как жизнеутверждающая сила, обязан служить идеям и устремлениям неизменно развивающейся жизни и столь же закономерно восставать против отвращения к жизни, тяготения к смерти, помыслов, обращенных против свободы и прогресса, то есть — с гуманной точки зрения — *дурных*, так что если бы вдруг появилось превосходно написанное произведение, направленное в защиту какого-либо дела, то один этот факт послужил бы метафизическим доказательством благоговения самого дела. И действительно, это почти что закон: все реакционное, как правило, отмечено бесталанностью. Но это правило, знающее исключения. Встречаются реакционные гении, таланты блистательные и победоносные, которые выступают в качестве защитников "троглодитства", и нельзя вообразить себе большей сумятицы, чем та, которую порождает среди человечества это парадоксальное явление.

[...] Именно как подобный случай, как проявление реакционной медвежьей силы и должна была воспринять либеральная и прогрессивная Россия появление Толстого. И все же абсолютно ясно, что эта медвежья сила совершенно одной породы с его исконно-русским характером, с его грандиозной народной подлинностью, с его языческим природным аристократизмом, "тенденция" которого к демократическому одухотворению оказалась на поверку всего лишь сентиментальной тенденцией и увенчалась столь малым успехом. Его могучая *восточность* нашла интеллектуальное выражение в том, что он так издевался и так отрицал европейскую идею прогресса, что глубоко оскорбил своими насмешками всю западническую, всю либеральную, всю *петровски* настроенную Россию. Действительно, он откровенно издевался над верой Запада в прогресс, перенятой Русью Петра Великого. Нами замечен, — говорит Толстой, —

закон прогресса в герцогстве Гогенцоллерн-Зигмарингенском, имеющем 3000 жителей. Но существует еще Китай с его 200-миллионным населением и он переворачивает вверх дном всю нашу теорию прогресса. И все же не вздумайте хоть на минуту усомниться в том, что прогресс есть всеобщий закон человечества. Берите пушки и ружья и ступайте вдалбливать китайцам идею прогресса. А ведь простой человеческий разум мог бы подсказать нам, что раз история большей части человечества, весь так называемый *Восток*, не подтверждает закона прогресса, значит закон этот действителен не для всего человечества. В лучшем случае, — он символ веры, которую исповедует только определенная его часть. Толстой признается, что он вообще не смог обнаружить общего закона в развитии человечества и что историю можно с таким же успехом подчинить любой другой идее или "исторической фантазии", как и идее прогресса. Однако, продолжает развивать свою мысль Толстой, он вообще не видит ни малейшей необходимости обнаруживать закон истории, независимо даже от того, что это вообще невозможно. Общий вечный закон совершенствования, говорит Толстой, написан в душе у каждого человека, и пытаться перенести его на историю, попросту говоря, заблуждение. Покуда закон этот существует для отдельной личности, он плодотворен и доступен каждому; перенесенный на историю, он превращается в пустую болтовню. Всеобщий прогресс человечества недоказуем, а для наций Востока его и вовсе не существует; поэтому столь же бессмысленно утверждать, что прогресс — это основной закон человечества, как утверждать, что все люди бывают белокурые, за исключением черноволосых.

Удивительно, как идеи, заимствованные из сферы немецкого идеалистического индивидуализма, поместившего закон самоусовершенствования в душу

отдельного индивидуума, переплетаются здесь с другими идеями, которые означают решительнейшее объявление войны высокомерию Европы, претендующей на звание духовного законодателя всего мира. Толстой *протестует* против наивного с его точки зрения смещения европейского, то есть западноевропейского человечества, с человечеством вообще, и в этом протесте сказывается его устремленность на Восток, его антипетровские, кондово-русские, враждебные цивилизации идеи — словом, его медвежье азиатство. Голос, который мы с вами услышали, был голосом русского бога, восседающего на кленовом престоле под золотой липой.

Голос гуманистического бога звучит по-иному. Гёте ненавидел азиатство, в этом сомневаться не приходится. Элемент сарматской первобытности, всегда свойственный Толстому, который, в рационализованном виде, слышится и в старческих его пророчествах, был далек и чужд уму великого немца, питавшего глубочайший интерес к вопросам культуры.

Мы уже признались, что нам хочется превратить вопрос о масштабе в вопрос о подлинности. Самый великий немецкий поэт был бесспорно и самым немецким, связь между этими понятиями еще более обусловлена и неизбежна, чем даже связь причинная. [...]

У них у обоих достаточно национальный характер, чтобы предоставить слово духу, не впадая при этом в литераторское пустословие; и Гёте, будучи сам природой, всегда ощущал национальное, о чем, между прочим, свидетельствуют и знаменитые слова, сказанные им Эккерману*: "Какое своеобразное явление национальная ненависть! В наиболее сильной и страшной степени вы всегда обнаружите ее на самых низких ступенях культуры. Зато есть такая ступень, на которой она окончательно и навсегда исчезает: ступень, на которой мы стоим как бы над нациями и воспринимаем счастье

и горе чужого народа словно своего собственного. Эта ступень культуры совершенно соответствует моей природе, и я взошел на нее задолго до того, как достиг шестидесяти лет”.

[...] Нас интересует сейчас не то, что истинно и что ложно в идеях Толстого, а что в них характерно. А они действительно характерны, в высшей степени и со всех точек зрения, и не только для самого Толстого, а как знамение, да, как пророческое знамение эпохи.

Нас поражает прежде всего акцент, звучащий в этих высказываниях Льва Толстого, столь резко противоречащий его известным догматам, его пацифистски-антинациональному, демократически-уравнительному учению, к которому он пришел в старости; тот национальный акцент, которым подчеркивается право русского народа на совершенно особое, только ему соответствующее воспитание, независимое от иностранного духа. Толстой, чье исконно и глубоко русское направление не прошло еще в то время сквозь процесс одухотворения, отрицает право высших классов и чиновничества, воспитанных в западноевропейском либеральном духе, навязывать народу образование, не соответствующее истинным его потребностям. Иначе говоря, Толстой выступает против Петра Великого, чьим созданием и явился этот западноевропейский либеральный чиновничий класс. Педагогические идеи Толстого носят крайне антипетровский, антизападный, антипрогрессистский характер. Толстой открыто заявляет, что просвещенный класс не в состоянии просветить народ, ибо этот класс видит благо народа в цивилизации и в прогрессе. В таких речах и мыслях звучит “Москва”, азиатство, которое пугало Тургенева и его единомышленников в произведениях Толстого и которое превратилось здесь в педагогический принцип. С этими воззрениями тесно связан анархизм Толстого — его вера в анархический принцип

как единственно разумную основу человеческого общежития, его догмат, согласно которому абсолютная свобода делает окончательно излишней дисциплину; догмат, который, будучи перенесен в педагогику, нашел свое выражение в требовании "спустить всех детей с лавок" и избавить их от гнетущих представлений об обязанностях.

Эта фраза о том, что "надо спустить всех детей с лавок", отличается такой удивительной наглядностью, что звучит как символ, выражающий общественно-политические или, вернее, анархически-антиполитические воззрения Толстого, изложенные им с полной ясностью в его знаменитом письме к царю Александру III, отца которого убили 1 марта 1881 года и которого Толстой пытался уговорить помиловать убийц. В словах столь убедительных, что можно только подивиться, как могли они остаться безрезультатными, Толстой разъясняет царю: оба *политических* средства, которые до сих пор применяли против все более распространяющейся политической болезни, во-первых, насилие и террор, а во-вторых, либерализм, конституция, парламент, окончательно доказали свою непригодность. Но остается еще одно, третье средство, не носящее политического характера и обладающее по крайней мере тем преимуществом, что его никогда еще не употребляли. Средство это состоит в покорности воле Божьей, безо всяких условий и ограничений, предписываемых государственной мудростью, то есть в любви, всепрощении, воздаянии добром за зло, в кротости, в непротивлении злу, в свободе... Словом, Толстой советует царю "спустить детей с лавок", ввести анархию (мы употребляем здесь это слово не в ругательном, а в его прямом смысле — в смысле определенного социального и педагогического целебного средства).

Поистине удивительно, как в анархическом учении великого русского его азиатство, представля-

ющее в свою очередь смесь самых различных элементов — восточной пассивности, религиозного квиетизма, откровенного тяготения к сарматской первобытности, — вступает в соединение с западноевропейскими революционными элементами, с педагогическими идеями Руссо* и его ученика Песталоцци*, в которых продолжает жить, хотя и под другим обликом и окраской, этот же элемент антицивилизованности и возврата к первобытному состоянию, словом — анархический элемент. Вот мы и вернулись снова к воспитательному фактору, общему для обоих наших героев, то есть к Руссо; однако мы вынуждены признать, что в области педагогики ученичество у Руссо ничего не дало Гёте. Наоборот, он с яростью и даже с отчаяньем восстал против руссоизма в педагогике.

[...] Западно-марксистский чекан, озаривший ясным светом великий переворот в стране Толстого (подобно всякому свету, озаряющему покров вещей), не мешает нам усмотреть в большевистском перевороте конец Петровской эпохи — западно-либеральствующей *европейской* эпохи в истории России, которая с этой революцией снова поворачивается лицом к Востоку. Отнюдь не европейски-прогрессистская идея уничтожила царя Николая. В нем уничтожили Петра Великого, и его падение расчистило перед русским народом путь не на Запад, а возвратный путь в Азию. Но разве с момента этого исторического поворота, пророком которого, хотя в Москве и не отдают в этом отчета, был Лев Толстой, — разве не с этого момента появилось в Западной Европе ощущение, что и она, и мы, и весь мир, а не только Россия, присутствуем при конце эпохи, эпохи буржуазно-гуманистической и либеральной, которая родилась в эпоху Возрождения, достигла расцвета в период французской революции, и сейчас мы присутствуем при ее последних судорогах и агонии? Перед нами поставлен вопрос: является ли средиземноморская, классически-

гуманистическая культура всечеловеческой и тем самым человечески вечной, или она только духовная форма и принадлежность определенной эпохи — буржуазно-либеральной — и может умереть вместе с ней?

Европа, как мы видим, на этот вопрос уже ответила. Антилиберальная реакция в Европе не только очевидна, она просто бросается в глаза. В области политики эта тенденция проявляется в отрицательном отношении к демократии и парламентаризму, в грозно насупленных бровях, с которыми реакция хватается за диктатуру и террор. Итальянский фашизм абсолютно враждебен большевизму, и никакие его античные жесты и маскарады никого не могут обмануть, ввести в заблуждение и скрыть, что он по самому существу своему враждебен и гуманности. На Пиренейском полуострове, где загнивание либеральной системы приняло еще более отчетливый характер, чем на Апеннинском, события приняли точно такой же, но еще более решительный оборот; примечательно, что реакционная военщина давно уже стоит там у власти. И, наконец, повсеместно — как неизбежная принадлежность антилиберальной конституции и последствий войны — высоко поднялись волны национализма; напыщенное самомнение, обуявшее отдельные европейские народы, неистовое самообожествление, которому они предаются, находятся в поразительном противоречии с убожеством и упадком, в котором пребывает эта часть света в целом.

Особенно пристального внимания заслуживают духовные судьбы Франции, которые непосредственно касаются и нас, немцев. Начиная с первых послевоенных лет, ни одна страна не проявила такого постоянства в верности буржуазно-классической традиции. Франция казалась самой консервативной страной Европы, и она вовсе не собиралась относиться к этой войне как к новой революции; на-

оборот, после победы и в результате этой победы она, по-видимому, решила, что война явилась лишь укреплением и завершением революции буржуазной, революции 1789 года. На вопросы, подобные тому, который поставили мы, Франция отвечала добродушной иронией. Если Германию преследуют "видения апокалипсиса", — говорила Франция, — ну что ж, пусть ее бредит. Франция чувствует себя под надежной защитой своей классической традиции. Я не могу забыть, как однажды, когда я выступал по вопросу о международном обмене духовными ценностями и пытался поставить все те же вопросы, некий сотрудник парижской правительственной газеты мне ответил, что Франция всегда была и будет *l'idement rationaliste et classique* /твердыней рационализма и классицизма — *фр.*/.

Но, увы, то был голос только официальной буржуазно-консервативной Франции, а не той, другой, подспудно существующей — сильной, умной, молодой. Тогда там стоял у власти господин Раймон Пуанкаре*, государственный деятель, которого чрезвычайно ненавидят и чрезвычайно переоценивают в Германии, но который действительно является крупным идеологическим руководителем своей страны, потому что именно он, представляя в политике буржуазно-классическую Францию, проводит идею господства латинской цивилизации. Человек этот таит в своем сердце жестокую личную и идейно-политическую ненависть, для объекта которой он не мог подобрать иного названия, как "коммунизм". Но то, что господин Пуанкаре величает "коммунизмом", это на самом деле борьба против его старой буржуазной Франции, страны классической революции, это крушение устарелой идеи латинской цивилизации, которое вызвано духовными ферментами, проникшими в кровь французского юношества, это новая антибуржуазная духовно-пролетарская революция, и внешним политическим выражением ее являются выборы, приведшие к по-

ражению господина Пуанкаре и к победе депутата-социалиста, занявшего его место. В Германии сомневаются, что его преемник, господин Эррио*, если только он останется у власти, сохранит в неприкосновенности то строго консервативно-гуманитарное школьное законодательство, которое было детищем правления Пуанкаре; и показательно, что именно вопрос культуры, вопрос преподавания воспринимается сейчас как основной вопрос политической программы.

Бесспорно, и во Франции начались "апокалиптические видения"; весьма сомнительно, что ей удастся сохранить свои традиции, но, как нам в Германии кажется, у нас есть основания надеяться, что после тех изменений, которые происходят сейчас в атмосфере Франции, нам будет легче дышать. Ибо, в силу сложившихся обстоятельств, стремления националистов во Франции совпали со стремлениями защитников гуманистической культуры, ибо в основе их убеждений лежит представление о безусловном и вечном превосходстве и мировом господстве латинской цивилизации над остальным человечеством и о том, что в этом и состоит ее миссия. Зато дух европейского сотрудничества и несомненная, хотя и весьма ограниченная, готовность прийти к соглашению с Германией находятся скорей на стороне не столь последовательно латинской младореволюционной, "коммунистической" Франции. Господин Пуанкаре — вождь буржуазно-консервативной Франции, — кроме ненависти к коммунизму, питает в глубине сердца еще другую, столь же стихийную ненависть (впрочем, по существу это то же самое чувство) к Германии, иначе говоря, к "варварству". Ему очень хотелось бы воздвигнуть на Рейне *limes romanus* / Римскую границу — *лат.* / цивилизации и отбросить Германию, которая не хочет и не может подчиниться идее латинской цивилизации, в скифскую пустыню. Он был много лет убежденным и

безжалостным мучителем Германии, но как только во Франции к власти пришел социализм другой окраски, теперь уже не буржуазно-гуманистичный, там тотчас же наметилось некоторое смягчение методов, некоторое ослабление нажима на Германию.

Что же касается Германии, то она находится в очень сложном и своеобразном положении по отношению к этим фактам западной жизни, и составить себе ясное представление и суждение об этих фактах чрезвычайно важно не только для нас, немцев, но и для всего мира. В Германии тоже существуют два противоположных идейных лагеря — гуманистический и псевдо-“коммунистический”, с той только разницей, что национализм окопался здесь не в гуманистическом, а в псевдо-“коммунистическом” лагере; а это значит, что, если два народа ставят перед собой одну и ту же культурную задачу, это еще вовсе не одно и то же, и что стремление к одним и тем же духовным ценностям оказывается иногда самым неудачным способом добиться политического сближения.

Здесь не место пространно объяснять, что такое немецкий фашизм, как он возник и почему абсолютно понятен факт его возникновения. Достаточно установить, что фашизм — это этническая религия, которой ненавистно не только международное еврейство, но явно и христианство — как человеческая сила, и что жрецы этой религии, очевидно, с наименьшей ненавистью относятся и к нашей классической литературе. Фашизм — это националистическое язычество, культ Вотана⁹, это, говоря враждебно (а мы хотим говорить враждебно), — романтическое варварство. И поэтому фашизм поступает совершенно логично, стремясь вытеснить из культурно-воспитательной области humaniога, классическое образование, чтобы расчистить путь для германского варварства. И он не видит или не хочет видеть, какой роковой кон-

траст существует между его деятельностью и антилатинским направлением послебуржуазной Франции и как он играет на руку "коммунистоеду" Пуанкаре. Насаждать сейчас в Германии язычество, справлять праздник солнцеворота и совершать молебствия во славу Одина, то есть вести себя как и полагается националистским варварам, — это значит признать полную правоту французских патриотов, которые хотят воздвигнуть бруствер на Рейне в защиту западной цивилизации, и это значит самым идиотским образом компрометировать те силы во Франции, которые не делают столь строгого различия между латинским миром и варварством и пытаются заключить с Германией *gentleman's agreement* /джентльменское соглашение — *англ.*/ о мире, взаимопонимании и равновесии.

Вот что мы имеем в виду, говоря, что следование одной и той же духовной тенденции подчас может быть самым неподходящим способом для политического сближения между двумя народами. Сейчас для Германии не время выступать против гуманизма, брать за образец как педагогический "большевизм" Толстого, так и провозглашать этническим варварством волю Гёте к отречению и ограничению, суровость Гёте по отношению к наслажденчеству, свойственному общечеловеческому воспитательному идеалу. Наоборот, для нас наступил момент со всей силой подчеркнуть и со всей торжественностью восславить наши великие гуманные традиции — и не только во имя этих традиций, но чтобы на деле доказать всю неправомерность притязаний "латинской цивилизации". Нашему же собственному социализму, чье духовное развитие давно исчерпало себя в злосчастном экономическом материализме, сейчас всего важнее приобщиться к той высокой Германии, которая "душой всегда стремилась в страну греков". С политической точки зрения, он, этот социализм, и есть наша настоящая национальная партия, но

она не сможет подняться до выполнения своей поистине национальной задачи, покуда, скажем мы, договаривая все до конца, Карл Маркс не прочтет Гельдерлина, впрочем, встреча эта, кажется, произойдет скоро.

Последний фрагмент

Прекрасна решимость. Но плодородна и творчески плодотворна лишь оговорка, и только она и составляет наш художественный принцип. Мы любим ее в музыке за мучительную радость, которую дарит нам выдержанный звук, за томительное поддразнивание тем, чего еще нет, за тайную нерешительность души, в которой заключено уже разрешение, исполнение, гармония, но которая все еще чуть-чуть оттягивает, откладывает, задерживает, еще чуть-чуть медлит в блаженстве, прежде чем отдаться себе целиком. Мы любим ее в области духа, где она выступает в облики иронии, — иронии, направленной в обе стороны, когда, лукавая баловница, но все-таки ласковая, она резвится между контрастами и не спешит встать на чью-либо сторону и принять решение: ибо она полна предчувствия, что в больших вопросах, в вопросах, где дело идет о человеке, любое решение может оказаться преждевременным и несостоятельным и что не решение является целью, а гармония, которая, поскольку дело идет о вечных противоречиях, быть может, лежит где-то в вечности, но которую уже несет в себе шаловливая оговорка по имени Ирония, подобно тому как задержание несет в себе разрешение. Мы предоставили ей все возможности на предыдущих страницах, ей, этой "бесконечной" иронии, и теперь судите сами, какой из сторон она отдает *предпочтение*, кого в этом вечном противоречии она осуждает, и сделайте

выводы, но только не заходите в них слишком далеко!

Ирония — пафос середины... Она и мораль ее, и этика. Мы уже говорили, что поспешность в решении вопроса об аристократизме — включая в эту формулу весь комплекс контрастных ценностей, которые мы также подвергли рассмотрению, — не свойственна немцам. Этому срединному народу — "гражданину мира" — пристали пафос и мораль, соответствующие его положению; я слышал, что в еврейском языке слова "познание" и "уразумение" происходят от того же корня, что и слово "между"¹⁰.

Немецкий писатель, который неотступно бьется над проблемой благородства, проблемой аристократизма, предпринял, разумеется, очень дерзкий, зато очень остроумный филологический эксперимент, попытавшись произвести имя немецкого народа от "народ Тиуше", от "народ-обманщик". Народ, обитающий в самой сердцевине буржуазного мира, это народ-обманщик, народ-хитрец; с иронической оговоркой поглядывает он на ту сторону и на эту, и мысль его беспардонно и весело резвится между противоречиями, пока сам он сохраняет свою мораль, нет, благочестие, свойственное именно "между", свою веру в познание и разум, в общечеловеческое воспитание.

Благодатная трудность середины, ты и свобода и оговорка! Нас вечно попрекают тем, что "политика свободы выбора" довела нас практически до несчастья! Эта практика очень сомнительна, да и несчастье в высшей степени тоже; гораздо вероятней, что оно пошло на благо нам. И мы так мечтали о нем, как никогда не мечтают о своем "счастье"! Впрочем, ханжеское смирение перед неудачей несколько не благородней, чем ханжеское смирение перед успехом; и только культ неудачи мог бы пошатнуть нашу веру в закономерность и священную предопределенность политики духа, потребности которой в свободе и в иронической

оговорке отнюдь не являются высшим смыслом и самоцелью, но сами подчиняются высшему средоточию и гармонии, чистой человеческой идее.

Взаимность сентиментального томления (ведь мы установили, что сентиментален не только дух), стремление детей духа к природе, детей природы к духу, свидетельствует, что цель, стоящая перед человечеством, — это высшее единение, и человечество, воистину высший носитель всех стремлений, окрестило его собственным своим именем — *humanitas*. Инстинкт, повелевающий немцам сохранять свое положение срединного народа, — он и есть истинно национальное чувство. Именно так называем мы жажду свободы и стремление народов к самопознанию и самоусовершенствованию. А художник работает усердно и прилежно и, кажется, думает лишь о том, чтобы вырвать из камня свое создание, сокровеннейшую свою мечту, и вот наступает потрясающий и священный час, и он понимает, что одержимость его была из гораздо более чистого источника, что он создал своим резцом гораздо более высокое произведение [...].

(Печатается по: Т. Манн. Собрание сочинений в 10-ти тт. М., "Худ. литература", 1959—1961 гг., т. 9, стр. 497—604. Перевод Е. Закс. Далее: Т. Манн. Собр. соч. на русск. яз.)

ИОЗЕФУ ПОНТЕНУ*

Мюнхен, 21.1.1925

[...] Кто читал "Размышления", знает, что Ваша полемическая работа не содержала разгромных для меня откровений. Кто знаком с музыкальной диалектикой "Волшебной горы", также это знает и знает вдобавок, что ответить Вам я сумел бы. Каждый понятливый человек понимает, что сегодня и почему сегодня мне хочется — держась тер-

минологии, заимствованной Вами из наших разговоров, — бросить свое слово на ту чашу весов, где "дух", бросить без опасения, что в нашей Германии она перевесит чашу "природы" и "природа" когда-нибудь упорхнет Бог весть куда. Если Вашей усердной дружбе и удалось мобилизовать против меня национальную молодежь, — что ж, новый роман, как я знаю, и то пробудил во многих юных сердцах чувство стыда и потребность извиниться передо мной, да и вообще я настолько привык представлять в неправильном свете, освещение, падающее на меня, менялось уже настолько часто, что я отказался от неблагодарных и малопочтенных хлопот самозащиты и самообъяснения и решил предоставить все времени и дальнейшему спокойному проявлению в нем моей натуры.

На этом я мог бы, собственно, и закончить ответ на Ваше письмо, но чтобы Вы не считали меня человеком слишком уж вялым, добавлю еще кое-что.

Знаете ли Вы прекрасные, сильные слова, которые написал Варнхаген фон Энзе* в 1813 году, когда Гёте умудрился прослыть безродным бродягой? Я приведу их, знаете ли Вы их или нет. "Это Гёте-то не немецкий патриот? — восклицал Варнхаген. — В его душе давно сосредоточилась вся свобода Германии и стала там, ко всеобщему нашему неocenимому благу, образцом, примером, основой нашего развития. В тени этого дерева мы все. Ничьи корни не входили в нашу отечественную почву прочнее и глубже, ничьи сосуды не пили ее соков истовой и упорней. Наша ратная молодежь и ее высокие помыслы связаны с этим духом, право, теснее, чем со многими теми, кто утверждает, что он был тут особенно деятелен".

Прекрасные, сильные слова. Из них вытекает та истина, которую я всячески публично отстаиваю, — что в делах национальных слово и мнение человека мало что решают, зато его бытие, его по-

ступки решают все. Если ты написал "Гётца", "Фауста", "Рифмованные изречения" и "Германа и Доротею", поэму, которую Шлегель почтил эпитетом "отечественная", — то можешь быть каким угодно великим гуманистом, позволить себе сколько угодно цивилизаторско-космополитической неблагонадежности в своем поведении, и все равно ты всегда будешь излучением великой немецкой идеи. Если ты — простите такое сопоставление в частном письме! — написал в молодости "Будденброков" и "Тони Крёгера", а в зрелом возрасте "Волшебную гору", книгу, мыслимую только в Германии и самую немецкую, какая только может быть, — то ты достаточно неподделен, у тебя достаточно национальной "природы", чтобы в определенных, благоразумных и добрых целях немного поддержать "дух", не рискуя впасть в литераторское пустословие, и возможно, что наша любезная рёнская молодежь¹¹ "связана" с таким духом "теснее", чем то предполагает сегодня ее раздражительность.

Давайте задержимся еще немного на Гёте! Вы знаете, что этот старый гуманист терпеть не мог "креста". Тем не менее он часто делал выразительно-почтительные уступки христианской идее. "Выше величия и *нравственной культуры* того христианства, — говорил он, — что сияет и светит в евангелиях, человеческий дух не поднимется". Это слова, в которых проглядывает симпатия, чувство *союзничества*, и над которыми стоит задуматься. Гёте склоняется перед "нравственной культурой" христианства, то есть перед его гуманностью, перед его антиварварской тенденцией к смягчению нравов. Это была и его, Гёте, тенденция; и идут такие реверансы при случае, несомненно, от понимания родства между миссией христианства внутри национально-германского мира (который, в частном письме это можно сказать, всегда находится в каких-нибудь двух шагах от варварства, а то и вовсе в нем погрязает) и его, Гёте, собственной

миссией. В том, что свое национальное назначение, свою задачу он считал в основном цивилизаторской, и состоит самый глубокий и самый немецкий смысл его "самоотречения". Неужели Вы сомневаетесь, что в Гёте были заложены возможности величия более дикого, более буйного, более опасного, более "естественного", чем то, какое ему позволил явить его инстинкт самообуздания, чем то, которое видится нам сегодня в его высокопедагогичной фигуре? В его "Ифигении" идея гуманности как противоположности варварству принимает облик цивилизации — не в том полемическом и уже политическом смысле, в каком употребляют это слово сегодня, а в смысле "нравственной культуры".

[...] Это произведение, рожденное "самоотречением", немецко-воспитательным отказом от тех преимуществ варваризма, которыми всюю и с таким огромным эффектом пользовался сладострастнейший Рихард Вагнер*, — за что и закономерно наказан тем, что его разгульно-этническое творчество с каждым днем обретает все более глубокую популярность. Тут действительно существует некий закон. В самом деле, разве долг самоотречения, которому подчинился Гёте, не есть нечто сверхличное? Разве это не предписание судьбы, не врожденный, карающий за его нарушение тяжкой духовной карой императив всякой немецкой идеи, которой суждено как-либо и в какой бы то ни было мере вырасти в воспитательную ответственность?

Вот всякие тенденции, дорогой господин Понтен, имеющие сегодня прямое отношение к проблеме примирения Германии с Европой и к спасению Европы вообще. Вы чистосердечно ввязались в дело, и Вам полезно узнать, что есть люди, которые никакого чистосердечия тут не усматривают и не прощают мне простодушия, с каким я отнесся к этому. По-моему, они неправы. Но после того, как я уж поссорился с милой молодежью, я не могу ссориться со своими друзьями, выступая Вашим

партнером в брошюрах. Я должен подумать, как мне, раньше или позже, на свой страх и риск, "приблизиться к молодежи", и, по-моему, Вы тоже должны были бы предпочесть приблизиться к ней иным способом, чем памфлетами против меня. А именно — собственным творчеством.

Ваш Томас Манн

(Печатается по: Т. Манн. Письма. М., "Наука", стр. 37—39. Перевод С. Анта.)

МЮНХЕН КАК ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ¹²

[...] Будем откровенны, уважаемые слушатели! Были годы, когда нам, избравшим Мюнхен своим местожительством, и, я думаю, не только нам, приходилось при упоминании о душевном и духовном состоянии города в смущении и с неприятным чувством опускать глаза и даже спрашивать себя, возможна ли здесь и дальше достойная жизнь. Вспомним, как было когда-то в Мюнхене, вспомним его атмосферу, разительно отличавшуюся от берлинской! Атмосферу человечности, терпимости к проявлениям индивидуализма, скажем, свободы носить любую маску; атмосферу веселой чувственности, артистичности, радостного ощущения жизни, молодости, народности, той народности, на здоровой, крепкой почве которой в истине благожелательном окружении могло цвести самое своеобразное, нежное, смелое, иногда экзотическое растение. Неумирающее, более или менее юмористически пестуемое противопоставление северу, Берлину, имело совсем другой смысл, чем сегодня. Здесь царил артистический дух, там — дух политики и экономики. Здесь демократический, там — феодально-милитаристский. Здесь наслаждались веселой гуманностью, а в суровой атмосфере мирового города ощущали известную к себе враждебность.

Что должно было случиться, чтобы это соотношение оказалось почти обратным? Не будем вдаваться в подробности, мы слишком хорошо знаем, в чем дело. Мы стыдились строптивного пессимизма, который Мюнхен противопоставил политической пронизательности Берлина, политическим устремлениям всего мира; мы с горечью увидели, что его здоровая и веселая кровь оказалась отравленной антисемитским национализмом и Бог знает какими зловещими глупостями. Нам пришлось пережить, что Мюнхен к тому же ославлен в Германии и за ее границами как оплот реакции, опора всяческой закоснелости и противодействия велениям времени, мы должны были выслушивать, что его называли глупым, по-настоящему глупым городом.

На это у нас было только одно возражение: если Мюнхен потерял свою привлекательность и значение, то это могло случиться только из-за искажения его облика вследствие рокового бремени страданий, горя, унижения, смятения и душевной муки, от которых страдал не только Мюнхен, но в той или иной степени вся Германия, но и вся Европа. Постепенное выздоровление Германии и мира принесет с собой, мы надеемся, вместе со всем другим и в первую очередь выздоровление Мюнхена; он вновь обретет свое лицо и его значение для Германии и мира будет восстановлено. Приятно было слушать это. Но, уважаемые слушатели, воздействие, которое оказывают страдания на человека, на людей как на человеческую общность, на характер города, не всегда одинаковы, и они различны не случайно. Состояние, в котором оказался Мюнхен в результате свалившейся на всех беды, в скрытом виде, как опасность можно было распознать еще раньше, в его прежнем счастливом, наверно, слишком счастливом существовании. И может быть, Мюнхен с меньшими потерями вышел бы из горестных лет, если бы

до этого был склонен обратить внимание на проблемность ситуации и не с таким добродушным спокойствием пребывал бы в убеждении, что "мы здоровы", а проявил бы немножко больше духовности и понимания художественного. Страдания привели к тому, что безобидность перестала быть добродушной, она стала агрессивной, враждебной, негостеприимной. А каковы будут последствия, если Мюнхен надолго приобретет славу негостеприимного города, — это коснется не только нас, художников и писателей, это отразится на владельцах гостиниц, строительных предпринимателях, коммерсантах. Тогда Мюнхену придет конец — как в более духовном, так и в самом реальном. Тогда не будет у него не только современного театра, и ни один художник, который хочет создать себе имя, не сможет здесь жить, но и захиреет индустрия туризма, и Мюнхен станет похож на красивую женщину, которая, однако, пользуется репутацией такой надоедливо ограниченной, что не может найти себе любовника.

Существует, уважаемые слушатели, расхожее клише, в последнее время его часто используют в официальных выступлениях: север и юг отличаются друг от друга и дополняют друг друга; там, на севере, руководствуются критериями разумности, здесь же ценят чувство. Не следует так рьяно защищать эту неправильную антитезу, ибо во-первых, на немецком севере столько же чувствительности, сколько и на юге: чувство туманит голубые глаза северянина даже чаще, чем карие глаза южанина; юг в общем и целом *жестче*, чем север. Полагать обратное — глубокое заблуждение.

Во-вторых, что касается чувства, то так обстоят дела сегодня: оно может стать большой опасностью, опасностью для всего мира, если не будет под контролем разума. Убийство Вальтера Ратенау*, который хотел сделать то, что и должно быть сделано сегодня с одобрения всех не окон-

чательно закосневших, тоже было делом чувства. Только это был безумный поступок. И если в один прекрасный день Европа сама себя уничтожит, то это будет самоубийством, продиктованным самым глубоким чувством. К сожалению, мы уже почти дошли до того, что человека, проявившего следы ума и рассудительности, в Германии тотчас же начинают считать евреем и тем заранее сбрасывают со счета. А между тем, пренебрежение к уму и рассудительности редко бывает более неуместно, чем сегодня. У ценностей свое время, уважаемые слушатели, и они не всегда одинаково ценны. Ум и рассудительность, что бы ни говорили иррационалисты и мистики, сегодня ценность первостепенная [...].

ЛЮБЕК КАК ФОРМА ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ¹³

[...] Уважаемые слушатели, я отношу себя к числу тех, кому дорого понятие "Европа", я встаю против международного национализма, не желающего осознать современное положение в мире, которое с настоятельностью, понятной каждому разумному человеку, требует нового единства народов Европы; в этом, без сомнения, сказывается усвоенный мною личный опыт: я стал непосредственным свидетелем европейского единства, я осознал, что народы Европы — лишь различные формы проявления, лишь разновидности более высокой духовной общности. Такая концепция, господа, очень далека от враждебного культуре демократизма. Мы создаем глубоко личное произведение и с изумлением обнаруживаем, что выразили дух своей нации. Мы создаем произведение глубоко национальное — и нежданно-негаданно видим, что выразили общечеловеческое, причем выразили это общечеловеческое гораздо более верно, чем если бы интернационализм был для нас предвзятой программой.

Итак, то, что мне удалось в молодые годы сказать "Будденброками", я выразил как бы нечаянно, бессознательно. Но я сильно заблуждался бы, полагая, что выразил это случайно. Теперь мы знаем, как велика роль бессознательного, вернее — подсознательного начала в нашей жизни, и насколько все важнейшие наши действия связаны с этой существенной сферой духовного бытия, которую философия называла "волей" и которая лишь в малой степени и лишь *post factum* контролируется и истолковывается разумом. Наступил день и час, когда мне стало ясно, что яблоко от яблони никогда далеко не падает, что я как художник в гораздо более "истинном" смысле и в гораздо большей мере — яблоко с древа Любека, чем я это подозревал; что те, кто, обидевшись на известную критическую резкость моей книги¹⁴, хотели видеть в моем лице отщепенца, изменника, чужака, — были глубоко не правы, и что не только в этой книге, но и во всех других, во всем моем художественном творчестве, во всей моей деятельности — как бы она ни была значительна или малозначительна — следует видеть не какие-то чисто эстетические формальные поиски, предпринимаемые безродным бродягой, но некую форму жизни, а именно *Любек как форму духовной жизни*.

В художественном творчестве, господа, есть нечто символическое. Оно представляет собой новое, образное воплощение унаследованных и с молоком матери впитанных свойств личности. [...]

Человек, ставший мыслителем или художником, "вырождается" меньше, нежели среда, от которой он эмансипируется, и меньше, нежели он сам думает; он не перестает быть тем, чем были его отцы — напротив, он воспроизводит их опыт в иной, более свободной, одухотворенной, образно-символической форме. Повторяю, мне это стало ясно в те тяжкие, суровые, значительные годы, когда каждый принужден увидеть свои корни, занять

подобающее ему место и определить свой символ веры, — в годы войны. ”Мы ищем в книгах, — писал я в то время, — ищем в бедствиях эпохи самые отдаленные источники, законные основания, древнейшие духовные традиции угнетенной личности, ищем оправдания... Кто я, откуда произошел, почему я таков, каков есть, и не могу ни стать иным, ни даже пожелать быть иным? Я горожанин, бюргер, отпрыск и далекий потомок немецко-бюргерской культуры. [...]”.

Это — слова из ”Размышлений аполитичного”, и с ними можно было бы не считаться в вопросах высокой идеологии, если бы они не были справедливы прежде всего для жизни одиночной личности.

[...] Позвольте мне, господа, в этой связи сказать несколько слов еще об одной, последней книге, о ”Волшебной горе”, — этим вы облегчите мне возможность развить ряд мыслей, которыми я хочу поделиться с вами в заключение нашей небольшой беседы. Герой (если можно так сказать в данном случае) этой истории, которая из маленького анекдота перерастает в устрашающе обстоятельное повествование, заколдованный Ганс Касторп — простодушный молодой человек, и автор характеризует его именно так. Но при всей простоте он хитрец, и я бы хотел заметить, что хитрость его — ганзейского происхождения (для разнообразия и во избежание придирок он родом из Гамбурга), только ганзейский характер проявляется у него не так, как у предков, не в отважных пиратских набегах, но иначе — в более спокойной и духовной форме: его привлекает дерзание чувства и мысли; благодаря этому полету воображения скромный юноша возносится в космическую и метафизическую сферы и в самом деле может стать героем истории, которая пытается своеобразно, иронически и несколько пародийно возродить старонемецкий роман воспитания типа ”Вильгельма Мейстера”, плод нашей великой бюргерской эпохи.

В одной из глав (весьма опасной) наивный смельчак бросает вызов даже стихиям, даже *природе*; я оста-навливаюсь на этом, потому что именно здесь особенно ясно видно, с чем он духовно связан, он и автор. Ничто так не характерно для нашей формы жизни, как отношение к природе, точнее (потому что ведь и человек — природа) к природе внечеловеческой. Выше было установлено, что в книгах вашего земляка природы мало, мало пейзажных описаний, запаха земли, мало полей, лесов и равнин; эти книги повествуют о людях и о человеческом — вот на чем сосредоточен почти весь их интерес, вот куда направлено все внимание, природа отходит на второй план, и если случается так, что она выступает вперед, то появляется в самых титанических и стихийных своих формах — бесконечная морская даль или грандиозность горного хребта, покрытого вечным снегом (вспомним Ганса Касторпа, который родился у моря и живет высоко в горах); таким образом, формы, которые приобретает природа, вызывают трепет и благоговение, но изумленный человек не может не испытывать известной отчужденности, которая, пожалуй, способствует *глубине* переживаний, но, навевая ужас, исключает всякую *интимность*, всякую доверительность. Море — не пейзаж, это образ вечности, небытия и смерти, это метафизическое сновидение; то же можно сказать о горных вершинах, где вечные снега и разреженный воздух. Море и горные хребты — не сельская местность, они стихийны, им свойственно дикое, недоступное человеческому сознанию величие; кажется, что городской, урбанистический, бюргерский художник, когда ему нужна природа, склонен к тому, чтобы перешагнуть через окружающий его сельский ландшафт и обратиться непосредственно к первозданной стихии; дело в том, что в отношении к этой стихии он имеет полное человеческое право испытывать и выражать те чувства, которые возбуждаются в нем

всякой природой вообще: страх, отчужденность, удивление перед лицом этого странного, дикого, непонятного. Поглядите на маленького Ганса Касторпа, как он в своих штатских бриджах, скользя на сверкающих лаком лыжах, появляется в краю первобытного безмолвия, в краю грозных исполинских гор, которые даже не враждебны ему, но исполнены царственного величия и убийственного равнодушия. Он бросает им вызов с той же наивностью, с какой бросил вызов духовным проблемам, с которыми ему пришлось столкнуться по воле судьбы, но что в его сердце? Не "чувство природы", которое означало бы, что он в той или иной мере с природой связан. Нет, но страх, может быть, благоговение, религиозный трепет, физически-метафизический ужас — и еще нечто более важное: *насмешка*, неподдельная ирония по отношению к этому могучему и глупому, снисходительное презрение к этим титаническим силам, которые, правда, слепы и могут его уничтожить, но которым он даже в смерти явит свое человеческое упорство. Кто рассказывает об этом, господа, кто рассказывает в подобном духе, тот рассказчик городской, бюргерской и — в самом общем смысле — любекской формы жизни.

С "Волшебной горой" произошло то же, что с первым романом, с "Будденброками". Как и в том случае, замысел был скромнен. Я хотел написать гротескную историю и в комическом аспекте дать ту одержимость идеей смерти, которая составляет содержание венецианской новеллы; я хотел создать как бы комическую "драму сатиров", которая следовала бы за трагедией "Смерти в Венеции"¹⁵. Затем все повторилось: книга разрасталась у меня в руках, и роман, подобно первому, разбух на два тома; во время войны у него был период зимней спячки, потом он снова ожил, оказался восприимчив, как губка, разросся, как кристалл, за счет всех переживаний эпохи, и в самом деле стал

литературным подобием "Будденброков", повторением этой книги на новой жизненной ступени, которая была новым этапом жизни как для автора, так и для всего народа. Но в каком смысле — подобием и повторением? В том, что и эта книга, эта гротескная и даже весьма опасная, весьма сомнительная история, в которой юная душа слишком низко наклоняется над духовными и нравственными безднами, является выражением бюргерской или, символически говоря, любекской формы жизни. Дело, однако, отнюдь не в том, что герой ее — ганзеец; этот факт лежит на поверхности, и я лишь мимоходом упомянул о нем. Но что за идея овладевает душой этого горемыки, этого юного искателя приключений, оказавшегося между крайностями педагогики и смертью, что за идея раскрывается ему в его сновидениях посреди вечных снегов, за которую он радостно цепляется, потому что видит в ней идею самой жизни и человеческого рода? Ему раскрывается идея *середины*. А ведь это немецкая идея. Это самая что ни на есть немецкая идея, ибо разве не является сущностью немецкого характера — середина, среднее, посредничество, а немец — средним человеком в самом высоком смысле этого понятия? "Немецкий дух" значит то же, что "середина"; а "середина" то же, что "бюргерство"; его мы и хотим утвердить и сохранить, ибо оно так же бессмертно, как немецкий дух.

Те, что держат руку на пульсе времени, сегодня извещают нас о сдвигах эпохального значения. Бюргерская форма жизни кончилась, утверждают они. Она отжила свой век, исчерпалась, осуждена, обречена на то, чтобы ее без остатка поглотил новый мир, возникший на востоке. Верно ли это утверждение? О да, в значительной степени верно. Все мы чувствуем и знаем, что над Европой прокатывается сокрушительная волна перемены, то самое, что называют "мировой революцией", коренной переворот в нашем образе жизни, и для его

осуществления используются все средства — нравственные, научные, экономические, политические, технические, художественные; этот переворот идет с такой стремительностью, что наши дети, родившиеся до войны или после нее, фактически живут уже в новом мире, который мало что помнит о наших старых порядках. Мировая революция стала непреложным фактом. Отрицать ее равносильно отрицанию жизни и развития; упорствовать в консерватизме перед ее лицом равносильно тому, чтобы добровольно самим поставить себя вне жизни и развития. Но одно дело — признавать мировую революцию, другое — полагать, что она обрекает на гибель и уничтожение жизненную форму немецкого бюргерства. Слишком уж тесно сплетена эта жизненная форма с идеей человечества, гуманизма и вообще человеческого развития, чтобы она могла оказаться чужеродной и ненужной в каком бы то ни было человеческом обществе; здесь играет роль ошибочное преувеличение классово-экономической стороны вопроса, в основе этого заблуждения лежит объединение буржуазного классового общества с немецко-бюргерской духовной и общечеловеческой культурой.

Мы имеем в виду лишь форму духовной жизни, уважаемые слушатели, а это значит, что мы, говоря "бюргерство", не подразумеваем какие-либо узкоклассовые, скажем — антисоциалистические интересы. Дух есть нечто высокое и чистое, и тот, кто поднимает известную форму жизни в сферу духовности, сохраняет эту форму чистой, оберегает ее от всякого вырождения и окоснения, которые грозят ей в мире реальном. Говоря "немецкий" и "бюргерский", мы не упражняемся в партийном жаргоне и отнюдь не превозносим международного буржуа-капиталиста. Здесь мы не разделяем немцев на бюргеров и социалистов. Здесь немецкий характер как таковой и есть бюргерство, бюргерство в высоком смысле слова, мировое бюргерство, миро-

вая среда, мировая совесть, мировая умеренность, которая не дает себя увлечь ни вправо, ни влево и критически отстаивает идею гуманности, человечности, человека и его развития от всех крайностей. Немец, поставленный судьбой между мировыми крайностями, сам не может быть экстремистом; таково прирожденное духовное его свойство, и никакой радикализм ничего тут не изменит. "Немцу, — говорится в песне Гёте, — немцу не пристало неистовые страсти разжигать и колебаться в разные стороны". Эти слова дышат мировым бюргерством и мировой совестью, они выражают непоколебимую стойкость гуманиста. Но как нелепо было бы, однако, эту стойкость, которая и есть сама свобода, смешивать с недостатком свободы, с жалкой скованностью, с неспособностью к отваге, к бесстрашию, к революционному подвигу. Откуда же тогда возник бы источник великих освободительных подвигов преобразующего духа, ежели "бюргер не создал бы города"? Воля и призвание к высшей форме преодоления бюргерства, к этому опаснейшему, даже губительному эксперименту испытующей мысли — нет, эту привилегию вручил человеку бюргерского мира не какой-нибудь император, но сам дух. Вспомним о том сыне и внуке протестантских священников, в котором романтизм девятнадцатого века преодолел сам себя, о том человеке, чья жертвенная смерть во имя мысли положила начало ранее не высказанному новому, — о Фридрихе Ницше, — разве он не связан корнями с почвой бюргерской гуманности? А если вернуться к более скромной сфере, к Любеку как форме жизни, — что же, могу сказать, что сегодня перед вами выступал бюргерский рассказчик, который, собственно говоря, всю свою жизнь рассказывает одну только историю: историю отхода от бюргерства, но не к тому, чтобы стать буржуа или марксистом, а ради призвания художника, ради иронии и свободы искусства, способного улетать

от действительности или воспарить над ней.

Бюргерский гуманизм, который иронически продолжает жить в надклассовом мире искусства, не способен отвергать вечно обновляющуюся жизнь. Но он точно так же не способен отречься (из трудности или боязни нового) от своих корней и своего происхождения, от переданной ему тысячелетиями во владение бюргерской родины. *Pietas gravissimum et sanctissimum nomen* / Преданность — самое достойное и священное понятие — *лат.*/ Мы торжественно отмечаем юбилей нашего родного края, этот праздник памяти городских и бюргерских традиций. Сюда собрались и те художники, кто уехал в далекие края. Теперь, когда раскололся весь мир пополам, они ищут прибежища в стенах своего семибашенного родного города, чтобы обрести отдохновение посреди своих сограждан.

*(Печатается по: Т. Манн. Собр. соч.
на русск. яз., т. 9, стр. 69—92.
Перевод Е. Эткинда.)*

НЕИЗВЕСТНОМУ¹⁶

Мюнхен, 12.1.1929

[...] Вы знаете так же хорошо, как и я, господин член земельного суда (ни от кого это не может укрыться), что по меньшей мере уже десять лет мы живем в атмосфере, в которой грозит захиреть идея чистого права. Разобщенность народа, все более резко обозначающиеся политические и мировоззренческие противоречия, беспримерная ненависть, развращающие последствия войны — все это (и признаком чего оно является) наносит вред величию идеи правового государства, действует в том направлении, чтобы низвести право до инструмента насилия в борьбе "положительных" политических верований класса, расы, политической воли и тому подобного. Это находит поддержку

у духовных тенденций откровенно антигуманного и антиидеалистического характера, тенденций, которые обычно обобщают политической формулой "фашизм". Они объединяются с этой целью, и в результате — искажение идеи права волей, аффектом представляется сегодня многим естественным, желаемым Богом и по-человечески правильным.

Но есть умы и сердца, которые усматривают в этом как раз противоположное, их мучает противоестественность и неправильность с человеческой точки зрения этого угнетающего явления, и они чувствуют себя обязанными высказать противоположное мнение. К ним принадлежу и я, и в моем письме венскому адвокату¹⁷ я высказываюсь в этом смысле. Если я в нем говорю о "коррупции" (у меня нет здесь письма и я не уверен, что употребил в нем это слово и в каком контексте оно употреблено), то этим я не выдвигаю обвинения в адрес какой-то личности и не принимаю обвинений в оскорблении чести какого-то определенного лица — это моя критика сегодняшнего времени. И если я говорю о "национальном чувстве", то и этим не собираюсь прославлять свою принадлежность к немцам, а хочу разъяснить то, что разъяснил в своем письме: "Лицо ни одного народа не может быть более искажено отрицанием идеи права, чем немецкое; и то, что могут себе позволить русские и итальянцы, мы еще далеко не можем себе позволить". В этом заключается *мое* национальное чувство, подчеркнул я, и я повторяю эти слова, ибо в контексте этого письма Вы, может быть, прочтете их в другом свете, чем при первом чтении. [...]

ТЕОДОР ШТОРМ*¹⁸

[...] В самом деле — Шторму было свойственно (и даже в немалой степени) северогерманское язы-

ческое восприятие жизни, которое, наряду с художественностью его натуры, объясняет его не по-бюргерски свободное отношение к торжествующей чувственности и так же неразрывно связано с ним, как и с его любовью к родному краю. Следует помнить, что родом он из той части Германии, где христианство было усвоено относительно поздно и лишь весьма поверхностно, где религиозность выражалась лишь в соблюдении родовых установлений и в культе предков ("Ибо предки продолжали жить в роде"), — из фризской Фулы¹⁹. Край этот был наиболее удален от средиземноморской родины христианской веры и, как бы на словах и даже в собственном сознании ни мнил себя приверженцем этой веры, все же корнями верований и обычаев прочно уходил в исконно языческую почву. В детстве Шторм — как ни удивительно это звучит — почти ничего не слышал о Христовой вере у себя дома. Став взрослым, он не веровал в Иисуса; в стихотворении "Распятие" поэт выразил свое отвращение к кресту как религиозному символу, — отвращение, напоминающее слова Мефистофеля:

Отлично знаю — это предрассудок,
Но мне внушает омерзенье он... —

и когда ему было сорок шесть лет, он в совершенно недвусмысленных стихах высказал пожелание:

Священник пусть к могиле не подходит:
Я знаю, что слова развеет ветер,
А все же не хочу, чтоб предавалось
Проклятию все то, чем я дышал,
Когда во власти вечного молчанья
Я буду сам и не смогу ответить.

Казалось бы, вера в воскресение из мертвых своим вегетативным мистицизмом могла привлечь поэта, влюбленного в природу, но он упорно отвергал ее даже в такие часы, когда искушение

поддаться ей особенно неотразимо — например, после смерти жены:

И распадутся прахом очи милой,
И нет свиданья за твоей могилой.

В этом презрении к утешительной иллюзии сказывается, несомненно, и черта эпохи — пессимистическая стойкость, естественно-научный материализм девятнадцатого века. Но это — скорее на поверхности. В основе же его природы лежит то нордическое язычество, в силу которого он не может не быть немножко и антисемитом — не то чтобы по убеждению или принципиально, это противоречило бы его образованности и человечности, терпимости века и его личному опыту, — но бессознательно, инстинктивно. Характерно, что в этом смысле гольштинец Шторм не находит ни малейшего сочувствия у алеманна Готфрида Келлера*. Шторма возмутило непочтительное высказывание выдающегося египтолога и скверного писателя Георга Эберса* по поводу художественной формы новеллы, и в письме к Келлеру он мечет громы и молнии против этого человека, "вознесенного на трон чернью и его соплеменниками, евреями", а Келлер холодно отвечает: ему ничего не известно о еврейском происхождении Эберса, но, впрочем, и без евреев на свете говорится предостаточно глупостей, поскольку на каждого наглого и крикливого еврея приходится по два таких же христианина. Я привожу этот факт затем, чтобы указать на различие в психологическом складе двух культурно-географических сфер. Следует ясно представлять себе закономерность сочетания душевных свойств, нерасторжимость в душе белокурых северян местного патриотизма и антисемитизма, и это сочетание сохраняет свою устойчивость даже в исключительных случаях, когда мы встречаемся с высшей утонченностью художественной природы — как бы ни дивился этому Келлер.

Последний обнаруживал и другие удивительные черты в характере своего северного друга, например, — склонность к суеверию и веру в привидения, которая также связана с его языческим мироощущением; это казалось непостижимым для более светлого, более твердого ума южанина Келлера и давало ему повод упрекать Шторма в художественных неудачах. Так, например, он решительно не одобрял его новеллу "Рената"; следует прочесть ее, чтобы стало понятно: и история с ведьмами, и шествие крыс не могли прийти по вкусу Келлеру, а в замечательном "Всаднике на белом коне" ему еще того меньше могла понравиться двусмысленная и, с точки зрения разумного самообладания, весьма сомнительная позиция автора по отношению к мистическим элементам рассказа, к той таинственной игре в прятки среди тумана, которую Келлер считал запрещенным приемом духовного и эстетического воздействия на читателя. Чего же он хотел? Ведь это — север, это — сентиментальная уступка тем языческим народным верованиям, противоречивость которых просвещенный и ни во что не верующий сын девятнадцатого столетия видит достаточно ясно. Но послехристианское просвещение слабо защищает от суеверия человека, перешагнувшего через христианство. [...].

*(Печатается по: Т. Манн. Собр. соч.
на русск. яз., т. 10, стр. 14—36.
Перевод Е. Эткинда.)*

НЕМЕЦКАЯ РЕЧЬ. ПРИЗЫВ К РАЗУМУ²⁰

[...] Не нужно быть психологом, чтобы понять: эти внешнеполитические и внутривнутриполитические мотивы / ощущение несправедливости Версальского договора, система репараций, проблема Саарской

области, сомнения в пригодности для немцев парламентской конституции — *пер.*/ — причина страданий немецкого народа, и все это вместе с неблагоприятным экономическим положением определило сенсационное волеизъявление народа во время выборов²¹. Немецкий народ выразил свои чувства, отдав предпочтение одному пропагандируемому лозунгу, так называемому национал-социалистическому. Но национал-социализм как выразитель продиктованных чувством убеждений масс не мог бы приобрести такой власти, получить такой размах, как это оказалось сегодня, если бы ему — что не осознавало подавляющее большинство его сторонников — не была из духовных источников оказана помощь, которая, как все духовное, рожденное временем, обладает относительной истиной, законностью, логической необходимостью и окрашивает этим пользующееся сегодня популярностью движение. К экономическому упадку среднего класса присоединилось ощущение, предшествовавшее этому упадку — как результат интеллектуального пророчества и критики существующего положения: ощущение происходящего исторического поворота, который являет собой конец начатой Французской революцией буржуазной эпохи и ее идейного мира. Было провозглашено новое душевное состояние человечества, которое не должно иметь ничего общего с буржуазной эпохой и ее принципами: свободой, равноправием, образованием, оптимизмом, верой в прогресс. В художественной сфере оно нашло свое выражение в экспрессионистском крике души, в философской — в отходе от веры в разум, от механистического и одновременно идеологического мировоззрения прошедших десятилетий; это была атака иррационализма на принципы буржуазной эпохи; иррационализм ставит в центр мышления понятие жизни, он поднял на щит животворные силы бессознательного, динамического, силы, творящие смутное,

темное, он отверг дух, считая его убивающим жизнь, понимая под ним просто интеллектуальное, и в противовес ему восхваляет как истину жизни тьму души, материнско-нутряное, священно плодоносящий внутренний мир. Из этой религиозности в почитании природы, в сущности своей склонной к безудержному, к вакхической необузданности, многое воспринято национал-социализмом наших дней, который представляет собой новую ступень по сравнению с совершенно иначе уравновешенным национализмом девятнадцатого века с его ярко выраженными космополитическими и гуманистическими элементами. От национализма девятнадцатого века национал-социализм отличается именно этим вакхическим культом природы, своим радикально враждебным гуманности, опьяненным динамизмом, безудержно разнузданным характером. Но если подумать, чего стоило человечеству — мы говорим об истории религии — подняться от культа природы, от варварски рафинированной гностики и сексуально окрашенных излишеств в служении Молоху, Ваалу, Астарте²² до более духовного поклонения, то удивляешься легкости, с которой сегодня отрекаются от такого преодоления язычества и освобождения от него и одновременно приветствуют зыбкий, почти эфемерный, а по существу лишенный всякого смысла отказ от гуманизма.

Может быть, вам покажется смелым ставить в связь сегодняшний радикальный национализм с такими идеями склонной к романтизму философии, и тем не менее такая связь существует и должна быть признана тем, кому важно вникнуть в связь вещей. Находятся еще и другие силы, заинтересованные в укреплении духовной стороны политического движения, о котором мы говорим, — национал-социалистического, в том числе, некая идеология филологов, романтика германистов и нордическая вера, распространенная в академических кругах. С 1930 года к немцам обращаются с речами, в

которых мистическое простодушие сочетается с экзальтированной безвкусицей, настойчивым повторением таких выражений, как расовый, народный, союзнический, героический, что добавляет движению ингредиент выдаваемого за образованность разгулявшегося варварства: оно опаснее и более отчуждает от мира, еще страшнее затопляет и парализует мозги, чем чуждость миру и политическая романтика, которая привела нас к войне.

Итак, пополняемое такими духовными и псевдодуховными притоками движение, известное сегодня под именем национал-социализма и доказавшее свою огромную притягательную силу, сливается с мощной, захлестывающей мир волной эксцентричного варварства и примитивно-демократической ярмарочной грубости, являясь результатом диких, приводящих в замешательство и одновременно стимулирующих нервозность, опьяняющих впечатлений, которые обрушиваются на человечество. Фантастическое развитие техники с ее триумфами и катастрофами, шум и сенсация вокруг спортивных рекордов, непомерно высокая оценка и несообразно большое число завораживающих массы звезд, боксерских чемпионатов с миллионными гонорарами, которые разыгрываются перед колоссальным числом зрителей, это и подобное определяет картину времени так же, как и исчезновение укрепляющих благонравие строгих понятий, таких, как культура, дух, искусство, идея. Кажется, человечество, словно орава отпущенных школьников, убежало из гуманистически-идеалистической школы девятнадцатого века, по сравнению с моральностью которого, если вообще может идти речь о морали, наше время чудовищным образом отброшено далеко назад.

Все кажется возможным, все дозволено предпринимать против человеческой порядочности. Если и учение сводится к тому, что идея свободы превратилась в буржуазный хлам, — как будто

идея, так глубоко внутренне связанная со всем европейским пафосом, идея, из которой, можно сказать, конституировалась Европа и которой она принесла такие большие жертвы, может оказаться действительно утраченной, — то отмененная с воспитательной целью свобода появляется снова в соответствующем времени образе — как одичание, издевательство над объявленным отжившим авторитетом гуманности, как развязывание инстинктов, эмансипация жестокости, диктатуры насилия. В Польше были арестованы перед выборами руководители оппозиции, и президент государства поносит парламент словами из жаргона уличного мальчишки. В Финляндии похищают и насилуют инакомыслящих. В России думают утолить голод тех, у кого отняли продукты питания, чтобы подорвать мировой рынок демпингом, кровью расстрелянных контрреволюционеров. Тайна фашистских застенков не осталась скрытой ото всех тайной. Об островах для противников системы тоже знают, и еще лучше знают о грубом насилии, с помощью которого национализируют Южный Тироль и могут превратить сегодня Мюнхен, а завтра Берлин в итальянские города. Насилие доказывает этим только то, что оно есть насилие, и больше ничего оно доказать не может. Этого и не требуется, ибо иных соображений, кроме соображений насилия, не существует. Человечество не верит больше другим соображениям, следовательно, может "свободно" совершать необузданные подлости. Экцентричному душевному состоянию человечества, расставшегося с идеей, соответствует политика в гротескном стиле — с манерами Армии спасения, массовыми судорогами, балаганными зазывалами, аллилуйей и дервишскими монотонными повторениями лозунгов, — пока у всех не выступит пена на губах. Фанатизм становится принципом спасения, восхищение — эпилептическим экстазом, политика — массовым наркотиком Третьей империи

или пролетарского учения о конце мира, и разум отвратил свой лик от людей [...].

ВАЛЬТЕРУ Х. ПЕРЛЮ*

Мюнхен, 22.6.1932

[...] Это плохое утешение, что в интернационале национализма много славной, честной молодежи, если молодежь как раз и не понимает, что национальная идея уже пережила свое героическое время, что она себя полностью изжила в девятнадцатом веке, полностью и во всех отношениях себя осуществила и сегодня это лишь злосчастная массовая страсть, которая задерживает мир в его движении и отравляет жизнь. Гёте писал в 1798 году: "Патриотизм, как и храбрые устремления отдельной личности, пережили себя так же, как поповщина и аристократизм". Тогда надо было быть великим человеком, чтобы видеть бесперспективность национальной идеи. Сегодня для этого требуется гораздо меньше, но славная, честная молодежь этого не видит, — из чего следует, что быть славным и честным недостаточно. Она не видит также, что с "национальной идеей" связаны сегодня все силы жестокости и реакции, все враждебные духу и культуре силы прошлого. Она считает себя предназначенной для будущего, мужественной, революционной! Беспросветное заблуждение! Об этом должна была идти речь в такой статье, как Ваша.

А также об огорчении, что такой народ, как немецкий, у которого были все данные стоять во главе прогресса, во главе мира, сегодня не хочет ничего, кроме реставрации. Взгляд его направлен в прошлое, которое не может ему помочь, и становится страшно при мысли о предстоящих ему поражениях; конечно же, они будут сопровождаться отчаянием и самобичеванием.

Патриотическая реакция сегодня накануне по-

беды. Мы увидим, что она сделает из Германии — каким станет ее положение в мире и, — что для реакции главным образом или исключительно важно, — какие порядки воцарятся в результате внутри страны. Пусть набирает силу. Тогда, по крайней мере, станет ясно, где "оппозиция" и где в действительности находятся сегодня мужество и честь.

ГЕНРИХУ ФОН КАЙЗЕРЛИНГУ*

Нуда, 30.7.1932

[...] Даже на полях Ваших высказываний можно там и сям поставить знак вопроса. Не совсем убедительно утверждение, будто девятнадцатый век был совершенно противен немецкому духу и не предоставил ему никакого шанса быть самим собой; а между тем в течение десятилетий этой эпохи немецкий дух играл роль настоящего и законного гегемона в Европе, и Ренан* воскликнул: "Ничего не поможет, немцы — превосходящая других раса!". Сегодня, к сожалению, не создается такого впечатления, как ни привлекательно звучат Ваши аргументы в пользу того, что настал час, когда Германия будет играть роль мирового гегемона. Ах, это могло быть, это должно было быть! В течение четырнадцати лет Германия могла бы добиться огромного морального престижа, если бы сознательно и решительно, как ведущая миролюбивую политику социальная республика, стала во главе развития, повела бы континент в новое, лучшее время. Она не могла решиться. Страх и паника перед перспективой проявить национальное благородство были сильнее. Германия капитулировала каждый день — и сегодня мы свидетели того, как она творит самое откровенное националистическое бесчинство, пренебрегая тем, что Богу противно все устаревшее. Вы — любвеобильный

пророк. Я же больше горюю об этом значительном народе, который ведет себя ниже своего ранга и так мало осознает, что он вместе с Францией отвечает за этот материк и не только за него [...]. То, что Вы говорите о так называемом национал-социализме и против него, по моему мнению, совершенно точно. Германия, сокращенная до представления, какое имеют о ней глупцы! Какой абсурд! Какая смехотворная нелепость! Следует благодарить Вас за то, что Вы ее так характеризуете, пусть философски-неаффектированными словами, и противопоставляете детски-грубой угрозе немецкое богатство, немецкую многосторонность и универсальность. Впрочем, что ж другое представляет собой тяга к справедливому уравниванию и терпимости, которые Вы восхваляете, говоря о Германии, как не тягу к демократическому? [...]

В ИЗДАТЕЛЬСТВО ПАУЛЯ ЧЕЛНИ

Ароза, 4.3.1933

Многоуважаемые господа!

Я особенно благодарен вам за присланный мне сигнальный экземпляр "Дела Дрейфуса" Вильгельма Герцога*. Я дочитал книгу почти до конца — и потрясен; в моей немецко-буржуазной, далекой от политики юности я не испытал бы такого потрясения. Думаю, что подобные чувства испытывают миллионы немцев, которые прошли такой же путь, как и я, и они подумают, читая эту книгу: *tua res agitur*, что означает: это дело и твоего народа, твоей страны, твоей человеческой совести. Вы отмечаете, что в деле Дрейфуса автор символически отражает нынешние условия в Германии. Однако сказать такое — будет, пожалуй, преувеличением. Эта грандиозная история символична для всех времен; ее следует только рассказать — так значительно и с таким чувством, как это делает

Герцог. Некоторые фразы, нет, целые абзацы из боевых статей Золя надо лишь процитировать, и они попадут в самую точку, прозвучат поразительно актуально.

Ах, какой стыд, какая *зависть* охватывает нас, когда мы читаем эту книгу! Эти чувства были невозможны в Германии моей юности по причинам буржуазной духовности, сегодня они невозможны, потому что насилие душит слово, немецкий язык запрещен.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Лугано, 27.3.1933

[...] Неисчерпаемый, нескончаемый разговор с Фульдой* о преступном и гнусном безумии, о типах властителей-садистов, которые достигают своей цели — абсолютного господства — сумасшедше бесстыдными, не допускающими критики средствами. Две возможности их свержения: финансовая катастрофа или массивный удар из-за границы. Мечта об этом, готовность на любую жертву, на любую расплату... Нет такой цены, которую не стоило бы заплатить за крушение режима этих подлых подонков! Немцам было дано сотворить революцию, никогда ранее не виданную: без идеи, против идеи, против всего высокого, лучшего, порядочного, против свободы, истины, права. С точки зрения человеческой никогда не происходило ничего подобного — и при этом бурное ликование масс, которые верят, что действительно этого хотели, в то время, как их только хитрейшим образом обманули, в чем они не могут еще себе признаться; те же, кто стоит выше режима, в том числе и члены консервативной и национальной партий (Кардорф*), твердо знают, что все движется к страшной гибели.

Чудовищный и подлый обман с пожаром

рейхстага²³. Ван дер Люббе, якобы поджегший рейхстаг, кажется, должен быть повешен без суда. Бесстыдное надувательство, о котором знает каждый; безграничным насилием заставляют о нем молчать. К тому же колокольный звон и опьянение патриотическим подъемом. Верят, что они снова великий народ. Не было войны, не было поражения, ее последствия ликвидированы заменителем войны, который именуется революцией, и направлен, вслед за пропагандой Антанты, против собственного народа. Месть проигравшего войну. Его душевное равновесие восстановлено, в то время, как всей более благородной Германии оставлены мучения душевной бездомности. Повсюду концлагеря с "военнопленными" [...].

Лугано, 5.4.1933

[...] Что же начнется, если, скажем, консервативные вместе с рейхсвером²⁴ выступят против этого превратившегося в идола чучела, Гитлера, которому поклоняются миллионы. Свергнув его режим, Гитлера должны будут переместить на президентский пост, потому что его смещение и арест немецкому сердцу перенести невозможно.

Его люди не могут выполнить своих обещаний. Их достижения поневоле будут минимальными. Тем более им требуется завладеть вниманием масс. Празднества и флаги. Коммунизм сделал свое дело. Шум вокруг евреев затихает под возмущенные угрозы заграницы. А что тогда? Возьмут реванш покушениями; режиссура останется такой же топорно рафинированной, как и раньше: ничего не изменится от того, что стоящий выше режима это заметит, важны массы, интеллигенция вообще не играет больше никакой роли; кто говорит, того линчуют или "вешают". Проблема: какую форму протеста изберет интеллигенция, и, так как она не имеет никакой возможности влиять на события,

как удастся ей сохранить свою критику хотя бы для истории?

Лугано, 8.4.33

[...] Я получил, как и Франк*, письмо из мюнхенского клуба "Rotary"²⁵ с кратким сообщением о том, что я исключен. Этого я не ожидал. Не думал. Это потрясло, позабавило, удивило — душевное состояние людей, которые выгнали меня, "украшение" их союза, без слова сожаления, благодарности, словно это само собой разумеется. Что же это за люди? Как могло состояться решение о таком исключении? [...]. Разные мнения по поводу того, долго ли это будет продолжаться в Германии. Я не считаю, что это скоро кончится. Нет ничего, что могло бы занять место существующего сегодня, и нынешние государственные и общественные преобразования во всей их дикости, несправедливости, злобности, ненормальности не могут быть отменены. Разочарование, отрезвление, отчаянье — не доводы против них. И параллель с войной, а она напрашивается, тоже не довод. Развитие в сторону национал-большевизма, для которого, несмотря на всю дикую ненависть к коммунизму, есть много предпосылок, возможно, даже вероятно. Возможно самое разное. Но на восстание обманутого и опьяненного народа, на "гражданскую войну", которая покончит со всем этим, я не надеюсь.

Во время войны не удалось добиться осуществления немецких "идей" 1914 года²⁶, и в результате поражения Германия была "демократизирована"²⁷. "Немецкая революция" — неприкрытая война-реванш за изменение порядков в самой стране, и если даже она приносит с собой также и внешнеполитические опасности, моральную изоляцию, падение престижа в области культуры, то характер этой революции — "внутренние дела", в которые никто не имеет права вмешиваться, — обеспечивает ей гораздо более благоприятные шансы. Никто не мо-

жет заставить Германию вернуться к демократии. Спрашивается только, не смогут ли постепенно в стране с такими традициями, как Германия, ее неотъемлемо человеческие элементы одержать верх над подлым радикализмом "нового духа" [...].

20.4.33

[...] События в Германии не перестают занимать меня. Позднее я наверняка напишу об этом. Возвращение к варварству, которое в античные времена пришло извне, с примитивными народами, здесь — умышленно совершенная "революция" с помощью молодежи, которую довели до духовно низкого уровня. Истребление свойственного средним слоям гуманистического духа, которое выступает главным образом в форме антисемитизма, и сведение всего к народно-национальному, основательнее и насильственнее, чем когда-либо раньше. Бунт против еврейского я бы в известной степени понял, однако теперь у еврейского духа нет больше возможности контролировать немца, следовательно, вряд ли есть основания для понимания, и если бы немцы не были так глупы, не поставили бы людей моего типа в один ряд с евреями и заодно не вышвырнули бы их вместе с евреями [...].

Эта революция похвάζεται своей бескровностью, но при этом она более всех совершившихся ранее питаема страстью к убийству. Вся ее сущность, какой бы ни хотели ее представить, не "возвышение", радость, великодушие, любовь, которые всегда могли быть связаны с пролитием крови, большими жертвами во имя веры и будущности человечества, а ненависть, зависть, месть, подлость. Она могла быть гораздо более кровавой, и мир тем не менее восхищался бы ею, если бы она была при этом прекраснее, чище, благороднее. Мир презирает ее, в этом нет сомнения, и страна находится в изоляции. К тому же не хватает понимания не поддающихся учету моральных факторов. Счита-

ют себя умными, если верят *только* в политику силы... Это, однако, большая глупость. [...]

АЛЬБЕРТУ ЭЙНШТЕЙНУ*

Бандоль, 15.5.1933

Глубокоуважаемый господин профессор!

Все новые перемены виною тому, что лишь сегодня, с таким опозданием, благодарю Вас за Ваше доброе письмо.

Оно было самой большой честью, выпавшей мне не только за эти скверные месяцы, а, может быть, за всю мою жизнь вообще; но хвалит оно меня за поведение, которое было для меня естественно и, стало быть, вряд ли заслуживает похвалы. Не очень, правда, естественно для меня положение, в котором я оказался из-за того, что вел себя так; ведь я в сущности слишком хороший немец, чтобы мысль о длительном изгнании не была для меня весьма тяжела, и разрыв со своей страной, почти неизбежный, очень угнетает меня и страшит — а это как раз признак того, что он плохо вяжется с моей природой, для которой традиционное гётеанско-репрезентативное начало характерно настолько, что мученичество не кажется ее истинным уделом. Чтобы навязать мне эту роль, должно было, видимо, случиться что-то необыкновенно противоестественное и гнусное, и вся эта "немецкая революция", по глубочайшему моему убеждению, действительно противоестественна и гнусна. У нее нет ни одного из тех свойств, которыми настоящие революции, даже самые кровавые, завоевывали симпатию мира. Она по сути своей *не* есть "возмущение", что бы ни говорили и ни кричали ее носители, а есть ненависть, месть, подлая страсть к убийству и мещанское убожество души. Ничего хорошего из этого не выйдет, я убежден бесповоротно, ни для Германии, ни для мира, и то, что мы всячески

предостерегали от сил, принесших это моральное и духовное бедствие, нам, конечно, когда-нибудь, к нашей чести, зачтется, да, нам, которые, может быть, тут и погибнут.

Преданный Вам Томас Манн.

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 52.
Перевод С. Анта.)*

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Бандоль, 28.5.33

[...] Беседа главным образом с д-ром Леви, издателем Ницше в Англии, о Ницше, о "немецкой революции", немецкой форме большевизма, изгнании средиземноморского гуманизма, восстании мелкобуржуазной необразованности и антиобразованности, которая стала идеологией, назвав себя "народным движением"; в определенном всемирно-историческом смысле так это и есть для немцев. Тем не менее выражение "исторический поворот", который встречается в каждой речи, в каждой статье — преувеличение. По существу речь идет о ненужном и исторически малозначительном стимулировании махинаций в области культуры, в которых Ницше обвинял немцев. Перехлест в социальном плане (то, что они делают, — "марксизм"). Перехлест в моральном плане (из-за комплекса неполноценности, который был чистой ипохондрией) [...] Половинчатость и трусость этой "революции", которая выдает себя за столь радикальную. Хотя слово "варварский" почитается ораторами, все же они не хотят вести себя по-варварски, стыдятся этого позора перед миром, придают значение образованию, украшают себя академией литературы, в которой писатель, отвешивая поклоны глашатаям духовного убожества, восхваляет немецкий язык, в то время, как его коллег так избивают в тюрьме,

что женам не разрешается видеть их в течение шести недель (Мюзам*, Осецкий*, с которыми у меня мало общего, но все равно мне становится плохо, когда я слышу об их судьбе). Блоки в больницах с охранниками национал-социалистами, так как находящихся в них нельзя показывать и об их состоянии и его причинах ничего не должно быть известно. И в академии этого государства писатели произносят торжественные речи и юные пииты превозносят или оправдывают в стихах, — стихам разрешено быть и весьма плохими, — адские наказания для согрешивших против государства Бранденбург [...].

Бандоль, 30.6.33

[...] Все время думаю о моей позиции и характере выступления /на Парижской конференции в середине октября — *пер.*/. Это сложный вопрос такта и превосходства.

Так как речь идет об *esprit europeen* /европейском духе — *фр.*/, то будет обсуждаться гуманитарная проблема в ее "тотальности", значит, также и с ее политической стороны. Собственно проблема — это проблема "тотальности", единства государства и культуры, насильственного достижения такого единства с помощью "унификации". Раньше за такую тотальность выступали республики, в которых доминировала культура, так же, как гражданская власть доминировала там над военной. При фашизме или его немецко-большевистской форме наоборот [...].

ИЗ СБОРНИКА "СТРАДАЯ ГЕРМАНИЕЙ"²⁸

У меня в ушах звенит от историй об убийствах и ужасах, происходящих в Мюнхене; акты насилия носят политический характер. Разнузданные истязания евреев. Лицемерное отчаянье этого идиота

Гитлера из-за того, что его запреты не возымели действия. Нагლოსадистские планы правительства в области пропаганды: полная унификация общественного мнения, искоренение всякой критики, заявления о бесцельности всякой оппозиции. Отвратительная лихость, психологически она соответствует нынешнему времени; движение вспять, возвращение к отсталости — культурной, духовной и нравственной. Современное, динамичное, футуристское на службе вредоносной для будущего безыдейности (футуризм без будущего). Гигантская реклама того, что не может состояться. Страшно и ничтожно.

Запреты, костры из книг, гнет; тенденция отрезать нации все пути к образованию. Образование и размышления, разумеется, нежелательны; политика оглушения масс, дабы полностью овладеть ими с помощью современной техники внушения. Самый худший "большевизм", отличающийся от русского отсутствием всякой идеи.

Мошеннические выборы в рейхстаг — образец того, каким должен быть состав представительства в землях. Беззастенчиво обманутые баварцы. Поспешность и бесстыдное насилие, с которой победившие пропагандисты используют свою победу и пытаются закрепить ее навсегда, обеспечить себе поддержку со всех сторон. И они еще громко осуждали близорукую жестокость версальских победителей!²⁹ В действительности же они много у них позаимствовали; месть нельзя обратить на тех, кто за границей, — потому ее обращают на соотечественников. Со сладострастием обрушивают горечь поражения — а рана эта продолжает гноиться — на так называемого "внутреннего врага" — евреев, республиканцев, социалистов. "Внутренний Версаль" — отвратительная копия внешнего.

[...] Центр, негодуют они, четырнадцать лет "стоял на стреме" у коммунистов. С удовольствием

пользуются жаргоном уголовников. Нигде в мире и никогда в истории не занимались более идиотской демагогией. Есть что-то дьявольское в том, чтобы, не стесняясь самой нелепой глупости, попирать ногами все более разумное, всякую честную истину.

[...] Действуйте, ибо вы можете действовать! Каждый негодяй срывает сегодня свою злость на идее демократии. Сегодня слабость демократического принципа проявляется в "невмешательстве" в так называемые внутренние дела другого народа. Европейский пафос Гёте, который говорил, что благоденствие и несчастья чужого народа следует ощущать как благоденствие и несчастья своего собственного, в глубине и тишине разделяется сегодня всеми вопреки разгулу национализма и истеричным разглагольствованиям о независимости. Европа едина, а это значит, что не может быть, чтобы в одном месте готовилось зло и творилось разнузданное бесчинство, а в другом не обеспокоились бы этим и не посчитали необходимым "вмешаться". Европа несет за это полную ответственность, это нравственно и практически осуществимо. Если извне помогают народу избавиться от преступной клики так называемых вождей, которые вознамерились ввергнуть в хаос крови и слез свой народ и вместе с ним весь мир, то вмешательство отнюдь не противоречит демократическому принципу. Вмешательство? Я понимаю опасения тех, кто предостерегает от давления ультиматумов, — они могут ущемить национальное самосознание Германии и только теснее связать народ с правительством; но, поверьте мне, этого бояться не следует. Существуют еще иллюзии касательно личности "фюрера", питаемые и поддерживаемые легендой о его "целомудренной" частной жизни, его воздержании от общения с женщинами, от вина, мяса и табака, аскетизме, который еще более отвратителен, чем всякие излишества [...] повторяю, в стране еще существуют иллюзии касательно этого

человека; пытаются создать впечатление, будто существует разница между ним, хорошим, и его бандой, хотя и верить, что он "желает самого лучшего" и не стал бы терпеть многого, "если бы знал". Зablуждение, ибо он знает все и самое грязное тоже, и виноват во всем. Есть несколько сотен, пусть несколько тысяч интеллектуалов, профессоров, писателей, литераторов "крови и почвы"³⁰ (об извлекающих непосредственную выгоду от системы, о приспособленцах и попутчиках из оппортунизма я здесь не говорю), верноподданных из своих убеждений, кому были близки эти идеи еще раньше, кто духовно подготовил почву для этой системы, и такие, кого опьянил успех, — германисты, поклонники нордического и филологи, пропагандисты исконно народного, древнейшего, изначального, которые умудрились спутать свою благочестивую ученую мечту о вечно-германском с самой низкой пародией и искажением немецкого духа. Есть молодежь, которая верит в "движение", она находит в нем импонирующий ей стиль жизни: упоение коллективизмом; вместе жить, маршировать, закаляться и умирать — за что-то. С таким же успехом эта молодежь могла стать коммунистической, в большинстве своем она случайно оказалась в коричневых рубашках; ее вождем был скорее ландскнехт Рём*, чем коварный комбинатор от политики и предатель, его убивший, чтобы избавиться от вознесших его, Гитлера, сил. Они в растерянности, эти обманутые, лишь отчасти их можно причислить к сторонникам олицетворяемой Гитлером—Герингом—Геббельсом системы. Отдавая себе отчет во всем этом, проникаешься уверенностью, что три четверти, нет, семь восьмых народа, вернее, весь народ сегодня в глубине души страшится своих вождей и того положения, к которому они его привели. Воцарение режима вызвало скорее оупение, фатализм, безнадежность; этими настроениями режим держится, именно они дают

ему возможность сохраниться, а не вера и воодушевление. Господствующее состояние — приниженность, полное мрачных предчувствий ожидание, окрашенное пессимизмом любопытство. Если это кончится, люди, освободившись от кошмара, вздохнут с облегчением и вряд ли следует ожидать возмущения или даже просто удивления, когда придет помощь извне. [...]

Возвращение к варварству, которое в античные времена пришло извне, с примитивными народами, здесь насаждается умышленно под названием "революция" с помощью доведенной до самого низкого духовного уровня молодежи. Истребление средиземноморского гуманистического духа, принявшее главным образом форму антисемитизма, и сведение к народно-национальному — основательнее и насильственнее, чем раньше. Еврейский дух более не контролирует немецкий — и это будет иметь роковые последствия. Ненависть людей примитивных к нюансам, которые воспринимаются как антинациональные и вызывают раздражение.

Рассказ Вассермана* о Планке*, который ездил к Гитлеру в связи с антисемитскими увольнениями университетских профессоров и вынужден был три четверти часа выслушивать его речи. Планк вернулся совершенно подавленный. Умствования Гитлера напоминают по уровню рассуждения старой крестьянки о математике, — навязчивые идеи получетвертьобразованного. Ничего подобного знаменитый исследователь за всю свою жизнь не слышал. Два мира пришли в соприкосновение, потому что один с помощью демагогии пришел к власти. Знания, ученость, дисциплинированное мышление вынуждены выслушивать высокопарные разглагольствования невежды и, удаляясь, отвешивать поклоны. [...]

"Гигантская" церемония принесения присяги "вождями" (их миллион!) на безоговорочную верность Гитлеру. "Фелькишер Беобахтер"³¹ называет это

”событием исторического масштаба”. До каких пор народ будет выносить закармливание попезной подделкой под исторические события? Дешевое героическое клише для массового употребления. Псевдореволюционная лихость — от человеческой и духовной неполноценности, которая *не может* создать ничего дружественного человечеству, ничего, что бы способствовало его продвижению по пути прогресса. Как это возможно, что думающие, чувствующие, видящие люди более или менее высокого духовного уровня принимают всерьез эти ”идеи”, ”мировоззрение”, болтовню истеричных шарлатанов о нации, расе, горячечный бред дураков и подлецов *dégénérés inférieurs* /выродков самого низкого пошиба — *фр.*/, революционных типов самого плохого сорта, сбжавшихся со всех сторон — они всегда оказываются тут как тут в подобных случаях. Но эти — особый сорт подлецов — помесь возбужденного обывателя и *войны*, ибо это движение живет войной как продолжением проигранной войны. Его жаргон, ”воля к победе” — без смысла и цели. Фанатики насилия, опасного образа мыслей и порабощения.

[...] Низкопробная сказочка: ведущий педагогический журнал национал-социалистического направления сравнивает Германию со спящей красавицей. Германия — ”спящая душа народа”, а Гитлер — принц, который, преодолев шипы, разбудил ее поцелуем. Бррр.

ГЕРМАНУ ГЕССЕ*

Санори-сюр-Мер, 31.7.1933

Дорогой господин Гессе, Вы так мило и прекрасно мне написали! Это была для меня радость, и я благодарю Вас от души. Я тоже много думаю о Вас, о Вашей кроткой жене, о Вашем прекрасном доме, его окрестностях и проведенных с Вами

благотворных часах. Я тогда изрядно страдал, но могу сказать, что стал спокойнее и бодрее и занимаюсь своей работой, как прежде. Моя борьба уже позади³². Бывают, правда, еще моменты, когда я спрашиваю себя: почему, собственно? Живут же в Германии и другие, Гауптман*, например, Хух*, Каросса*. Но искушение быстро проходит. Ничего не вышло бы, я бы окончательно опустился и задохнулся. Это невозможно и по простым человеческим причинам, из-за моих родных. Мне придется все это высказать однажды публично, когда настанет час, т.е. когда меня официально призовут вернуться. Известия из Германии, ложь, насилие, пошлая игра в великую "историю", связанная с такой мерой подлой жестокости, снова и снова внушают мне ужас, презрение и отвращение. "Голубоглазый энтузиазм", о котором Вы пишете, тоже уже не трогает меня больше. Я считаю, что такая степень глупости уже не дозволена. Страшная гражданская война кажется мне неизбежной, и "я не желаю", как говорит наш Маттиас Клаудиус*, "виновным быть" во всем, что произошло, происходит и произойдет.

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 53.
Перевод С. Анта.)*

ИЗ ДНЕВНИКОВ

8.9.1933

[...] Они / Наполеон и Бисмарк — *ред.* / поощряли и награждали от имени государства то в духовной жизни, что казалось им полезным, и насильственно подавляли то, что было направлено против них. Но никогда не предписывали нации наставительно, с трибуны теорию в области культуры, программу ее развития, хотя их духовные качества могли дать им несравненно большую для этого возможность,

чем духовный потенциал этого убогого типа³³. Правда, они еще не знали, что такое "тоталитарное государство", которое не только является основой власти, но подчиняет себе все, в том числе и культуру, и прежде всего ее, командует ею, знает, какой она должна быть; диктаторски беря себе исключительное право руководства ею и не допуская противоречий, сокращает ее до своих понятий, понятий, приобретенных самоучкой в результате несистематического, с чудовищными пробелами чтения. Тоталитарное государство — также и государство Платона, в котором правит *один* философ, вознесенный к власти вихрем времени, его нездоровым хаосом, ремесленник, путающий свою истерию с художественным творчеством, свою беспомощную возбужденность с мыслительным процессом и без угрызений совести и сомнений навязывающий народу с таким духовным прошлым, как немецкий, свои дилетантские мнения. Национал-социализм — философия. Когда вспоминаешь, с каким скромным почтением профсоюзный деятель Эберт* подходил к вопросам культуры, то понимаешь, сколь устрашающим путем пошла с тех пор демократия. [...]

24.11.33

[...] Сообщения вчерашних и сегодняшних газет под кричащими заголовками о том, что Ван дер Люббе начал говорить: его протесты против затягивания и "символизма" процесса и высказывания о "привходящих обстоятельствах", которые ему неясны. Предположение Димитрова, против которого протестовал адвокат, что Л., не сознавая того, был использован врагами коммунизма в качестве орудия, конечно, убедительно. Кроме того, мне кажется, что в конце концов само авторство /поджог рейхстага — *пер.*/ может быть приписано и тем и другим, ибо граница между ними в духов-

ном и личностном отношении столь же размыта и нечетка, как граница между национал-социализмом и коммунизмом вообще. Я склонен усматривать подспудный смысл процесса в выявлении близости, родства, даже идентичности национал-социализма и коммунизма. Его "результатом" будет доведение *ad absurdum* ненависти и идиотской страсти к уничтожению друг друга; по существу же этого вовсе не требуется, они лишь различные, как различаются между собой братья, — формы одного исторического явления, одного и того же политического мира, и разница здесь еще меньше, чем между капитализмом и марксизмом. Символические акции, такие, как поджог рейхстага, мы ощущаем, хотя это невозможно увидеть, как их общее дело.

А. М. ФРЕЮ*

Кюснахт-Цюрих, 30.12.1933

Дорогой господин Фрей,

хотя бы до конца года хочу и должен поблагодарить Вас за Ваше дружеское письмо от 16 и за отрадные слова, которые Вы сверх того сказали мне об историях Иакова [...]. Еще раз, добрая оценка романа была для меня большой радостью. Она необходима и внутренне; ведь как ни осчастливлен я участием людей именно творческих, Верфеля*, например, Шикеле* или моего брата, критическое эхо отечественной печати было по преимуществу настолько жалким, настолько в своей тупости наглым, что в глубине души я не раз испытывал обиду и отвращение. Ну и мерзко же там, внутри, радуйтесь, что Вы за границей. Почти каждое высказывание, попадающееся на глаза, внушает мне ужас перед — уже неосознаваемой — порабощенностью и выхолощенностью душ.

1.1.1934

[...] Хотите ли Вы остаться в Италии? Это не свидетельствовало бы о благоприятном развитии событий в Австрии. Но неужели мир действительно примирится с аннексией? Впрочем, слабости и растерянности сколько угодно, и я боюсь, что эта банда хочет "легальным", "демократическим" путем, без войны, стало быть, прикарманить Европу.

Нынешний пропагандистский пацифизм, духовно совершенно бесчестный, — это фактически не что иное, как точное подобие принципа легальности, с помощью которого была захвачена внутриполитическая власть³⁴ [...].

(Печатается по: Т. Манн. Письма. М., "Наука", 1975, стр. 54. Перевод С. Анта.)

КАРЛУ КЕРЕНЬИ*

Кюснахт-Ц/юри/х, 20.11.34

Глубокоуважаемый господин профессор, для меня снова было особенной радостью и животельной поддержкой получить Ваше прекрасное письмо и вдобавок обе замечательные статьи. Теперь, познакомившись с этими маленькими образцами Вашей историко-религиозно-мифологической интуиции, я собираюсь при первой возможности изучить Ваш большой труд о греко-восточной романной литературе. Вопрос еще, сумею ли я воспринять его надлежащим образом. Наверное, он, к стыду моему, даст мне почувствовать, сколь еще узки границы моих положительных знаний в этой прекрасной и глубокой области. Но в наличие некоторых внутренних предпосылок к их расширению позволяют мне поверить Ваши слова, что "Волшебная гора" и истории Иакова для Вас кое-что значили, имели некое подтверждающее значение для такого исследователя, как Вы. Одновремен-

но они служат мне доказательством того, — или напоминанием о том, — как широко уже в "Волшебную гору", занимавшую всех исключительно тематикой переднего плана, вторгаются те интересы и мотивы, которые затем в романе об Иосифе становятся явным предметом повествования: другими словами — как точно "санаторный роман" образует промежуточное звено между юношескими реалистическими "Будденброками" и демонстративно мифологическим произведением моего почти шестидесятилетнего возраста.

Действительно, в моем случае постепенно возрастающий интерес к мифу, к истории религии — это "явление возрастное", он соответствует вкусу, который с годами поворачивается от материи индивидуально-бытовой к типическому, всеобщему, всечеловеческому. [...]

Есть в современной европейской литературе какая-то злость на развитие человеческого мозга, которая всегда казалась мне ничем иным, как снобистской и пошлой формой самоотрицания.

Да, позвольте мне признаться, что я не поклонник движения, представляемого в Германии, например, Клагесом*, движения антидуховного и антиинтеллектуального. Я давно его опасался и с ним боролся, потому что разглядел все его жестоко-антигуманные последствия задолго до того, как они проявились. [...] То "возвращение европейского духа к высшим, мифическим реальностям", о котором Вы так убедительно говорите, дело с точки зрения истории духа действительно великое и доброе, и я вправе гордиться, что своим творчеством в какой-то мере участвовал в нем. Но Вы, я полагаю, согласитесь со мной, если я скажу, что с *модой* "на иррациональное" часто бывает связана готовность принести в жертву и по-мошеннически отшвырнуть достижения и принципы, которые делают не только европейца европейцем, но и человека человеком. Тут дело идет о куда менее

благородном по-человечески "возврате к природе", чем тот, что подготовила французская революция... Довольно! Вы понимаете меня с первого слова. Я человек равновесия. Я инстинктивно склоняюсь влево, когда лодка дает крен вправо, — и наоборот [...].

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 60—62.
Перевод С. Анта.)*

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Ароза, 11.3.34

Дорогой господин Гессе,

[...] Почему Вы прислали мне эти мюнхенские и лейпцигские мерзости³⁵? Только робко заглянул в них и увидел эпиграф, где это неаппетитное чучело Гитлер прочувствованно и панибратски сравнивает себя с Вагнером. Этим я уже был сыт по горло.

Но прекрасной, веселой земли Баварской мне, правда, жаль, и я завидую Вашей ничем не связанной свободе передвижения и повсеместного проживания. И здесь некоторые доброжелательные люди советуют мне вернуться в Германию, говоря, что мое место там, что эмиграция не для меня, что правителям было бы даже приятно, если бы я вернулся и т.д. Все так, но как там жить и дышать? Не могу этого себе представить. Я зачах бы в этой атмосфере лжи, шумихи, самовосхваления и утаенных преступлений. Немецкая история всегда шла волнообразно, высокими горами и глубокими низинами. Ныне достигнута одна из самых глубоких депрессий, может быть, самая глубокая; что ее принимают за "подъем", это невыносимей всего [...].

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 62.
Перевод С. Анта.)*

РЕНЕ ШИКЕЛЕ

Кюснахт-Цюрих, 2.4.1934

Дорогой Рене Шикеле!

В это прекрасное пасхальное утро (это самая, кажется, лазурная пасха на моей памяти) мне хочется опять послать Вам привет и осведомиться о Вашем и Вашей семье житье в новом доме, где Вы, надеюсь, хорошо себя чувствуете и который удобен для Вашей работы. [...]. Моя позиция, мои планы и решения нетверды и противоречивы. Как только я поднимаю глаза от своего причудливого эпоса³⁶, где продвинулся от первой беседы между Иосифом и Потифаром в финиковом саду последнего, я начинаю думать о некоем очень личном и беспощадном разговоре, в форме книги, по поводу немецких дел, разговоре, за который мне когда-нибудь да придется приняться и который будет, конечно, означать полный разрыв с Германией до конца нынешнего режима, то есть, вероятно, до конца моих дней. Или Вы верите, что я или Вы доживем до его краха? Недовольство велико, ропщут повсю и довольно открыто, экономическое положение скверное (хотя иные отрасли промышленности процветают), есть опасность падения марки и появления суррогатных товаров, не будет недостатка и во внешнеполитических неудачах и т.д. Но немецкий народ терпелив, и так как свободы он не любит, воспринимая ее как беспорядок, отчего она в известной мере и правда приводит к беспорядку, то, несмотря на тяжелые разочарования, он будет при новом, грубодисциплинарном строе чувствовать себя все-таки лучше и спокойнее, все-таки "счастливее", чем при республике. Добавить нужно неограниченные средства обмана, оглушения и оглупления, которыми располагает этот режим. Интеллектуальный и нравственный уровень давно уже пал так низко, что задора, необходимого для настоящего

возмущения, ждать просто не от кого. И находясь в этом состоянии деградации, они преисполнены торжественного сознания, что представляют собой новый мир, — а нов-то их новый мир именно деградацией. Мы в нем чужие, и нам в конце концов придется смириться. Я лично начал смотреть на себя исторически, как на пережиток другой эпохи культуры, эпохи, которую я индивидуально довожу до конца, хотя по сути она уже мертва и забыта. Эдуард Корроди* из "Нейе Цурхер Цейтунг" не бог весть какой критик, но, когда он в своей рецензии на "Иосифа" назвал его "последней песней немецкой воспитательной поэзии", меня это действительно взволновало. Фердинанд Лион, с которым я тут часто мило беседую, применяет к этой книге более торжественное определение. Он называет ее "Les adieux de L'Europe" / "Прощание с Европой" — *фр.*/. Этот грустный, но почетный титул мне нравится, и я думаю, по крайней мере в пессимистические часы, что все, что мы сегодня делаем, заслуживает такого названия. План Вашего журнала и его заголовок "Защита Запада" показывают мне, что у Вас более боевое настроение. Я отсоветовал бы Вам браться за это дело, но в глубине души я хочу, чтобы Вы осуществили свой план. Нет ничего прекраснее, чем почетные арьергардные бои, а кроме того, мы, может быть, сами не знаем, как мы еще сильны. [...]

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 64.
Перевод С. Анта.)*

ИЗ ДНЕВНИКОВ

11.4.34

[...] Сообщения в газетах о немецкой политике по отношению к рабочим и о большевистских тече-

ниях среди рабочих, которым идут навстречу пока не практически, а утешая их идеологическими символами. Миллионы медалей к 1 мая, на которых изображены Гёте, имперский орел и московская эмблема *серп и молот*. Все мошеннические трюки фашизма нашли свое выражение в этой мешанине символов.

5.8.34

[...] Все национал-социалистическое "движение", включая его зачинателя, не что иное, как барахтанье обывательской немецкой души в мифологической жиже. Весь фальшивый и обезобразивший время характер "возвращения к мифу" этого балагана — настоящая пища для их ненависти к истине, их тяготения к чаду и угару.

28.8.34

[...] Французское королевство просуществовало около полутысячи лет. Кто думал, что Германии кайзера с 1870 г. будет суждено только сорок лет? А эти дураки болтают о тысяче, тридцати тысячах лет. Если они провластвуют тридцать — для Германии это было бы слишком долго [...].

2.9.34

[...] Национал-социализм — явление, которое совершенно выпадает из того, что мы называем европейским и цивилизованным, он не только противоположен "либерализму" и "западной демократии", но вообще цивилизации в том смысле, в каком и упадок немецкой культуры не может ее игнорировать [...] иногда мне становится стыдно, что я занимаюсь пустяками и уклоняюсь от долга сказать миру то, что следует ему сказать [...].

КАРЛУ КЕРЕНЬИ

Кюснахт-Цюрих, 4.8.1934

[...] Не знаю, как Вы, ученый, относитесь к злобе дня, к политическим событиям, к так называемой мировой истории, но полагаю, что Вы умеете держаться свободнее от них, чем то удастся мне, — к стыду моему, должен был бы я, пожалуй, добавить, если бы меня не извиняло то, что ареной этих событий является ныне моя родина, от которой я отрезан, и что, следовательно, мое отношение к ним поневоле гораздо непосредственнее и, как говорил Гёте, "патологичнее", чем Ваше. Несмотря на горе, которое непрестанно причиняет мне судьба моей страны — эта судьба, грозящая стать судьбой и всей нашей части света, — я с переменным успехом, но честно пытался в течение всех этих полутора лет по-прежнему выполнять личные свои задачи. Но трудно передать, как потрясли меня зверства 30 июня, австрийские ужасы³⁷ и затем государственный переворот этого субъекта, дальнейшее его возвышение, несомненно означающее новое укрепление его уже дрогнувшего было режима, как все это волнует меня и отдаляет от того, что я, будь мое сердце тверже и холоднее, считал бы, пожалуй, единственно важным для меня и мне подобающим. Какое мне дело до "мировой истории", мог бы я, казалось бы, думать, покуда она позволяет мне жить и работать? Но так думать я не могу. Моя морально-критическая совесть находится в постоянном возбуждении, и мне становится все невозможнее заниматься и дальше пусть и возвышенной игрой своей работы над романом, пока я не "дам отчета" и письменно не изолью сердца, не поделюсь его тревогой, знанием, мучительным опытом, а также ненавистью и презрением.

И вот, как во времена "Размышлений аполитичного", я, пожалуй, перейду от повествования

к такому исповедальному предприятию, а завершение моего третьего тома отложится на более отдаленное будущее. Пускай. Человек и писатель может делать только то, что его допекает; и что кризис мира становится кризисом и моей работы и жизни, это в порядке вещей, и мне следует видеть в этом знак того, что я жив. Настало, кажется, время высказаться, как я предполагаю, и скоро может прийти момент, когда я буду раскаиваться в том, что продлил свое выжидательное молчание сверх отпущенного на то срока.

Вот что хотелось мне сказать Вам, чтобы Вы были в курсе дела. Еще раз спасибо за Вашу работу. Какие опять новые и неожиданные связи! Про себя можете быть уверены, я буду держаться за этот общий у нас мир интересов.

Преданный Вам
Томас Манн

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 69—70.
Перевод С. Анта.)*

ЭРНСТУ БЕРТРАМУ*

Кюснахт близ Цюриха, 9.11.1934

[...] Нет, я смотрю на новую Германию (если ее можно назвать новой), на те силы, под гнетом и угрозой которых мы живем более десяти лет и которые сейчас просто-напросто дорвались до полного самовластия, не через какую-то призму, а так, как я привык смотреть на вещи, — непосредственно своими глазами. Мне известны ее мысли и дела, стиль ее писаний, ее во всех смыслах неверный немецкий язык, ее нравственный и духовный уровень, демонстрируемый с поразительной откровенностью [...].

ИЗ ДНЕВНИКОВ

19.1.35

[...] Шламм* в "Эйропеише Хефте" прав, когда пишет по поводу Саарского плебисцита³⁸, что кончилась эпоха веры в массы, которыми можно разумно и в их интересах руководить, поднимать их. От этой веры ничего не осталось. Но не означает ли это действительно конец марксизма? Не умирает ли он постепенно и везде от недостатка веры в себя? Возможен ли еще социализм в том смысле, какой он имел в девятнадцатом веке, в век танков и радио, в век заgrimированной под идеалистическую шумной массовой пропаганды. Наступает время масс, которое одновременно время презрения к массам и человеку [...].

1.2.35

[...] Экономические меры против евреев: шестиконечные звезды на еврейских магазинах, членам партии запрещено покупать у евреев. Но бойкот и "отдельные акции" не разрешены. Самое очевидное доказательство их гнусной лживости.

"Государственная молодежь", обязательная принадлежность к ней каждого от десяти до восемнадцати лет. Это действительно будет молодежь, принадлежащая государству.

Стихотворение одного члена "гитлеровской молодежи", отправленное в английские газеты:

"Мы — веселая молодежь Гитлера, / нам не нужны христианские добродетели, ибо наш фюрер Адольф Гитлер. / Он наш спаситель, наш искупитель. / Никакой злой поп не может помешать нам / чувствовать себя детьми Гитлера. / Мы идем не за Христом, / а за Хорстом Весселем³⁹, / долой ладан и кадильницу! / С песнями маршируем мы под знаменами Гитлера; / только тогда будем мы достойны наших предков. / Я не христианин и не католик, / я пройду с СА сквозь огонь и воду. /

Церковь мне не нужна! / Свастика принесла мне счастье. / Пусть будет она моей путеводной звездой! / Бальдур фон Ширах*, возьми меня с собой!"

Может быть, он взял его с собой.

16.3.35

[...] Когда Юнг* заявляет, что только "бездушный рационализм" не замечает того факта, что невроз — тоже нечто позитивное, драгоценная часть души и что больной должен учиться не как от него избавиться, а как с ним жить, — то он прав. Ибо болезнь — он сам... "Избавиться от невроза значит то же, что потерять себя...". Не стоит ему отвечать: хорош тот врач, который не хочет лечить туберкулез, потому что это "драгоценность"! Презрение к "бездушному рационализму" означает решительное наступление на рационализм в то время, как давно настал момент на всех парах двигаться в противоположном направлении. То, что думает и что говорит Юнг, служит восхвалению всего нацистского и его "невроза". Юнг — пример того, как на высоком уровне приспособливают в силу обстоятельств свои взгляды к сегодняшнему времени. Он не "одиночка", не принадлежит к тем, кто остался верен вечным законам разума и нравственности и поэтому стал бунтарем против своего времени. Он плывет по течению. Он умен, но недостойн уважения. Кто сегодня находит еще удовольствие в рассуждениях о "душе", человек отсталый, духовно и морально.

19.4.35

[...] Уже несколько дней меня не оставляет мысль о новом политическом выступлении — послании или меморандуме к немецкому народу, в котором я хотел бы разъяснить, какие чувства питает к нему мир и предостеречь его, дружелюбно и правдиво, от судьбы *inimicus generis humani* / врага рода че-

ловческого — *лат.*/. Речь идет о политическом спасении души, правильную и подобающую форму которого, а также подходящую возможность и ситуацию я постоянно ищу.

ГАРРИ СЛОЧАУЭРУ*

Кюснахт-Цюрих, 1.9.35

Глубокоуважаемый господин Слочауэр!

Мне совестно, что Ваша рукопись так долго лежала у меня, и я прошу Вас не судить меня слишком строго. [...]. Большую главу из "Three Ways of Modern Man"⁴⁰ я изучил с понятным интересом. На основании своих впечатлений я убежден в том, что весь этот труд представит собой интереснейший анализ положения современного человека, и я горд тем, что Вы могли воспользоваться моим творчеством, чтобы точнее определить это положение. Автор, конечно, не может не быть взволнован, когда его вот так включают в критику эпохи и ее развития, а знание и понимание, с каким Вы это делаете, доставило мне настоящую радость.

Но один элемент Вашей характеристики моего творчества меня удивил и, признаюсь, огорчил. Это создаваемое Вами представление о некоей либеральной нерешительности и нерешимости моего ума. Я имею в виду, Вы понимаете, особенно последние страницы лежащей передо мной рукописи, где эта концепция выступает резче всего. Мне приписывается тут либерализм, неспособный устоять перед иррациональным и антидуховным, и несколько искажаются мои высказывания, взятые из "Фрагментов к проблеме гуманизма — Гёте и Толстой". Мне никогда не приходило в голову, что ироническую оговорку, о которой я там пишу, что антипатию можно истолковать как либеральную вялость и слабость. Моя мысль служит здесь самой идее гуманизма, как я его понимаю, идее,

что естество человека охватывает одновременно и природу, и дух и получает полное выражение лишь в том и другом сразу. Я представляю идею равновесия, и она-то и определяет мое, я сказал бы, позиционно-тактическое отношение к проблемам времени. Уже лет десять я держался в своих эссе и культурно-критических работах подчеркнуто рационалистической и идеалистической позиции, но к позиции этой я пришел лишь под давлением иррационализма и политического антигуманизма, распространившегося в Европе, особенно в Германии, и издававшегося над всяким гуманным равновесием. [...].

Но характерно, что рационально-идеалистическая гуманность проявляется почти исключительно в критической эссеистике, в полемике, а не в моем поэтическом творчестве, где моя изначальная природа, требующая равновесия в гуманности, находит гораздо более чистое выражение.

Я почти единственный из немецких писателей всеми силами боролся против того, что надвигалось и теперь добилось абсолютного господства в Германии, и нынешнее мое изгнание, изгнание полудобровольное-полувынужденное, есть именно следствие этой борьбы. Я пожертвовал двумя третями своего земного имущества, чтобы жить на свободе вне германских границ, и этим отмежеванием, даже не пускаясь в яростную полемику с Третьей империей, я непрестанно выступаю против того, что происходит сегодня в Германии и с Германией. Мне важно сохранить контакт со своими германскими читателями, которые сейчас по своей природе и по своему воспитанию находятся в оппозиции и могут когда-нибудь положить начало движению против царящей ныне системы, а этот контакт сразу бы прекратился, то есть мои книги, которые пока еще можно читать, были бы сразу запрещены, объяви я войну в более ясной форме, чем то все-таки случилось во многих моих

высказываниях последних лет. Сделать из этой сознательной сдержанности, из этого умышленного самообуздания вывод, будто у меня нет нравственных сил назвать мерзкое мерзким и с презрением отвергнуть презренное, значит нанести мне своей критикой обиду, которая, исходя от такого вообще-то симпатизирующего мне человека, как Вы, меня, повторяю, огорчила.

Я должен был это высказать и высказываю в надежде, что, может быть, Вы все-таки решитесь как-то отретушировать свою книгу в этом отношении. Это пошло бы только на пользу правде, ибо я вовсе не требую снисходительности к моим действительным слабостям.

Еще раз, я с искренней радостью жду всего Вашего труда и от души желаю Вам счастливо его завершить. С горячим приветом и в надежде еще раз встретиться с Вами.

Преданный Вам
Томас Манн

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 75.
Перевод С. Анта.)*

ИЗ ДНЕВНИКОВ

15.10.35

[...] его /Кольмерса* — пер./ рассказы об ужасном гнете, под которым живут евреи в Германии. Самоубийства, апоплексические удары — но об этом молчат. Методическое удушение и уничтожение, скрываемое от заграницы. Когда же Лига Наций возьмется за это противоречащее всем нормам преступление? Но даже параграф 16 не может быть применен, потому что его формулировка предусматривает случай, когда "начинают войну". Эти совершаемые в тишине тихие подлости более отвратительны, чем, может быть, вызванное обстояте-

льствами военное выступление Муссолини⁴¹. Однако вмешательство во "внутренние дела" суверенного государства не допускается. Та же нелепость, что и в уголовных кодексах, которые определяют высшие меры наказания за убийство, а убиение души, все низменные и утонченные виды преступления против человека не наказуемы, не учтены ни в одном параграфе.

ВНИМАНИЕ, ЕВРОПА!⁴²

Лояльность требует предпослать этим строкам напоминание, что их автору больше шестидесяти. Когда человеку седьмой десяток, недовольство временем, в котором ему суждено жить, в известной степени обесценивает его мнение о "новом", о состоянии мира. Тем не менее я не встречу возражений, если скажу, что не обязательно дожить до шестидесяти, чтобы считать нынешнее состояние Европы ужасным. Такого же мнения и более молодые, возможно, каждый, кто вообще в состоянии критически оценить время и свое окружение, а не радоваться вместе с другими. Кому дана эта, правда, с точки зрения эвдемонизма⁴³ сомнительная способность, тот не только вправе, но и обязан воспользоваться ею, пока живет на свете: сама жизнь, а она не является случайностью, требует этого, и от этого долга нас освобождает только смерть. Ведь нельзя себе представить, что человек, ушедший из жизни, будет оценивать события, происшедшие после его смерти. Такой эксперимент, как он ни соблазнителен, провести невозможно, да и ни к чему. Невозможно, чтобы человек, которого унесло время, высказывал свое отношение к нынешней действительности — невозможно не только физически, но и духовно.

На этой отрешенности от времени основано благородство мертвых, которое один писатель вы-

сказал в словах: "Мертвый нищий благороднее живого короля". Но и у жизни есть свое благородство, ибо это власть избирающая, и сам факт, что она держит нас во времени, в мире развития, означает биологическое полномочие и естественное призвание к тому, чтобы сказать свое слово в мирских делах. Мы компетентны судить то время, в которое живем; и отговариваться тем, что мы, мол, "больше не понимаем мир", так же бессмысленно, как добровольное отречение от престола.

Так, зоркие и озабоченные судьбами мира люди никогда не боялись высказывать резкие суждения о более молодых современниках только потому, что сами стары. Эти оценки могут быть тем не менее верными. Признание постаревшего Гёте в том, что он любит молодежь, и самого себя, молодого, тоже любил гораздо больше, чем сейчас, мы встречаем среди высказываний, в которых он не скрывает своего недовольства новым поколением, своего неверия в него. "Когда видишь, — пишет он в 1812 году, — как вообще мир и в особенности молодежь не только предаются лишь своим удовольствиям и страстям, но и как одновременно более высокое и лучшее в людях отступает перед нешуточными глупостями времени и искажается так, что все, что должно вести к блаженству, становится для них проклятием, не говоря уже о страшном нажиме извне, то не удивляешься злодеяниям, которые человек в неистовстве своем совершает против самого себя и других". Мы все это знаем: искажение более высокого и лучшего в молодых людях, несказанный нажим извне, а также злодеяния. Старческая робость не должна мешать нам назвать вещи своими именами.

Тот шестидесятилетний сказал по другому случаю: "Молодежь больше не слушает. Чтобы слушать, очевидно, нужна особая образованность". Образованность! Презрительный смех целого поколения раздается в ответ на эти слова. Это, само

собой разумеется, любимое словцо либерального бюргерства, словно образованность в действительности не что иное, как именно это: либерализм и бюргерский дух. Как будто бы это не есть противоположность грубости и человеческому убожеству и к тому же лени, ничтожной, жалкой вялости, которая остается жалкой вялостью, какой бы молодцеватой она ни тщилась выглядеть, — одним словом: как будто образованность как форма, как желание свободы и истины, как жизнь, которой живут по совести, как нескончаемое усилие не является само по себе нравственным воспитанием!

Я люблю написанное в старости стихотворение Гёте, начинающееся словами:

Где же тот, кто, мучась, тащит
Время, что несли мы прежде?

Да, где тот, кто мучится? Дети молодого мира утверждают, что им труднее, чем было когда-либо нам, ибо их удел — неожиданности, нужда, абсолютная неуверенность, в то время, как мы имели возможность пользоваться благами экономически надежного буржуазного века. Но они переоценивают значение внешних условий, к изменению которых — переходу от сытого спокойствия к убогому героическому, мы, сыны прежнего времени, должны были привыкать на старости лет. Главное — они ничего не знают об "образованности" в высшем и более глубоком смысле, о работе над собой, о личной ответственности и усилиях и вместо этого вполне комфортно чувствуют себя в коллективном. Коллективное — это удобная сфера по сравнению с индивидуальным, удобная до беспутства, коллективистское поколение разрешает себе и одобряет — постоянную свободу от "я". Восторг — вот чего оно хочет, что любит. Однако, назвав это слово, высокое и святое содержание которого безусловно и необхо-

димо для усиления и религиозного возвышения жизни, сразу же становится ясно, что сегодняшняя мода на коллективистскую жизнь — только пример популярного искажения великих и благородных европейских порывов в современном модном массовом сбыте и употреблении. "Единым быть со всем, что живет!" — восклицает Гельдерлин в "Гипероне". С этими словами добродетель сбрасывает с себя броню, а дух человека — скипетр, и из союза живых исчезает смерть, и неразрывная связь всего сущего, вечная молодость осеняет милостью, увеличивает красоту мира. Дионисийское чувство, которым полны эти слова, мы находим приниженными в коллективистском опьянении, в чисто эгоистическом, по существу не гарантирующем ничего реального желании молодого человека маршировать, распевая песни, смесь испорченных народных песен и передовиц. Эта молодежь любит освобожденное от всякой личной жизненной серьезности растворение в массовом и не очень-то заботится о том, каковы цели марша. Если попросить их более точно определить счастье, которое она в этом находит, она не обнаруживает склонности добиться чего-то определенного. Самоцель — освобождение от своего "я" и его ответственности, массовое опьянение; связанные с этим идеологии, такие, как "государство", "социализм", "величие родины" более или менее второстепенны, вторичны и по существу излишни: цель, к которой стремятся, — опьянение, освобождение от "я", от размышления, если быть точным, вообще от нравственного и разумного. Также, конечно и от *страха*, страха перед жизнью, который заставляет сгрудиться в коллектив, чувствовать тепло другого человека и громко петь. Это та сторона дела, которая более всего может вызвать нашу симпатию и наше сострадательное понимание.

Счастье освобождения от своего "я", от ответственности перед собой бывает на войне, и если

я говорю о нынешнем человеке, то, — я думаю, мы одного мнения — имею в виду европейца послевоенного времени, человека, который прошел через войну или же родился в мире, который оставила после себя война. Мы склонны воспринимать нынешнее состояние мира в экономическом, как и в духовном и нравственном отношении как результат войны — и может быть, слишком далеко заходим в этом нашем восприятии. Страшные опустошения внешнего и внутреннего порядка, которые произвела война, несомненны, но не война создала наш мир, она только прояснила, усилила и довела до крайности то, что уже существовало. Невероятный упадок культуры и нравственный регресс по сравнению с XIX веком, который мы, соответственно истине, должны констатировать, не есть результат войны, как ни способствовала ему война, этот процесс шел полным ходом еще раньше. Это явление эпохи, обусловленное в первую очередь появлением массового человека и тем, что он захватил власть, как блестяще показал это Хосе Ортега-и-Гасет* в своей книге "La rebelión de la masas" / "Восстание масс" — *исп.* /.

Трагично прийти к заключению, что доброжелательность XIX века, этой в своей продуктивности колоссальной эпохи, в результате научных и социальных благодетелей которой население Европы смогло утронуться, — что, я повторяю, доброжелательность этого столетия *виновна* во всей растерянности нашей современности, что этот кризис, который грозит отбросить нас обратно в варварство, коренится в ее близоруком великодушии. Ортега прекрасно описывает вторжение новых масс в цивилизацию, которой они пользуются, словно это сама природа, не зная ее весьма сложных предпосылок и, следовательно, не испытывая к ним ни малейшего почтения. Примером их отношения к условиям, которым они обязаны своей жизнью, может служить то, что они грубо топчут либераль-

ную демократию, точнее, используют ее, чтобы ее же уничтожить. Вполне возможно, что при всей их примитивной любви к технике они будут причиной и ее гибели, ибо не догадываются, что техника — лишь продукт свободного и не имеющего конкретной цели исследования, исследования ради познания как такового, и потому они презируют идеализм и все, что с ним связано, то есть свободу и истину. Вполне уместно говорить о примитивизме. Попробуй показать сегодняшней публике (если это слово, связанное с понятием элиты, подходит для современной массы) ибсеновскую "Дикую утку"⁴⁴ и убедишься, что за тридцать пять лет она вообще стала непонятной. Люди принимают ее за фарс и смеются в самых неподходящих местах. В XIX веке было общество, способное воспринять европейскую иронию и скрытый смысл, идеалистическую горечь и нравственную утонченность этого произведения. Это утеряно, и эта доказанная возможность "утери", резкое падение уровня и примитивизация не только до глухоты к нюансам, но и до дикой ненависти к ним — явление, которое XIX век считал бы невозможным, ибо верил в прочность понятий, — действует потому так устрашающе, что показывает, сколь далеко это может зайти: великие достижения могут быть утеряны и забыты и что сама цивилизация отнюдь не застрахована от такой судьбы.

Повторяю, не война была причиной упадка европейской культуры, в результате войны этот процесс только ускорился и обострился. Не война подняла гигантскую волну эксцентричного варварства и примитивной массово-демократической ярмарочной дикости, которая катится по миру. Она только усилила ее жестокую мощь, как и не была причиной отмирания таких способствующих нравственности, строгих в укреплении добра понятий, как культура, дух, искусство, идея, — она только ускорила этот процесс. Это понятия из бюргерских

времен, идеалистический хлам XIX века. И действительно, XIX век был прежде всего идеалистической эпохой, это мы видим только сегодня, растроганные тем, сколь идеалистичным он был. Этот век верил не только в благо либеральной демократии, но и в социализм, а именно в такой, который хотел *поднять* массы и научить их, подвести их к науке, образованности, искусству, благам культуры. Сегодня мы убедились, что важнее и легче ими *управлять*, создавая грубое примитивное искусство, играя на их психологии, а это значит, ставя на место воспитания пропаганду — не без внутреннего одобрения масс, которые кажутся себе более современными, поддаваясь ловкой пропагандистской технике, чем прислушиваясь к каким бы то ни было воспитательным идеям. Они поддаются организации, и оказывается, что они благодарны за *всякую* организацию, все равно, какова она по духу, пусть это даже дух насилия. Насилие — это необычайно все упрощающий принцип; удивительно, что он находит понимание у масс.

Если бы они были только примитивными, эти современные массы, только радостными варварами, с ними можно было бы ужиться, можно было бы на что-то надеяться. Но у них к тому же есть еще две черты, что делает их просто страшными: они *сентиментальны* и они катастрофически *философичны*. Дух масс при своем ярмарочно-современном характере щеголяет романтическим языком: он говорит "народ", "кровь и почва" только о старых и благочестивых вещах и поносит дух улицы — каким он сам является. В результате — лживая, развращающая душу вульгарность и массовое надувательство, — торжествующее сочетание, оно характеризует и определяет наш мир.

Что касается философствования масс, то с этим обстоит еще хуже. Конечно, философствование не было им изначально свойственно, оно просочилось к ним сверху, из духовной сферы. Роль,

которую уже в течение нескольких десятилетий играет на земле дух, самая страшная. Он направлен против самого себя, — сначала он иронизировал над собой, а потом с пафосом от себя отрекся в пользу жизни и единственно животворных сил бессознательного, динамичного, тьму творящего, матерински-хтонического⁴⁵ и священно-рождающей преисподней. Мы все знаем это отречение духа от самого себя, против самого себя, против разума, который он проклинает и заклеймил как убийцу жизни. Смелый и захватывающий спектакль — только природа его вызывает некоторое смущение и удивление — пожалуй, лучше не допускать на него слишком широкую публику. Конечно же, борьба против идеализма началась от *идеализма*. Деятнадцатый век так истово любил истину, что — как это сказал Ибсен — хотел признать даже "ложь во имя жизни"; но мы знаем, что существует большая разница между тем, признают ли ложь из мучительного пессимизма и горькой иронии или из недостатка любви к истине. Эта разница сегодня не всем ясна. Взволнованная полемика Ницше против платонизма, сократизма, христианства была полемикой человека, у которого больше общего с Паскалем*, чем с Цезарем Борджиа*, она была аскетическим самоопределением человека, рожденного христианином. Очень похожей была борьба Маркса против понятий истины и нравственности немецкого идеализма, — он вел ее от идеализма во имя новой истины и справедливости, а не потому, что презирал дух. Презрение оставлено десятилетиям, которые романтизировали идеалистический бунт против идеализма и тем самым предоставили ему опасную возможность приобрести популярность. Они не видели или не были обеспокоены опасностями для гуманности и культуры, которые существуют во всякой духовной антидуховности, зерном реакции в такой революции, мрачными возможностями злоупотребле-

ния ею, которым может воспользоваться действительность. В одно мгновение они могут обернуться свободой действий для бездуховности и антидуховности и всякой человеческой непорядочности, всякого безудержного презрения к истине, свободе и человеческой честности. Приходится прийти к заключению, что духу не хватало чувства ответственности, понимания, что нравственное связано с интеллектуальным, что они вместе возносятся и падают и следствие презрения к разуму — нравственное одичание. Тысячи восхвалителей иррационального не задумались над тем, не воспитали ли они народ в духе нравственного санкюлотизма и глухоты ко всяческим мерзостям.

До новых масс дошел слух об эпохальном свержении духа и разума, которое совершилось в высших сферах. Они узнали об этом как о самом новом и самом современном и не могли быть этим очень удивлены, так как в их среде соответствующие процессы уже давно происходили. Многие вещи, которые не допустила бы более строгая гуманность XIX века, стали вновь возможными, прокрались в наше время ярмарочного шума и зазывального трезвона лавок: процветали всякие тайные науки, полунауки и шарлатанство, темные секты и дурацкие задворочные религии, явное надувательство, слепая вера и идиллическое пустословие, — они привлекали массы, определили стиль времени — и все это многие образованные посчитали не низменным современным балаганом, не культурным обнищанием, — они мистифицировали это как выражение глубинных жизненных сил, достойное уважения проявление народной души. Почва была подготовлена также и для абсурднейшего и гнуснейшего массового суеверия, но это — не былое тупое и бездумное суеверие прошлых времен, а современно-демократическое, которое предполагает право каждого думать, суеверие с "мировоззрением".

Несомненно, нужда учит думать, спрашивается только, как? Что происходит, когда обнищавшие, безвластные, угнетенные нуждой и мучимые жгучим чувством обиды массы среднего и ниже среднего духовного и материального уровня начинают думать, заражены мистикой — это мы узнали. Обывателю стало известно, что разум получил отставку, что интеллект можно ругать, что эти пугала, которые как-то связаны с социализмом, интернационализмом, а также с еврейским духом, виноваты в его бедах, и, получив полномочия сверху, он настроен против разума, он научился выговаривать трудно произносимое, но вообще-то очень возбуждающее инстинкты слово "иррационализм". Популяризация иррационального, явления второго и третьего десятилетия нашего века, пожалуй, самый жалкий и смехотворный спектакль, который может поставить история. По собственному почину интеллектуально озверевший обыватель выдумал слово "интеллектуальная bestия", идиотское выражение, но в известной мере авторизованное высшей сферой антидуховного духа и эффективное в своей низкосортной лихости — формула-призыв к продиктованному эмоциями убийству. Сначала она относилась ко всякой политической и социальной воле, разуму, к миру, европейскому образу мыслей, но и сверх того, собственно, ко всякому духовному воспитанию и цивилизации.

Однако, так же, как антидуховный дух не может все же не быть духом, так и его отпрыск, резонирующий массовый человек, не может обойтись без духа и мысли. Он говорит, он философствует и пишет, а его мыслительный продукт — не что иное, как извращенный дух, грошовая интеллектуальность. В воздухе носятся низкосортные любительские продукты массовой мысли. Тучи испорченной литературы нависли над страной и не дают возможности дышать. Философствующий против разума массовый человек узурпировал для себя право думать, го-

ворить, писать, всем остальным же он заткнул рот и, застраховавшись от возражений, использует свое преимущество таким образом, что в глазах темнеет и хочется проклясть либеральную демократию, которая научила каждого читать и писать. Испытываешь такое чувство, словно сама мысль и слово навсегда лишились смысла из-за такого подлого злоупотребления. Без всяких стеснений жалкая полуобразованность швыряет свои псевдооткрытия и злобные теоремы, свою мистагогическую⁴⁶ галиматью и свои бесстыдные, предназначенные для тысячелетий решения, и лишь слабо, лишь робко решается запуганное, отчасти позорно симпатизирующее ей знание высказать свое тихое возражение, напомнить нечто противоположное. Пройдет немного времени и этот род мышления получит повсюду власть осуществлять свои "идеи", дерзко и насильственно превращать себя в историю. И история будет соответствующая. Но нет ли чего-то захватывающего, христианского в этом победоносном восстании нищих духом, в этом искажающем суть науки, образования, ума и культуры преклонении перед вкусом и оценкой маленьких людей, рыбаков, мытарей и грешников? Я думаю, что следует проявить осторожность, употребляя такие параллели. Христианская революция и революция массового человека различны по своему характеру. Это различие, скажем просто, — в доброжелательстве и дружественности людям, которые равнозначны серьезному предупреждению от путаницы и неверных сравнений. Наше время вызвало к жизни своеобразно извращенное явление: массовое сборище нищих духом в болезненном восторге приветствовало *ликвидацию прав человека*, которую некто провозглашал с трибуны через громкоговорители. Простота может породить истину, а низость нет.

Мне могут возразить: современное движение носит героический характер, в то время как изменение

мира на христианский манер и Французская революция носили альтруистически-гуманитарный характер. Как я ни люблю героическое, ни восхищаюсь им в его великих духовных проявлениях, я не могу преодолеть себя и поверить в героизм маленьких людей. Их мир не героичен, он мелкотравчатый и преступно-романтический; в нем много от грошовых романов и вызывающих восторг толпы фильмов, но в нем нет ничего героического; тогда и бульварный роман можно назвать героическим, если это слово применимо к современному массовому миру. Постесняемся назвать героическим новый стиль в политике, стиль преступлений и убийств, это порождение низкопробного фанатизма. Чтобы только понять, что такое героизм, нужно стоять на более высоком нравственном уровне, чем уровень той философии, для которой насилие и ложь — основной принцип жизни. На самом деле это философия взбесившегося от своей злойредной страсти рассуждать обывателя. Кроме насилия он верит только в ложь, и в ложь еще истовее, чем в насилие. Среди европейских идей, которые он в своем бунте считает окончательно ликвидированными, таких, как истина, свобода, справедливость, самая ненавистная, самая неприемлемая для него — истина. На ее место он ставит "миф". Это слово в его лексиконе образованности играет такую же выдающуюся роль, как и "героическое". Если присмотреться внимательнее, что же он подразумевает под мифом, то оказывается, для него не существует разницы между истиной и обманом.

Проблема истины, а именно истины как абсолютной идеи в ее обусловленности жизнью, истины в ее вечности и изменчивости — проблема с точки зрения морали самая значимая. Что есть истина? Так спрашивает не только скептик-римлянин, этот вопрос ставит сама философия, осмысливающий себя критически дух. Он дружен жизни, он

допускает, что жизни требуется истина, которая помогает ей, способствует ее развитию.

”Только то, что способствует жизни, истинно”. Слова эти справедливы. Но, чтобы не оказаться в плену безнравственности, чтобы не скатиться в пропасть цинизма, нужно дополнить их другими: ”Только истина способствует жизни”. Если ”истина” не дана раз и навсегда, если она изменчива, то тем глубже, тем тщательнее и тем более чуткой должна быть забота о ней духовного человека, взыскательнее его бдительность к движениям мирового духа, к изменениям в картине истины, к тому, что для данного времени является правильным и необходимым, чтобы не сказать желаемым Богом, которому должен служить духовный человек, невзирая на ненависть тупых, боязливых, косных, заинтересованных в сохранении того, что стало дурным и ложным.

Так в кратких словах предстает проблема истины перед доброкачественным, почитающим Бога человеческим умом. Наоборот, возвеличивать ложь как единственно животворную, единственно действенную в истории силу, создать себе из этого философию, вообще не признающую более разницы между истиной и ложью, насаждать в Европе позорный прагматизм, который отрицает сам дух во имя пользы, без зазрения совести совершает преступления или приветствует их, если они служат его ложно считающимися абсолютными принципами, и его нисколько не страшит фальсификация. Он ее признает так же, как и истину, если она *полезна* — все это свойственно человеческому типу, о котором я говорю. Не хочу заходить далеко и ставить знак равенства между ним и современным человеком вообще. Но это распространенный тип, тип массового человека, и если я характеризую его как определяющего наше время, то высказываю его собственное убеждение. Это убеждение придает ему энергию и воодушевление, с помощью которых

он собирается покорить мир, который находится из-за сдерживающих его нравственных принципов в невыгодном положении, стать его учителем и господином.

Каков может быть результат — совершенно ясно, сомнений быть не может, — войны, всеобщая катастрофа, гибель цивилизации. Только это и ничто другое может быть следствием активной философии этого человеческого типа, я в этом убежден, и поэтому посчитал своим долгом сказать о нем и о страшной угрозе, которая от него исходит. Поистине страшно наблюдать слабость более старого, образованного мира перед лицом этого наступления гуннов, видеть его растерянное отступление. Запуганный, не понимающий, что с ним происходит, с боязливой улыбкой он уступает одну позицию за другой и, кажется, готов признаться, что "более не понимает мир". Он снисходит до духовного и нравственного уровня своего смертельного врага, перенимает его тупую речь, приспособляется к его жалким мыслительным категориям, коварной тупости его неприязней и пропагандистских альтернатив, — и не замечает этого. Может быть, он уже потерян. Если он не сбросит с себя гипноз, если не осознает себя, то тогда он потерян наверняка. В каждом гуманизме есть элемент слабости, он объясняется его презрением к фатализму, его терпимостью и его любовью к сомнению, короче, его естественной приверженностью добру; при известных условиях он может стать для него роковым. Сегодня необходим боевой гуманизм, гуманизм, который осознал свою мощь, проникся пониманием того, что принцип свободы, терпимости и сомнения не должен дать потеснить себя фанатизму, у которого нет ни стыда, ни сомнений. Если европейский гуманизм утерял способность воинственного возрождения своих идей, если он более не в состоянии осознать свою собственную душу в ее жизненной бодрости, он погибнет, и

Европа сохранит свое имя только в истории. От такой Европы лучше укрыться в безучастной безвременности.

ЭДУАРДУ КОРРОДИ⁴⁷

Кюснахт-Цюрих, 3.2.36

Дорогой доктор Корроди,

Ваша статья "Немецкая литература в эмигрантском зеркале", появившаяся во втором воскресном выпуске "Н[ейе] Ц[юрхер] Ц[ейтунг]" от 26 января, привлекла к себе большое внимание, о ней много спорили, ее цитировала — чтобы не сказать: эксплуатировала — пресса самых различных направлений. Кроме того, она имела известное, хотя и косвенное отношение к заявлению, с которым я вместе с несколькими друзьями счел нужным выступить в защиту нашего старого литературного пристанища — издательства С. Фишера⁴⁸. Поэтому я считаю себя вправе сделать еще несколько замечаний по ее поводу и, возможно, даже высказать несколько возражений против нее.

Вы правы: издатель "Нового дневника" допустил явную полемическую ошибку, утверждая, что вся или почти вся современная литература покинула Германию, что она, как он выразился, "перенесена за границу". Я прекрасно понимаю, что это непозволительное преувеличение должно было разозлить такого нейтрального наблюдателя, как Вы. Господин Шварцшильд* — блестящий политический публицист, хороший боец, сильнейший стилист; но литература — не его область, и я полагаю, что он, — быть может, по праву — считает, что при нынешних обстоятельствах политическая борьба — куда более важное, достойное и полезное дело, чем какая бы то ни было поэзия. Во всяком случае ограниченность кругозора и недостаток художественной объективности, которые он обнаружил сво-

им заявлением, не могли не вызвать возражения у такого литературного критика, как Вы, и некоторые приводимые Вами имена внутригерманских авторов опровергают его слова начисто.

Остается, правда, под вопросом, не предпочел бы иной из носителей этих имен тоже быть за границей, если бы это удалось устроить. Я не хочу ни к кому привлекать внимание гестапо, но во многих случаях действуют причины не столько духовного, сколько чисто технического характера, и поэтому границу между эмигрировавшей и неэмигрировавшей немецкой литературой провести нелегко: в духовном смысле она не просто совпадает с границей Германии. Немецким писателям вне этой границы не следует, думается мне, глядеть со слишком неизбирательным презрением на того, кто волей или неволей остался на родине, и связывать свои художественные оценки с местопребыванием автора. Они страдают; но внутри Германии тоже страдают, и они должны остерегаться самодовольства, которое часто бывает порождением страдания. Они не должны, например, упрекать товарища по перу, хотя и отказавшегося ради своих европейских взглядов и ради своих представлений о немцах от дома и родины, от почетного положения и состязания; хотя и не внявшего весьма прозрачным намекам, что он пригодится, а на его непонятное, но уже так или иначе сложившееся мировоззрение посмотрят сквозь пальцы; хотя и оставшегося там, где он был, чтобы и расцвет, и гибель Третьей империи переждать на свободе, но ни в коем случае — сохранится ли нынешний режим или не удержится — не желавшего сжечь все мосты, связывавшие его с родиной, и лишить себя всякой возможности говорить с ней, — такого человека писатели эмиграции не должны сразу же обвинять в предательстве и в измене, если в вопросах переселения немецкой культуры он по каким-то, может быть, основательным и не вполне

учитываемым ими причинам держится иного мнения, чем они.

Оставим это. Отождествление эмигрантской литературы с немецкой невозможно уже потому, что к немецкой литературе относятся также австрийская и швейцарская. Из авторов, пишущих на немецком языке, мне лично особенно близки и дороги двое: Герман Гессе и Франц Верфель; оба одновременно романисты и достойные восхищения лирики. Они не являются эмигрантами, так как один из них швейцарец, а другой — чешский еврей... Трудным, однако, искусством остается нейтралитет даже при такой долгой исторической тренировке, какой можете тут похвастаться вы, швейцарцы! Как легко нейтральный наблюдатель, выступая против одной несправедливости, впадает в другую! В тот самый миг, когда Вы возражаете против приравнивания эмигрантской литературы к литературе немецкой, Вы сами допускаете столь же несостоятельное отождествление; ведь любопытно, что злит Вас не сама эта ошибка, а тот факт, что ее совершает писатель-еврей; и делая из этого вывод, что в данном случае снова, в подтверждение старого отечественного упрека, с немецкой литературой спутали литературу еврейского происхождения, Вы сами путаете эмигрантскую литературу с литературой еврейской.

Надо ли говорить, что это никуда не годится? Мой брат Генрих и я — не евреи. Леонгард Франк*, Рене Шикеле, солдат Фриц фон Унру*, коренной баварец Оскар Мария Граф*, Аннетта Кольб*, А. М. Фрей, а из более молодых, например, Густав Реглер*, Бернгард фон Brentано* и Эрнст Глезер* тоже не евреи. Что в общей массе эмигрантов много евреев — это в порядке вещей: это следствие надменной жестокости национал-социалистической расовой философии, а с другой стороны, особого отвращения еврейской интеллектуальности и нравственности к некоторым госу-

дарственным мероприятиям наших дней. Но мой список, не претендующий, как и Ваш внутригерманский, на полноту, список, который я не стал бы составлять по собственному почину, показывает, что о всецелом или хотя бы только преимущественно еврейском характере литературной эмиграции говорить нельзя.

Прибавлю еще имена поэтов Бертольда Брехта* и Иоганнеса Р. Бехера*, поскольку вы сказали, что не можете назвать ни одного эмигрировавшего поэта. Как Вы могли так сказать, ведь я же знаю, что Вы цените в Эльзе Ласкер-Шюлер* настоящую поэтессу? [...]

Еще недавно, в связи с биографией Вассермана, написанной Карльвейс*, Вы, со свойственной Вам тонкостью и прозорливостью, рассуждали о процессе европеизации немецкого романа. Говоря об *изменении* типа немецкого романиста, происшедшем благодаря таким дарованиям, как Якоб Вассерман, Вы замечали: под действием интернационального еврейского компонента немецкий роман стал интернациональным. Но ведь к этому "изменению", к этой "европеизации" мой брат и я причастны не меньше чем Вассерман, а мы не евреи. Может быть, на нас повлияла капля латинской крови (и швейцарской — со стороны бабушки). "Интернациональный" еврейский компонент — это средиземноморский европейский компонент, а таковой является и немецким; без него немцы были бы не немцами, а не нужными миру лодырями. Это-то и защищает сегодня в Германии преследуемая — что возвращает ей уважение воспитанника протестантской культуры — католическая церковь, когда заявляет: только приняв христианство, немцы вошли в ряд ведущих культурных народов. Нельзя быть немцем, будучи националистом. Что же касается немецкого антисемитизма, или антисемитизма немецких правителей, то духовно он направлен вовсе не против евреев или не только

против них; он направлен, как все ясней и ясней обнаруживается, против христианско-античных основ европейской цивилизации; он представляет собой — символизированную, кстати сказать, выходом из Лиги Наций — попытку сбросить узы цивилизации, грозящую ужасным, гибельным разрывом между страной Гёте и остальным миром.

Твердая, каждодневно питаемая и подкрепляемая тысячами человеческих, нравственных и эстетических наблюдений и впечатлений убежденность, что от нынешнего немецкого режима *нельзя* ждать ничего хорошего ни для Германии, ни для мира, — эта убежденность заставила меня покинуть страну, с духовными традициями которой я связан более глубокими корнями, чем те, кто вот уже три года никак не решатся лишить меня звания немца на глазах у всего мира. И я до глубины души уверен, что поступил правильно и перед лицом современников, и перед лицом потомков, присоединившись к тем, к кому именно можно отнести слова одного по-настоящему благородного немецкого поэта⁴⁹:

Но тех, кто к злу исполнен отвращеньем,
Оно и за рубеж погнать смогло бы.

Коль скоро дома служат злу с почтеньем.

Умней покинуть отчий край свой, чтобы

Не слиться с неразумным поколеньем,

Не знать ярма слепой плебейской злобы.

Преданный Вам
Томас Манн.

(Печатается по: Т. Манн. *Письма*.
М., "Наука", 1975, стр. 79—82.
Перевод С. Анта.)

ИЗ ДНЕВНИКОВ

6.3.36

[...] Чудовищные судебные приговоры в Германии: четыре года тюрьмы за "осквернение расы"

одному еврею, который совершенно невинно пофлиртовал с нееврейскими девушками. Осужден за оскорбление — родителей. Девушки же не считали себя оскорбленными. Немецкие судьи!

7.3.36.

[...] По радио речь Гитлера. Отвратительный голос, отвратительный язык, но хитер — смесь сентиментального простодушия и фальсификации. "Честь" и мир, обещание заключить пакт с демилитаризованной зоной, новое предложение Бельгии, Франции и Голландии, договор о ненападении сроком на двадцать пять лет, возвращение в Лигу Наций в ожидании, что за это будут получены колонии. Внутренняя политика: проникновенный призыв к доверию, роспуск рейхстага, дабы дать народу торжественный случай вновь продемонстрировать свою приверженность фюреру и "всем его соратникам". Значит — выборы, которые подтвердят одобрение полностью восстановленной чести и равноправия, возвращение в Лигу Наций и обеспечение мира; следовательно, они принесут им 95 процентов голосов. Похоже, что ситуация снова спасет режим. Решится ли мир заговорить о внутригерманских событиях, стоящих за этими маневрами?

4.4.36

[...] В "Эйропа" очень интересная статья одного "ученого из Германии", написанная во время его краткого пребывания за границей, о губительной силе новой Германии и беспечной недалёковидности других, глупости Англии, которая готовит гитлеровскому режиму один успех за другим. Если так будет продолжаться, то через пятнадцать лет эта Германия станет властелином над Европой.

31.7.36

[...] Приезжал молодой студент, филолог, по-

клонник "Иосифа". Рассказывает о своем пребывании в трудовом лагере. Народная общность — надувательство, никакого единения классов, как его никогда и не было. Упадок образования, ориентация на низкий уровень. Господство философствующего учителя народной школы.

1.8.36

[...] Вечером читал в "Нейе Рундшау" статью о Шпенглере*, который довёл философию истории *ad absurdum* /до абсурда — *лат.*/.

Я давно назвал его "гиеной от истории", и действительно, его звериная духовная личность более походит на гиену, чем на льва. Его хищническая антропология (романтика наизуворот) и как таковая не менее пошлая; он стал мне особенно отвратителен после того, как я был ошеломлен его главным сочинением (из-за известного родства происхождения и духовных склонностей между нами). Он тоже воспринял у Ницше главным образом вкус к "разложению" — его интерес действительно сосредоточен прежде всего на гибели культур, которые он отождествляет с неизбежным увяданием растений, и я хорошо помню, что когда появилась его книга "Закат Европы", ее иногда связывали с "Будденброками". То, что говорит рецензент о его презрении к человеческой свободе, я тоже сказал в статье "Об учении Шпенглера". Он рано умер, как я думаю, в тоске и страданиях. Но он подготовил то отвратительное, что произошло, и рано затрубил в рог, звук которого раздаётся сегодня.

13.8.36

[...] Разговор с сыновьями о том, что тем не менее люди более высокой и настоящей духовности во всем мире презирают фашизм и что революция и мировое движение, презираемое духом, не может быть истинным и сыграть творческую роль в истории. Неужели мир так изменился, что стало воз-

можным творческое развитие вне духа, на которое дух и его критика такого развития не оказывают влияния? Неужели считать это невозможным есть устаревший идеализм?

20.8.1936

Тяжелое впечатление от сообщений московского радио о процессе троцкистов⁵⁰; по своей пропагандистской лживости он не уступает фашистским достижениям такого рода, по стилю они весьма схожи. Плохо и грустно.

25.8.1936

[...] Много говорили о леденящем душу процессе над троцкистскими заговорщиками в Москве. Что подумать обо всех этих покаянных признаниях, после которых их присудили к смерти. Приведут ли приговор в исполнение? Один покончил с собой до вынесения приговора⁵¹. Может быть, сообщения просто сфальсифицированы? Или подсудимых обещали помиловать, если они будут говорить то, что хочет услышать правительство? При их характерах — невероятно, ведь это последние ленинцы. И Радек*, выступавший от имени правительства по внешнеполитическим вопросам, арестован. Троцкий* все отрицает... В вечерних газетах: действительно, шестнадцать человек после чудовищных покаянных признаний казнили. Ужасно.

9.10.1936

[...] Слышал по радио кое-что немецкое, песни о "Коричневых солдатах фюрера" и "Против врагов за свободу и мир". Конечно, кретинизм, но это и есть уровень маленького человека, и ему приятно.

КОНРАДУ ЭНГЕЛЬМАНУ*

Кюснахт близ Цюриха, 15.12.1936

[...] Мне живется хорошо, я работаю как раньше и, право же, не завидую оставшимся дома. Лучшим из них, очевидно, труднее. Но гнев из-за всех мучений, душевных страданий и бедствий, которым подвергли и продолжают подвергать людей те подлые властители, продиктовали мне слова и действия, из-за которых меня "лишили гражданства"⁵². Я был бы негодяем, как инициаторы этого указа, если бы о чем-либо сожалел. Знает Бог, я не рожден для ненависти, но этих развратителей людей и кровожадных дураков я ненавижу до глубины души и желаю им ужасного конца, они его заслужили [...].

ГОСПОДИНУ ДЕКАНУ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БОННСКОГО УНИВЕРСИТЕТА⁵³

Кюснахт близ Цюриха, 31.12.1936

[...] Я получил печальное сообщение, которое Вы направили мне 19 декабря⁵⁴. Разрешите ответить на него следующее:

Тяжелая вина за нынешние несчастья лежит и на немецких университетах. Из-за рокового непонимания исторического часа они превратили себя в рассадник порочных сил, которые опустошают Германию нравственно, культурно и экономически — эта вина давно отравила мне радость от присужденного мне некогда академического звания⁵⁵ и сделала для меня невозможным каким-либо образом им воспользоваться. Почетное звание доктора философии есть у меня и сегодня, ибо Гарвардский университет вновь присудил мне его⁵⁶ на основании, которое я, господин декан, не хотел бы от Вас скрыть.

В переводе с латыни на немецкий оно звучит так: "...мы, ректор и сенат при одобрении почтенных университетских инспекторов присудили на торжественном заседании звание почетного доктора философии Томасу Манну, всемирно известному писателю, который разъяснил проблемы жизни многим нашим соотечественникам, и *вместе с очень немногими современниками сохранил высокое достоинство немецкой культуры*, и наградили его всеми правами и почестями, связанными с этим званием".

Таким, странно противореча нынешним немецким взглядам, представляется мое существование свободным и образованным людям за океаном и — я вправе добавить — не только там. Мне никогда не пришло бы в голову хвастать этим документом, но сегодня и здесь я вправе, я должен привести его. И если Вы, господин декан (не знаю, какова практика в подобных случаях), должны будете вывесить на доске объявлений сообщение, которое послали мне, то поистине справедливо мое желание, чтобы и этому моему ответу была предоставлена такая же честь. Может быть, все же кое-кто из имеющих академическую степень граждан, студент или профессор, насторожится и задумается, и его охватит быстро подавленный пророческий ужас при этом чтении, которое будет подобно взгляду, брошенному украдкой в свободный духовный мир из незнания и злостно навязанной изоляции. На этом я мог бы закончить. Однако в такой момент мне кажутся желательными, более того, законными некоторые дальнейшие разъяснения. По поводу "лишения меня гражданства" государственно-правовыми органами, несмотря на многочисленные обращения ко мне читателей с призывом высказать мое отношение к этому, я промолчал. Лишение меня академического звания я вправе рассматривать как уместную возможность для краткого заявления о моей позиции — при этом Вы, господин декан,

имени которого я даже не знаю⁵⁷, рассматривайте себя, пожалуйста, как случайного адресата, эти высказывания не задуманы как обращение именно к Вам.

За эти четыре года моего изгнания, назвать которое добровольным было бы, пожалуй, приукрашиванием истины, ибо не покинув Германию или возвратившись туда, я, очевидно, не остался бы в живых, — я не перестаю размышлять о моем положении — о странной, определившей мое нынешнее положение ошибочности судьбы. Мне не могло присниться, мне не было на роду написано, что мои преклонные годы я проведу как эмигрант, лишенный дома и преданный поруганию, занимаясь совершенно необходимыми акциями политического протеста. С тех пор, как я вступил в духовную жизнь, я чувствовал себя спокойно и уверенно, в счастливом согласии с душевными склонностями моей нации, с ее духовными традициями. Я рожден гораздо более для того, чтобы быть представителем умонастроений народа, чем для мученичества, гораздо более, чтобы внести в мир немного высокой веселости, чем призывать к борьбе и ненависти. Должно было случиться нечто в высшей степени ложное, чтобы жизнь моя сложилась так противоестественно. Я пытался, насколько позволяли мои слабые силы, остановить это ужасающе ложное — и именно этим уготовил себе судьбу, которую должен теперь научиться соединить с моей, по существу чуждой этой судьбе, натурой.

Конечно, я вызвал ярость сегодняшних властителей не только в последние четыре года тем, что остался за пределами страны, бескомпромиссными заявлениями о моем отвращении к ним, замолчать которые было невозможно. Я делал это еще гораздо раньше, должен был делать, ибо раньше, чем впавшие сегодня в отчаянье немецкие граждане, видел, кто и что поднимается на поверхность.

Когда же Германия действительно попала в эти руки, я решил сначала промолчать; я считал, что заслужил право на молчание принесенными мною жертвами, право, которое даст мне возможность сохранить нечто для меня чрезвычайно важное, — контакт с моей публикой внутри страны. Мои книги, говорил я себе, написаны для немцев, прежде всего для них. "Мир" и его участие были для меня всегда лишь радующим дополнением. Они, эти книги — продукт воспитывающей взаимосвязи нации и автора, и я считал, что предпосылки для этой взаимосвязи я помогу создать, только будучи в Германии. Это тонкие и достойные бережного сохранения отношения, политике не должно разрешать грубо рвать их.

Были в стране нетерпеливые; те, кому всунули в рот кляп, поставили бы в вину живущему на свободе его молчание, значительное же большинство, мог я надеяться, поймет мою сдержанность, будет мне даже благодарно.

Таковы были мои намерения. Они оказались неосуществимыми. Я не мог бы жить, не мог работать, я бы задохнулся, если бы время от времени, как говорили древние народы, не "омывал своего сердца", откровенно не высказывал бы своего безграничного отвращения перед тем, что — гнусными словами и еще более гнусными делами — совершалось дома. Заслуженно или нет, но мое имя оказалось теперь связанным для мира с понятием немецкого духа, который он любит и чтит. Тот факт, что именно я открыто выступаю против распутной фальсификации, которой подвергся ныне немецкий дух, было требованием, которое успокаивающе вторглось во все свободные художнические мечты, которым я отдался бы с такой охотой. От этого требования трудно отказаться человеку, которому всегда было дано выражать себя, освобождать себя в слове, для которого всегда была очевидна общность переживания и сохраняемого

в ясности и чистоте языка, хранителя национальных традиций. Велика тайна языка; ответственность за него и его чистоту — символического и духовного характера, язык имеет отнюдь не только эстетический, но и общий нравственный смысл, он — ответственность как таковая, а также ответственность пред собственным народом, сохранение в чистоте его образа перед лицом человечества. В нем воплощается также единство человеческого, целостность проблемы человечности, которая никому не разрешает, а сегодня — менее, чем когда бы то ни было, отделять духовно-эстетическое начало от политически-социального и изолировать себя от него, замкнуться в аристократически-”культурном”; это — истинная общность, которая есть сама гуманность, и тот преступно нарушает ее, кто собирается забрать в свое полное владение одну область человеческого — государство.

Немецкий писатель, привыкший к ответственности за общество, поскольку инструмент писателя — язык, немец, чей патриотизм, может быть, наивно, выражается в *вере в несравненную нравственную ценность того, что происходит в Германии*, — и он должен молчать, *хранить полное молчание* перед лицом всего неискупимо плохого, что совершалось и совершается в его стране над телами, душами и умами, над правом и истиной, над людьми и человеком? Перед лицом страшной опасности, которую представляет собой для континента этот разлагающий людей режим, существующий в невыразимом незнании того, о чем прозвонил колокол мира? Это было невозможно. Так возникли вопреки первоначальным намерениям высказывания и действия, которыми я неизбежно занял определенную позицию, она и вызвала абсурдный и жалкий акт моего отлучения от нации.

Простая мысль о том, кто эти люди, которым случайно дана презренная внешняя власть лишить меня моего немецкого статуса, достаточна, чтобы

акт этот предстал во всей своей смехотворности. Оказывается, выступив против них, я тем самым оскорбил империю, оскорбил Германию! Они проявили сомнительную храбрость — спутали себя с Германией! В то время, как, наверное, недалек момент, когда станет самым важным не спутать себя с ними.

Куда они завели Германию за неполные четыре года? Разорили, истощили духовно и материально производством оружия, которым угрожают всему миру, держат его в напряжении и препятствуют выполнению его истинных задач — огромной и насущной задачи *мира*: никем не любимая, внушающая страх и холодную неприязнь, она стоит на грани экономической катастрофы, и руки ее "врагов" испуганно протягиваются к ней, чтобы удержать такого важного участника будущего сообщества народов от падения в пропасть, если Германия только хочет образумиться и проникнуться тем, что действительно необходимо в этот час миру, вместо того, чтобы лицемерно придумывать себе беды.

Да, те, кому они угрожают и развитие которых задерживают, должны еще в конце концов ей помогать, дабы она не ввергла материк в пропасть вместе с собой, дабы не разразилась война, в сторону которой она в качестве *ultima ratio* /крайней меры — *лат.*/ еще поглядывает. Зрелые и образованные государства, — я понимаю под "образованием" знакомство с тем основополагающим фактом, что война *более уже не позволительна* — обращаются с этой большой, находящейся в опасности и всех подвергающей опасности страной или скорее с ее невозможными руководителями, которым она попала в руки, как врачи с больным: с величайшим снисхождением и осторожностью, с неисчерпаемым, пусть не совсем почетным терпением; те же думают, что должны вести против них "политику", политику силы и гегемонии. Это неравная

игра. Если один ведет "политику", когда другие уже о ней не думают, а думают *о мире*, то он получает временно известные преимущества. Не соответствующее сегодняшнему времени незнание того, что война более не дозволена, приносит, само собой разумеется, первое время "успехи"; те, кто знают, что война не дозволена, оказываются в проигрыше. Но горе народу, который, не зная, куда податься, искал бы в конце концов выход в ненавистных Богу ужасах войны. Этот народ пропал бы. Он будет побежден так сокрушительно, что никогда больше не поднимется.

Смысл и цель национал-социалистической государственной системы только один и может быть только таким: беспощадным устранением, подавлением, истреблением любого порыва к сопротивлению довести немецкий народ до готовности к "надвигающейся войне", превратить его в безгранично покорный, не тронутый никакими критическими мыслями, скованный слепым фанатичным незнанием инструмент войны. Другого смысла и другой цели, другого оправдания у этой системы быть не может. Все жертвы свободой, правом, человеческим счастьем, включая тайные и открытые преступления, которые она, не раздумывая, взяла на себя, оправдываются только идеей насущной необходимости подготовить народ для войны. Как только идея войны исчезнет, перестанет быть самоцелью, от всего этого не останется ничего, кроме величайшей жестокости по отношению к человечеству — все станет совершенно бессмысленным и ненужным.

Скажу Вам правду: это и есть бессмысленное и ненужное и не только потому, что, даже принимая во внимание ее главную идею — абсолютной и "тотальной" подготовки народа для ведения войны, это вызывает обратное ее стремлениям. Этот народ менее, чем любой другой, готов, способен выдержать войну. У него не будет ни одного союзника

— это первое, но наименее страшное. Германия будет одинока, в отчаянье осознавая свое одиночество; именно это было бы еще страшнее, ибо она потеряла бы самое себя. В бедственном духовном состоянии, униженная, нравственно опустошенная, внутренне разобщенная, глубоко не доверяя своим вождям и всему, что они в течение лет с ней проделали, страхась самой себя, хотя и не зная себя, но полная мрачных предчувствий, начнет она эту войну (не в том состоянии, в каком она была в 1914 году, а даже физически на уровне 1917, 1918 года). Десяти процентов — тех, кто наживается на системе, но и они уже наполовину от нее отпадут, — не хватит, чтобы выиграть войну, в которой большинство других видело бы только возможность сбросить позорный гнет, так долго давивший на них, — то есть войну, которая после первого поражения превратилась бы в гражданскую.

Нет, эта война невозможна. Германия не может вести ее, и если ее властители не совсем потеряли разум, то их уверения в миролюбии — не то, в чем они хотели бы, подмаргивая, уверить своих сторонников: разговоры о миролюбии, мол, тактическая ложь. В действительности ложь эта от боязливости понимания именно этой невозможности. Если война не может и не должна разыгаться — к чему тогда разбойники и убийцы? Ради чего тогда оказываться в изоляции, осуждать себя на враждебность мира, ради чего бесправие, духовное оскудение, закат культуры и нужда во всем? Разве не лучше возвращение Германии в Европу, ее примирение с ней, ее свободное, приветствуемое ликованием и колокольным звоном во всех странах включение в европейскую систему мира со всем ее внутренним арсеналом — свободой, правом, благосостоянием и человеческой порядочностью? Почему не это? Только потому, что режим, попирающий словом и делом права человека, режим, единственное желание которого оставаться у вла-

сти, придет к отрицанию и ликвидации самого себя, если, не будучи в состоянии вести войну, действительно пойдет по пути мира? Но разве это тоже причина?

Я действительно забыл, господин декан, что все еще обращаюсь к Вам. Конечно, я могу утешить себя — Вы уже давно перестали читать мое письмо, в ужасе от речей, от которых в Германии вот уже несколько лет как отвыкли, в ужасе, что кто-то дерзнул свободно, как раньше, пользоваться немецким словом. Ах, я говорил не из дерзкого высокомерия, а в заботе и мучении, от которых захватившие власть не могли меня освободить, когда распорядились, что я больше не немец, от душевной и духовной беды, не покидающих меня ни на час все эти четыре года; им я противопоставлял день за днем мой художнический труд. Огромно бедствие. И как тот человек, который из религиозного пиетета обычно лишь с трудом произносит или выписывает пером имя Всевышнего, но в минуту глубокого потрясения оно все же срывается с его уст, так и я — всего не скажешь — хочу закончить мой ответ на Ваше сообщение короткой молитвой: помоги, Боже, окутанной мраком, управляемой злом стране и научи ее прийти к миру с миром и с самой собой.

Томас Манн

ЭРИКЕ МАНН*
[телеграмма]

Кюснахт-Цюрих, 9.3.1937

[...] Сердечно поздравляю тебя с речью перед Американским Еврейским Конгрессом⁵⁸. Ты говоришь там от своего имени, а также и от моего, как моя дочь и дитя моего духа. Это прекрасная возможность выступить в защиту Добра и Права за свободу против насилия и лжи, которые сегодня

кажутся столь победительными и обольщают многих. Ты обращаешься к американцам и можешь сказать им, что весь мир смотрит на великую Америку, страну Линкольна*, Уитмена* и Франклина Рузвельта*, верит в ее миссию — возглавить человечество на пути в будущее, к миру и социальной справедливости.

К ПРОБЛЕМЕ АНТИСЕМИТИЗМА⁵⁹

Дамы и господа, разрешите в начале моего выступления сказать вам о том удовольствии, с которым я принял приглашение клуба "Кадима"⁶⁰ прочесть отрывки из моего романа⁶¹ и рассказать о нем, а также выразить мое особое удовлетворение возможностью именно сегодня говорить перед исключительно или почти исключительно еврейской публикой. Я говорю "именно сегодня"; когда подобная ситуация была для меня не столь важна, я сделал бы это, очевидно, не так сознательно. Сегодня в этом есть нечто демонстративное; этим выступлением перед вами я заявляю о моей позиции: я защищаю находящиеся под угрозой и безудержно пренебрегаемые идейные ценности, возможность пользоваться которыми, оставаться им верными, мы, христиане, "арийцы" или просто люди нееврейского происхождения, ни в коем случае не должны отдавать только евреям. Я во всяком случае не готов это делать, ибо в сущности речь идет о свободе и человечности [...].

Среди неверных и злобных реакций этого времени на страдания, среди негодных паллиативов, которыми оно пользуется для облегчения, для неприемлемо глупого *объяснения* своих бед и страхов, самым распространенным, любимым и популярным является антисемитизм — еще одно основание, так я думаю, для человека духа самым решительным образом ему противостоять. Потребность

времени искать и находить для своих недугов, своих преходящих несчастий и критических затруднений *виноватого*, посылать козла отпущения в пустыню ненависти и диффамации; делать из него пугало, изображая гнусным и неполноценным, дабы чувствовать себя, может быть, немножко сильнее, лучше, даже благороднее, — эта потребность свойственна людям. Но слова "свойственна людям" не должны означать желание прикрывать глупость, слабость, несправедливость, ибо то, что мы называем "свойственным людям", часто есть пошлое, низкое, недостойное человека, и это надо отвергнуть, этому надо противостоять. Антисемитизм — принадлежность всех сегодняшних темных, путаных, в большой степени зверских "человеческих качеств", следствие тех мистических представлений, в плену которых находятся массы, антисемитизм — их лозунг. Антисемитизм — не мысль, не слово, у него нет человеческого голоса, он — рев. А рев не подхватывает требовательно относящийся к себе человек духа; он ждет, пока этот рев на секунду замолкнет, и говорит в тишину свое "нет".

Это "нет", которое, конечно, не означает "да" всему и всякого рода еврейству, это "нет" — выражение естественного и необходимого духовного отграничения, которое не имеет ничего общего со спесью и от которого человек духа не отказывается, — в противном случае он обесчестит себя и обесценит жизнь. Мы в Германии испытали, к какой духовной нищете это приводит, когда интеллектуалы, ученые, писатели, мыслители — из ложного стремления к единению с народом, путая народ и толпу, опустились до черни и унизились до духовной поддержки ее лозунгов. Они обесчестили себя и заслужили жалкую роль, которую теперь играют под каблуком черни. Свойственные черни качества не могут быть облагорожены с помощью предавшего себя духа: происходит обратное — дух

унижает себя и оказывается в рабстве. Этому учит опыт.

Аристократизм духа — необходимость, и он гораздо более правомерен, чем жалкое стремление быть аристократом, которое, в частности, проявляется в антисемитизме. Кто-то метко назвал фашизм социализмом дураков. Так вот, антисемитизм — аристократизм черни. Его можно свести к очень простой формуле: "Я хоть и никто, но я не еврей!". Дурак верит, что он действительно что-то из себя представляет.

Я повторяю: в сегодняшних условиях выступление перед вами приобретает в моих собственных глазах характер заявления о моей позиции: я заявляю о моем давнем, глубоком неприятии антисемитского высокомерия, неприятии, которое усилилось, превратившись в отвращение, в той мере, в какой дурные инстинкты, раньше всегда находившиеся под корректирующим давлением хороших обычаев, взяли верх, стали официально признанными и получили возможность беспрепятственно осуществлять свои гнусные намерения. Это вызывает возмущение каждого, кто знает, какие заслуги — в области исследования и творчества — имеют немецкие евреи перед культурой страны, которая их приняла и которая является для них родной страной точно так же, как и для других немцев. Это особенно возмущает немецкого писателя, который на собственном опыте убедился, какое облегчение, развитие, благодеяние для литературных стремлений означает принципиально важное участие еврейской части населения Германии в немецкой культуре. Евреев называют "народом книги". Слово "книга" — символ понимания, восприимчивости, душевной зрелости, опыта страданий, любви к духовности, и потому понятна благодарность, которую должен питать литератор к евреям именно в Германии [...].

Немец, воспитанный на Гёте, для которого, по

словам его учителя, "имеет значение только вопрос "культура или варварство", не может быть антисемитом, он должен отказаться от какого бы то ни было участия в этом низменном народном развлечении, ибо чувствует, что это вопрос его мировоззрения, его основ, христианско-античного фундамента западной цивилизации вместе со всем тем, что связано с европейской идеей и любовью и что от этого зависит: идеи свободы, истины, права и человечности. В более благополучные времена эти идеи теряют свой пафос, и дух, уверенный в своем бессмертии, может над ними иронизировать. Но в такое неблагоприятное время, как сегодняшнее, во время, можно сказать, войны, они вновь приобретают всю свою требовательную и решающую, жизненно важную значимость. Их надо признать или отвергнуть, и тот, кто их отвергает, по моему убеждению, потерянный духовно и душевно человек...

Дело не только в том вкладе, который внесли евреи в духовное становление Европы и который столь же велик, как вклад греков, и, на мой взгляд, совершенно исключает всякий антисемитизм. Прибавим к этому благодарность, признание важности, необходимости существования еврейского духа для современности и для будущего нашего континента.

Задача евреев, их судьба и назначение не могут считаться исполненными, исчерпанными, их необычайная выносливость тому порукой. То, что они уже давно не погибли, что они все еще существуют — а им уготована нелегкая жизнь, — заставляет меня или дает мне право верить, что они еще нужны жизни, что они сохранены, с их особыми талантами, прежде всего их даром понимания, — чтобы добавить миру мудрости. Я всегда воспринимал как фантастическую особенность тот факт, что этот упрямо сохранившийся народ, соединяющий в себе современность с самой глубокой древностью, европейство и свое происхождение

из Передней Азии, народ, многократно смешивавшийся с туземным и растворенный в нем, тем не менее в большей своей части оставался совершенно чистым, все еще существует среди нас, смотрит темными и мудрыми глазами прошлого в наш мир, со своим воспитанным тысячелетиями, унаследованным кровью всепониманием, со своим опытом страданий, своей выдержавшей испытания духовностью и ироническим умом — скрыто корректирует наши страсти. Его существование так и воспринимается. И всегда, когда в Европе вспыхивает антисемитизм, это означает, что народы чувствуют себя пристыженными еврейским духом из-за своих дурных страстей, из-за того, что творят зло, — собираются затеять войны — вместо того, чтобы поступать честно, справедливо, как того требуют разум и необходимость. И тогда евреи должны страдать [...]. Они будут страдать и жить, и можно быть уверенным, что их мощному жизненному импульсу, их врожденному социализму предназначено сыграть важную роль в строительстве нового, медленно, в борьбе побеждающего кризис человеческого мира. [...]

РЕЧЬ О НЕОБХОДИМОСТИ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДУ⁶²

Уважаемые дамы и господа!

Если я пользуюсь и этой возможностью открыто заявить о моей приверженности идее человеческой свободы и о необходимости противопоставить враждебным тенденциям времени, которые обобщают политическим именем фашизма, "нет", "нет" человека, почитающего дух, *писателя*, то вы не должны считать, что такому человеку привычно и естественно выступать в роли оратора. Наоборот, таким, как я, нужно в известной мере преодолеть себя, прежде чем покинуть тишину

кабинета и с трибуны вслух призвать к защите находящихся под угрозой ценностей. Каждый духовный человек находится сегодня, можно сказать, в горьком и парадоксальном положении Гамлета, молодого принца-интеллектуала, воскликнувшего в отчаянье: "Век расшатался, а скверней всего, что я рожден восстановить его!"⁶³.

Нет сомнений, что существует противоречие между свойственными поэту и мечтателю отчужденностью от мира, скепсисом и боевой задачей, которую навязывает ему действительность, к которой она его призывает. Но сегодня этот призыв, это требование мне и таким, как я, невозможно не слышать. Не думаю, что у нас есть право из эгоизма уклониться от него — тогда мы не выполнили бы своего долга.

Можно понять, что Добро, Истина и Справедливость легковерно уповают на свою несомненную победу и считают поэтому ненужным активно ей содействовать в убеждении, что Дурное и Ложное само быстро доведет себя *ad absurdum*. Однако в этом оптимистическом спокойствии, как мы слишком болезненно в том убедились, таится большая опасность для Добра. Мы убедились в том, насколько неправильным было предоставить поле для наступления одним только силам зла и насилия, разрешить им использовать средства современной пропаганды для своей враждебной людям выгоды. Положение в мире требует, чтобы дух, вопреки присущей ему доброжелательности и невозмутимости, научился бороться и защищать себя. Это — урок последних десятилетий, и не сделать вывода из страшных событий этих лет — значит ничему не научиться.

Прошу вас, уважаемые дамы и господа, правильно понять меня: порицая беспечный оптимизм духа в прошлом, я не считаю неправомерным оптимизм вообще. Напротив, по моему мнению, у всех нас сегодня гораздо больше оснований для надежды

и веселости, чем еще несколько лет назад. Сегодня жизнь шагает быстро, и ситуация в мире, как я ее ощущаю, изменилась в последние годы в материальном и духовном отношении скорее в нашу пользу.

Два факта дают нам право на такое утверждение и дают повод считать обоснованной надежду на будущее. Первый: слишком формальный и теоретический пацифизм, который исповедывала партия свободы и мира и который сыграл на руку сторонникам насилия, помог им одержать с помощью запугивания и саботажа легкие победы, уже признан недействительным. Сегодня осознали, что державы мира должны быть сильными, чтобы обуздать власть насилия, которая не знает ничего кроме насилия. Опасения, что демократические державы утратили способность физически защищать свои идеалы, не подтверждаются, и это приносит удовлетворение и успокоение. Дух мира решает противопоставить духу войны свои собственные средства, и мы можем утверждать, что уже сегодня военное преимущество на стороне демократий, и что враги мира, возможно, уже упустили свой шанс.

Другое благоприятное наблюдение: похоже, что в духовной сфере мода на фашизм, достигнув широкого распространения, идет на спад. Несомненно, у фашизма есть также и свои духовные корни. Он был подготовлен к философской сфере, и восприимчивость к его учению можно было ясно распознать не только в среде немецкой молодежи, но и во всем мире. Однако, если факты нас не обманывают, то чары этого учения начинают рассеиваться. Можно сказать, что молодежь мира сегодня в своем преобладающем большинстве, прежде всего ее лучшая часть, снова стоит на левом фланге. Это, в сущности, естественно для молодежи, и только затуманивающее мозги воздействие псевдореволюционных лозунгов могло на время извратить это естественное положение. Нам возразят, что

эти изменения не окажут практического влияния, ибо в странах с диктаторским режимом, в частности, в Германии в результате односторонней обработки, которой с железной последовательностью подвергается молодежь в корыстном государстве, должно вырасти поколение, которому недоступны высокие и свободные идеи. Но и в этом случае я не считаю неоправданным, розовым оптимизмом веру в противоположные, здоровые силы и в способность к интеллектуальной критике со стороны немецкой молодежи, народа со столь великой духовной и культурной традицией. Я имею в виду не только молодежь, но и вообще немецкий народ. По-моему, миру не следует терять веру в его высокие достоинства.

Правда, этот народ четыре года назад под влиянием особо неблагоприятных обстоятельств бросился в объятия силам, в высшей степени недостойным руководить им и представлять его в мире. Но, судя по всему, что мы знаем, среди огромной части немецкого народа весьма сильны сегодня чувства раскаянья, разочарования, стыда. За эти четыре года немецкий народ узнал, какой неотъемлемой ценностью для человеческой души является свобода, и тоска по духовной, религиозной, а также экономической свободе вселяет уверенность в том, что еще рано выносить Германии окончательный приговор, и что страна Гёте готова снова обрести свой лучший и более высокий образ. Меня охватывает глубокое волнение всякий раз, когда я слышу, что во время представления шиллеровского "Дон Карлоса" в немецких театрах после слов маркиза Позы: "Государь, о дайте людям свободу мысли!" раздаются оглушительные аплодисменты. Эти отнюдь не безопасные демонстрации — ведь они носят явно политический характер — потому так трогают меня, что в этом случае народ пользуется словом поэта, дабы спасти перед миром свою духовную честь и заявить, что он

не хочет быть рабом. Национал-социалистическая авантюра — жестокая школа для немецкого народа, но такая, смеем мы надеяться, пройдя которую, он достигнет более высокой ступени своей политической и социальной зрелости.

Придет день, когда он захочет быть свободным, как и надлежит великому народу, и разорвет путы, сковывающие сегодня его дух. Свобода будет, несомненно, основным принципом его будущей социальной и политической конституции, но такая свобода, которая извлекла уроки из горького опыта и не допустит, чтобы враги еще раз захватили ее врасплох. Эти слова заключают ход моей мысли, и я связываю их со сказанным вначале: свобода должна быть сильной, она должна верить в себя и в свое право защищать себя. Это должна быть мужественная свобода, ее дух не даст склонить себя немощному сомнению в своем праве существовать на земле и сумеет воспротивиться коварству, если оно когда-либо еще вознамерится злоупотребить свободой, чтобы ее убить.

Вокруг такого принципа свободы могут сплотиться все, кто желает в наше время добра Германии. Нам хорошо известны различия, которые еще сегодня мешают объединению врагов национал-социализма, но если мы не обманываемся, то страшная опасность, угрожающая немецкому духу и не только ему, но и всей Европе, заставит нас найти объединяющий путь и сгладит все различия. Ибо всем нам должно быть ясно, что только так, через единение, отодвинув в сторону все не такие уж существенные противоречия, Германия может быть возвращена Европе, миру и своему собственному доброму гению.

ИЗ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ К №1 ЖУРНАЛА "МАС УНД ВЕРТ"⁶⁴

[...] Мы хотим быть художниками и антиварварами, почитать меру, защищать ценности, любить Свободное и Смелое и презирать Обывательское и грязный образ мыслей, — более всего и глубже всего презирать это все там, где оно, вульгарно и лживо, принимает вид революции. Мы весьма далеки от мнения некоторых социал-интеллектуалов, будто искусство отыграло свою роль на земле, будто его художественная ненужность доказана; будто оно лишь изображает данное и не в состоянии ничего изменить, будто по своей эстетской сути оно лишь отвлекает от борьбы и долга.

Мы же верим, что искусство как образ мыслей и человеческая позиция никогда не было более способно подавать пример, оказывать помощь, более того — спасать, чем именно сегодня.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

19.10.1937

[...] В журнале "Цейтшриффт фюр социалфоршунг" рецензия на книгу Ясперса* о Ницше⁶⁵. Ницше о немцах: "Народ во власти духа и нравственных идей такого человека, как Лютер". Нет, Гитлер не случайность, не несвойственное складу этого народа несчастье, не промах истории. От него падает "свет" на Лютера, многие черты Лютера можно узнать в нем. Он — явление чисто немецкое.

20.10.37

[...] Новая разнузданная кампания против Чехословакии в выражениях, которые следует применить к ним самим, — как всегда. "Ложь", "насилие", "грубость", "безнравственность" — все это их методы, этих негодяев, а они приписывают их другим.

ОБРАЩЕНИЕ К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЗАЩИТУ ПРАВА И СВОБОДЫ В ГЕРМАНИИ⁶⁶

Следует от всего сердца выразить благодарность тем, кто не перестал верить, что существует *совесть* мира, к которой можно обратиться и побудить выступить с решительным протестом против губительного для людей зла тоталитарного государства. Нужно быть тем более благодарным за такую действенную веру, ибо сегодняшняя действительность приносит нам разочаровывающий опыт, нам приходится убеждаться, как мир, — что чревато опасностью и для него, — старается примириться и приспособиться к моральной порочности так называемой Третьей империи, словно это государство, как все другие. Несмотря на все хвастливое равнодушие нацистов ко мнению заграницы, может быть, есть еще возможность помочь несчастным, которых все больше томится в немецких концлагерях, помочь решительным протестом, поддержанным лучшими людьми всех стран. Так позвольте надеяться, что эта поддержка будет вам оказана, и разрешите мне пожелать, чтобы призыв, с которым обращается ваша конференция, нашел широкий и действенный отклик.

ИЗ ДОКЛАДА "ВАГНЕР И 'КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ'"⁶⁷

Только пра-поэзия, первоначальное и простейшее, до-традиционное и пред-социальное господствует в мире Вагнера и его творениях, только это по его убеждению вообще должно воплощать искусство. Его музыкальные драмы — это немецкий вклад в монументальное искусство девятнадцатого века, в то время, как у других наций оно

выступает преимущественно в жанре большого социального романа. Диккенс, Теккерей, Толстой, Достоевский, Бальзак, Золя — их произведения с той же склонностью к морализированию — *европейский* девятнадцатый век, социальный мир в изображении подвергающей его критике литературы. Они достигают в этом величия. Немецкий вклад, немецкая форма проявления этого величия не знает ничего о социальном и не хочет о нем знать, ибо в социальном не содержится музыки и вообще оно не способно создать искусство. Лишь миф о чисто человеческом, не связанный ни с историей, ни с временем, есть искусство, есть изначально присущая природе и сердцу поэзия. Поэзия — прибежище от общественного, средство очищения его от испорченности, она — та почва, что питает немецкий дух, который создает, наверно, самое возвышенное, самое необходимое, что может предложить столетие. Несоциальное, изначально поэтическое — это и есть собственно миф, его типическая, присущая ему изначально национальная природа, которая отличает Вагнера от других европейских умов, представляющих ту или иную нацию.

Между Золя и, скажем, Вагнером, между символическим натурализмом романов о Ругон-Маккарах⁶⁸ и искусством Вагнера есть много общего, обусловленного временем, я имею в виду не только "лейтмотив". Но главное и характерное типическое различие, национальная разница — социальная направленность французского и мифологический, изначально поэтический дух немецкого произведения. На непростой вопрос "что есть немецкое", наверно, самый убедительный ответ — констатация этого различия. Немецкий дух по существу своему вовсе не интересуется социальным и политическим, а произведение искусства глубже всего проникает в сущность (его можно считать мериллом). Социальной сфере оно чуждо. Отнюдь не следует оценивать это как нечто только от-

рицательное, но, если хотите, можно говорить о вакууме, недостатке; и действительно, в те времена, когда доминирует социальная проблематика, когда идея социального и экономического уравнивания, более справедливого экономического строя воспринимается каждым чутким к общественной атмосфере наблюдателем как самая животрепещущая и нравственная задача, — при таких обстоятельствах это так часто плодотворное отсутствие интереса выступает как качество отнюдь не позитивное и приводит к дисгармонии с волей мирового духа. Перед лицом проблем нашего времени оно ведет к попыткам решения, которые представляют собой уклонение от решения и несут на себе печать мифологических суррогатов действительно социального. Нетрудно распознать в сегодняшнем государственном и общественном эксперименте подобный мифологический суррогат. В переводе с политической терминологии на психологическую сегодняшний лозунг означает: я вообще не хочу социального, я хочу народную сказку. Но дело в том, что в области политической сказка становится ложью.

Если в начале доклада я говорил о злоупотреблении, которому подвергается такое великое явление, как Вагнер, то знал, что должен буду вернуться к этому, ибо мне кажется невозможным говорить сегодня о Вагнере и не высказать возражения против такого злоупотребления. Вагнер как художественный пророк политической действительности, которая, как считают, нашла в нем свое отражение⁶⁹. Что ж, не один пророк с ужасом отвернулся от своего осуществленного возвещения и предпочел искать себе могилу на чужбине, лишь бы не быть похороненным в месте, где оно таким образом осуществилось. Но мы погрешили бы против лучшего в нас, против нашего восхищения Вагнером, если бы допустили, что здесь вообще может идти речь о воплощении в жизнь его меч-

таний, даже в виде карикатуры. Народ и меч и нордическая героика — это в известных устах лишь подлое, гнусное заимствование из вагнеровского художественного словаря. Создатель "Кольца" со своим опьяненным прошлым и будущим искусством отринул век бюргерского образования не для того, чтобы променять его на убивающую дух государственную тоталитарность. Немецкий дух был для него всем, немецкое государство — ничем... [...].

ПОСЛАНИЕ ХУДОЖНИКАМ АМЕРИКИ⁷⁰

Дорогие друзья,

разрешите мне назвать вас дорогими друзьями, ибо к такому обращению побудили меня слова, которыми вы определяете смысл и цель вашего конгресса. Вы говорите в своем письме, что созыв этого конгресса — результат понимания ответственности, которая лежит на художнике, его обязанности открыто и активно выступить против разрушительных сил, угрожающих демократии и культуре, то есть сил и тенденций, называть которые нет нужды. Разрешите сказать вам, что я полностью, всем сердцем согласен с этим убеждением. Меня радует, что я одного мнения с вами. Посылая вашему конгрессу сердечные пожелания успешной работы, я не приписываю себе некую представительскую роль, я делаю это по собственной инициативе, от своего имени. Мнение, что в наши дни Духовное и Культурное неотделимо от Политического и что в сегодняшней ситуации речь идет о проблеме человека и гуманности в ее целостности, что перед лицом этого факта человек должен занять определенную позицию, заявить о своей к ней приверженности, эта вера давно руководит моей жизнью и моими мыслями, и она часто подвергалась нападкам или порицанию из более

или менее честных побуждений. Говорят, пусть художник занимается своим делом, он роняет себя, если "опускается до политической арены", принимает участие в происходящем на его глазах противоборстве политических сил. Я считаю такое мнение необоснованным — из убеждения, или, скорее, четкого осознания неразделимости сфер Человеческого — будь то искусство, культура или политика. И потому меня не может не радовать, что художники такой великой и столь важной для цивилизации страны, как Соединенные Штаты, разделяют мое убеждение и созывают конгресс, который от имени искусства хочет выступить против варварских тенденций, угрожающих сегодня всему, что мы понимаем под нравственностью и культурой и что мы любим. Моя дочь передаст эти мои слова, и пусть она добавит, что в дни работы конгресса я мысленно среди вас.

ГОСПОДИНУ КИНБЕРГЕРУ*

Кюснахт-Цюрих, 23.12.1937

Многоуважаемый господин доктор Кинбергер, Ваше дружеское расположение ко мне лично обязывает меня, несмотря на Ваш резкий отзыв о журнале⁷¹ и его сотрудниках, вежливо поблагодарить Вас за Ваше письмо.

Я прекрасно понимаю, что у такого нейтрального, внутренне спокойного наблюдателя, как Вы, всякое подобие борьбы, партийности, страсти сразу вызывает раздражение и отвращение. И все же мне кажется, что о Вашем соотечественнике Конраде Фальке*, который, кстати сказать, не является выдворенным евреем, и о Дёблине*, его, правда, можно назвать выдворенным евреем, но ведь это большой романист и оригинальный мыслитель — Вам не следовало бы говорить так, как Вы говорите. Вы плохо знаете творчество Дёблина, если пишете,

что он "делает первые шаги в философии". [...]

Но плохо Вы знаете и меня, если, восхищаясь эстетической стороной моего творчества, пренебрегаете нравственными его предпосылками, без которых оно немислимо, и считаете меня способным отречься от них из снобизма в такое время, как наше, когда дело идет не о "парламентаризме", а о человеке и его духовной чести. Я открыто прошу избавить меня от всякого почитания, не видящего и не учитывающего органической связи между всем, что я делаю как художник, и нынешней моей позицией борьбы против Третьей империи [...].

(Печатается по: Т. Манн. Письма. М., "Наука", 1975, стр. 93. Перевод С. Анта.)

ИЗ ДНЕВНИКОВ

20.3.1938

[...] Читал газеты. Взялись за Чехословакию. Требование разорвать союз с русскими и присоединиться к Германии. Иначе и не могло произойти. Глупцы, кто не видел, что если нацистов допустили захватить Австрию⁷², то сдержать их больше нельзя. Великая стомиллионная германская империя будет насильственно создана. Какое торжество Его величества насилия! Какие последствия для европейской мысли! Но опять же, какую роль будут играть немцы в мире перед лицом цивилизации! Ни сердца, ни головы, ни воли на другой стороне, никого, кто хотя бы нашел сильное и правильное слово. Страшнейшая деморализация, порожденная Германией, ожесточенная бомбардировка Барселоны немецкими и итальянскими самолетами⁷³, омерзительный эффект новой немецкой бризантной бомбы⁷⁴. После принятия Литвой польского ультиматума еврейские погромы в Варшаве, учиненные разочарованной чернью.

22.3.1938

[...] Потрясен известиями о политических событиях, которые мы из-за недостаточной информации получаем только в самом сокращенном виде. В Вене ужасно. Фрейд*⁷⁵. Фриделл* выбросился из окна. Массовые аресты среди аристократии, истязания, подлый и трусливый садизм — у них это норма. Арест дочери Бруно Вальтера*. При этом совершенно ясно, что Англия сговаривается с Гитлером. Польша и Литва мешают России прийти на помощь Чехословакии. Англия явно предала Чехословакию в обмен на отказ Германии от колоний, которые "при размере территории" больше не нужны. Сверхмощная и экономически обеспеченная Великая Германия. Так она должна была возникнуть.

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К СБОРНИКУ "ИСПАНИЯ"⁷⁶

Демократия осуществлена сегодня в такой степени, является фактом внутренней жизни в том смысле, что политика стала делом каждого, никто не может стоять от нее в стороне, ибо она самым непосредственным образом — чего не знали в прежние времена — касается каждого. Не правда ли, человек, который сегодня заявляет, а это можно услышать: "Мне нет дела до политики", кажется нам пошлым; мы считаем его высказывания не только эгоистичными и далекими от сегодняшней ситуации, но и слепым, дезориентирующим самообманом, к тому же глупым. Такое мнение свидетельствует не столько об интеллектуальном, сколько о моральном невежестве. Политическое и социальное осознается как неотторжимая область общечеловеческого, игнорировать которую невозможно. Это часть гуманистической проблемы, часть гуманистической задачи, которой никто не может пренеб-

речь без того, чтобы самым жалким образом не потерпеть неудачу в том общечеловеческом, которое такой человек хотел бы противопоставить политическому как более существенное и решающее.

Да, это есть существенное и решающее. В сфере политической перед нами с опасной для жизни серьезностью поставлена сегодня проблема самого человека, и именно писателю, которому природой и судьбой определен самый опасный пост человечества, разве позволено укрываться от решения?

Если я говорю об опасной для жизни серьезности, с которой поставлен в наши дни вопрос об убеждениях, то хочу сказать этим, что для каждого человека, а в особенности для писателя, речь идет о его духовном спасении — не побоимся религиозного слова — о спасении души. Я убежден, что писатель, который отказывается влиять на убеждения людей, отворачивается от проблемы человека, поставленной в политическом плане, и предаст дело духа во имя интереса — человек духовно потерянный. Он кончится как писатель, не только теряя свой "талант" и не будучи в состоянии создать ничего пригодного для жизни, но даже его прежние творения — из того времени, когда на нем не лежала эта вина, и которые когда-то были хорошими — перестанут быть хорошими и рассыпятся в пыль в глазах человечества. Это моя вера.

О ГРЯДУЩЕЙ ПОБЕДЕ ДЕМОКРАТИИ⁷⁷

Уважаемые дамы и господа, выражение "везти сов в Афины" — из немецкого, оно вошло в язык благодаря гуманистам и означает предпринимать совершенно лишние усилия, отправлять вещь туда, где таких вещей и без того полным-полно. Так как сова была священной птицей Афин, то там было очень много сов, и кто посчитал бы необходимым

привезти их туда еще, того бы высмеяли.

Я кажусь себе немножко человеком, который везет сов в Афины, ибо собираюсь говорить в Америке о демократии. Это выглядит так, словно я не знаю, что нахожусь в классической стране демократии, где образ мыслей и состояние общества, которые обозначают этим именем, давно укоренены, являются господствующим убеждением, вошли в плоть и кровь каждого, короче говоря, вещь сама собой разумеющаяся; американец не нуждается в том, чтобы его учили демократии, уж во всяком случае не европейцу следует его учить. Наоборот, что такое демократия — этому во многом Европа должна учиться у Америки; американские государственные деятели и поэты, такие, как Линкольн и Уитмен, прославили в мире демократическое мышление и чувство демократии, демократическую человечность *aere perennius* /крепче меди — *лат.*/ и, что касается Уитмена, то земля, пожалуй, не знает другого такого мастера слова, который сумел воспеть демократический принцип общественной жизни, придать ему содержание в столь восторженных песнопениях, чудесным образом сочетающих в себе дух и плоть.

Нет, Америка не нуждается в наставлениях по части демократии. Но одно дело наставление, другое — напоминание, призыв к размышлению, проверке, осознанию духовного и нравственного достояния, считать которое гарантированным и на этом успокоиться было бы опасным. Нет такой собственности, что переносит небрежение. Даже вещи умирают, погибают, пропадают, когда о них не заботятся, когда они более не чувствуют глаза и руки владельца и он не следит за ними, потому что ему ошибочно кажется, будто они навечно ему принадлежат. Что касается того, что демократия — вещь сама собой разумеющаяся, то во всем мире это стало сомнительным, — также и в Америке, поскольку Америка в области культуры принадлежит

к территории Запада и причастна к его внутренней судьбе, к его взлетам и падениям, его духовной и внутренней жизни. Она не может изолироваться от этого. То, что демократия сегодня отнюдь не является достоянием прочно гарантированным, что ей серьезно угрожают — изнутри и извне, что она снова стала *проблемой*, это чувствует и Америка. Она чувствует, что для демократии пришел час, когда ей пора осознать себя, напомнить о себе, заговорить о себе, одним словом, пришел час для ее *обновления* в мыслях и чувствах, ибо преимущество, которым обладают враждебные ей тенденции — или считают, что обладают им — это прежде всего привлекательность новизны, к которой человечество во все времена было чрезвычайно восприимчиво; что и говорил Цезарь о старых галлах: они *поvagum regum cupidi* — жадны до новых вещей; в общем и целом это справедливо для всего человечества — по причинам, которыми легко объяснить пессимистически-сочувственный взгляд на его судьбу. Так уж обстоит дело с человеком, что ни в каком положении и ни при каких условиях он не чувствует себя вполне комфортабельно на земле, никакой строй жизни не кажется ему справедливым и вполне ему не подходит. Почему так, почему именно этому существу досталось всегда испытывать на земле неудовлетворенность, недовольство и страдания — это тайна, возможно, для человека почетная, но и мучительная; во всяком случае следствие ее — стремление человека в малом и большом к переменам, изменениям, чему-то *новому*, потому что он ждет от этого улучшения и облегчения своего всегда наполовину горестного состояния.

Я повторяю: главная сила, истинная соблазнительная сила идей и тенденций, которые угрожают сегодня демократии и превращают ее позицию в проблематичную — привлекательность их новизны. На этом они играют, этим хвастают, их революционные пассы, их демагогическая ставка на

моложавость, крикливое восхваление будущности должны подкупать молодежь мира и нередко подкупают ее, по крайней мере в Европе. По моему мнению, поддавшаяся этому соблазну молодежь обманута — я хочу сказать это сразу. По моему мнению, революционная будущность и рассветная заря этих тенденций — фашистских, ясно, что я имею в виду фашистские тенденции — сплошное надувательство; не только в этом пункте, но, в частности, в этом также; по сути своей это такая ложь, что честная молодежь во всем мире должна стыдиться участвовать в ней. Следует добавить, что восприимчивость ко лжи отнюдь не вопрос возраста. Совершенно неверно было бы утверждать, будто старые люди именно потому, что они принадлежат другому времени и не могут шагать в ногу с юностью, не затронуты этим или не защищены от этого, и предоставить эти свеженькие идеи, называемые фашизмом, в распоряжение молодежи. Например, мой знаменитый коллега Кнут Гамсун* в Норвегии, уже очень старый человек, — ярый фашист. Он агитирует за эту партию в своей собственной стране и не преминул обрушиться с поношениями и руганью на всемирно известного пацифиста Карла Осецкого, жертву немецкого фашизма. Это поведение не старика, сердце которого осталось удивительно молодым, а писателя поколения 1870 года, на чье творческое становление решающее влияние оказали Достоевский и Ницше, и который, в свое время отступившись от либерализма, не понимает того, что происходит сегодня, не замечает, что своим политическим — я скажу человеческим — поведением безнадежно компрометирует свой поэтический гений. С другой стороны, следует отметить, что значительная часть молодежи во всем мире, в Европе и особенно в Америке, можно сказать, пожалуй, большинство, ничего не хочет знать о том, что называют фашистскими идеями, и духовно и даже физически

борется за совершенно противоположные идеалы. Не подлежит сомнению, что подверженность фашистским миазмам не имеет ничего общего со старостью или молодостью, она скорее вопрос интеллекта, характера, понимания истины, человеческого чувства, короче, здесь решают качества, свойственные или не свойственные как старости, так и молодости, и поэтому они отнюдь не доказывают, что фашизм представляет собой революционную будущность.

Тем не менее фашизм, его кричащая пропаганда, он-де олицетворяет собой будущность, его рекламные трюки с целью изобразить демократию одряхлевшей, загнившей, изжившей себя, затхлой и нестерпимо скучной, себя же — в высшей степени веселым, полным жизни и устремленным в будущее — добился всем нам известных успехов. Он велик и хитер в использовании человеческих слабостей и этим потворствует болезненной потребности человечества в новизне, о которой мы говорили. Необходимо, считаю я, чтобы демократия противопоставила этой фашистской спекуляции осознание своих сил и возможностей, которое способно возбудить такое же, нет, гораздо более высокое восхищение новизной, чем то, что пытается вызвать фашизм; необходимо, чтобы демократия отбросила скромность и [...] осознав самое себя, обновилась и омолодилась. Невозможно переоценить ее живительные источники, ее ресурсы молодости: действительно, юношеский задор фашизма по сравнению с ними не более, чем гримаса. Фашизм — дитя, гнусное дитя *времени* и из этого времени черпает то, что есть в нем молодого. Демократия же человечна и лишена отпечатка времени, а несвязанность с временем всегда означает известную меру потенциальной молодости, которой достаточно лишь реализоваться в мысли и чувстве, чтобы намного превзойти в своей привлекательности — а это есть привлекательность жизни и всего прекрасного

— ту, которую породило определенное время.

Я назвал демократию лишенной отпечатка времени, человеческой, а ее сегодня так победоносно выступающего противника, фашизм, явлением времени. При этом я не забываю, что и у него есть глубокие и, быть может, неразрушимые корни в человеческом, ибо его сущность — *насилие*. Он верит в него, в насилие физическое и духовное, он использует его, он его любит и почитает и прославляет, оно для него прежде всего не *ultima*, а *prima ratio* /не последний, а первый довод — *лат.*/; и мы слишком хорошо знаем, что насилие — такой же неумиряющий принцип, как и его противоположность — идея права. Насилие — принцип, неутомимо создающий факты, оно может все или почти все; подчиняя себе страхом тела, оно подчиняет себе даже мысль, ибо человек не может долго жить двойной жизнью: чтобы быть в гармонии с собой, он поневоле приспособливает свои мысли к внешнему поведению, к которому его принуждает насилие. Столь многого оно может добиться. Каждый день мы видим, как бледнеет перед ним и превращается в ничто право, ибо насилие — угнетающая и благодаря опыту почти всегда одерживающая верх материя, а право — только идея. Но это "только", как бы пессимистично оно ни звучало, исполнено гордости и самой решительной уверенности, не из глупого беспочвенного идеализма, а наоборот, из *лучшего* знания природы и реальности человека, чем лишь кое-как осведомленная об этом вера в насилие. Ибо это особенная, человеческая природа, которая отличается от остальных именно тем, что наделена идеей, подчинена ей и не может быть без нее, так как существует благодаря ей. Идея — это нечто специфически и собственно человеческое, то, что делает человека человеком; в нем она реальный, естественный факт, ею невозможно пренебрегать; тот совершает самые грубые и самые пагубные для будущего ошибки, кто не учитывает участия

человеческой природы в идейном, — как не учитывает этого насилие. Словом "право" мы, однако, обозначаем лишь *одно* из имен идеи — только одно, ибо можно заменить его другими, такими же сильными и отнюдь не менее естественными, но более побуждающими к действию, например, свободой и истиной. Мы не знаем, какое из них следует поставить на первое место как самое значительное, ибо каждое обозначает идею во всей ее полноте и каждое — есть гарантия другого. Когда говорят "истина", это значит, что говорят также "свобода" и "справедливость"; говоря о свободе и справедливости, имеют в виду истину. Это неразделимый комплекс, заряженный духовной природой и стихийной взрывной силой, — его называют Абсолютное. Ибо человеку дано Абсолютное — будет ли оно проклятием или благословением — но это факт. Человек обязан подчиняться Абсолютному, так устроено его существо. Насилие, противное истине и враждебное свободе, презирающее право в сфере человеческого, потому выглядит таким подчиненным, таким презренным, что нет у него ни чувства, ни понимания этой связи человека с Абсолютным и нет понятия о том, что эта связь придает человеку неотъемлемое от него достоинство.

Вы видите, уважаемые дамы и господа, я хочу придать слову "демократия" очень широкий смысл, гораздо более широкий, чем вначале позволяет предположить только политическое его звучание, ибо я связываю демократию с самым человеческим — с идеей и Абсолютным. Я отношу ее к присущему человеку и неотделимому от него достоинству, которое не может быть уничтожено никаким насильственным унижением, тем самым выполняя просьбу, с которой ко мне обратились: обосновать мою веру в конечную победу демократии над угрожающими ей сегодня тенденциями и силами. Если только сопоставить одну и другую полити-

ческие системы, из которых другая, враждебная, продемонстрировала осязаемые практические преимущества перед демократической, то трудно прийти к такой вере. Вера должна основываться на том, что для человека демократия — понятие, не связанное со временем, и на вытекающей отсюда безграничной способности демократии к обновлению, на ее неисчерпаемом абсолютном богатстве — потенциальной молодости; у демократии есть все основания посмеяться над хвастливой претензией фашистской диктатуры на молодость и будущность. Я еще буду говорить о том, что эта вера связана с определенными условиями, выполнение которых надлежит осуществить демократии, а сейчас мне важно определить это понятие. Каждое определение демократии, которое ограничивает ее чисто политической сферой, недостаточно, чтобы внушить в нее веру. Недостаточно определять демократический принцип как принцип большинства и переводить слово "демократия" буквально, слишком буквально как "господство народа", — двусмысленным словом, которое может означать и господство черни, — это скорее определение фашизма. Недостаточно даже, как это ни правильно, сводить демократическую идею к идее мира и заявлять, что право свободного народа самому решать свою судьбу включает также уважение права чужих народов и что это лучшая гарантия создания народной общности и достижения мира. Демократия — понятие более высокое. Ее следует определить как такую форму государства и общества, которая более, чем какая-либо другая, воодушевлена чувством и сознанием достоинства человека.

Достоинство человека... Не становится ли нам немного страшно, когда мы произносим это слово, не кажется ли оно нам немного смехотворным? Нет ли в нем привкуса ставшего вялым и устаревшим оптимизма? Праздничной риторики, которая плохо согласуется с горькой, грубой правдой о че-

ловеке? Мы знаем ее, эту правду. Мы хорошо знакомы с натурой человека или, правильнее, людей, и далеки от того, чтобы предаваться иллюзиям. О ней сказано сакраментальной формулой: "Сердце сынов человеческих исполнено зла"⁷⁸. С философским цинизмом человеческая натура определена в словах Фридриха II о "проклятой расе" — *de cette race damandit* /Эта проклятая раса — *фр.*/ . Бог мой, люди... их несправедливость, злоба, жестокость, свойственная каждому второму глупость, их слепота достаточно доказаны; они откровенно эгоистичны, в их лживости, трусости, отсутствии социального чувства мы убеждаемся ежедневно; необходимо железное дисциплинарное принуждение, чтобы держать их в более или менее сносном послушании и порядке. Кто не обвиняет этот противный род во всех пороках, кто не думал часто, что будущее его совершенно безнадежно, и не понимал ангелов на небесах, которые, начиная со дня Творения, презрительно морщатся и удивляются, зачем Господь Бог принимает участие в этом сомнительном существе?

И тем не менее это так, — и сегодня более, чем когда-либо перед лицом такого, увы, вполне обоснованного скепсиса нельзя позволить соблазнить себя презрением к человеку; нельзя, несмотря на всю смехотворную его низость, забывать Великое и Достойное уважения, которое проявляется в человеке, — в искусстве, науке, стремлении к истине, создании прекрасного, идее права; и все же равнодушие к великой тайне, с которой соприкасаются, произнося "человек" и "человечество", означает духовную смерть. Это не вчерашняя и позавчерашняя истина, устаревшая, непривлекательная и неубедительная, это новая и необходимая истина — сегодняшняя и завтрашняя, та, что на стороне жизни и молодости против поддельной и увядшей молоджавости неких учений-однодневок и истин.

Сказал ли я слишком много, назвав человека ве-

ликой тайной? Откуда он произошел? Из природы, животной природы, и несомненно, он ведет себя соответственно, но в нем природа становится сознательной, она создала человека не только чтобы сделать его господином над собой — это выражение чего-то более глубокого: в нем она открывается для духовного, она заглядывает в себя, любит себя, оценивает себя в существе, которое одновременно принадлежит ей и своей более высокой сфере. Обрести сознание означает обрести совесть, знать, что есть Добро и что есть Зло — дочеловеческая природа этого не знает. Она невинна, в человеке же на ней лежит вина. Человек — грехопадение природы, но это не падение, а несомненно, подъем, — так же, как и несомненно, что совесть выше невинности. То, что христианство называет "наследственным грехом", больше, чем уловка священников, дабы подавлять человека и господствовать над ним, это испытываемое человеком как духовным существом глубокое чувство своего данного ему природой несовершенства и своих изъянов, над которыми он духом своим поднимается. Есть ли это измена природе? Отнюдь нет. Это совершается по ее сокровенной воле, ибо она создала человека для своего одухотворения.

Демократия видит и чтит достоинство этой тайны человека. Понимание ее, уважение к ней она называет "гуманностью". Антигуманный, диктаторский образ мыслей нынешних дней не хочет ничего слышать о "наследственном грехе", — иначе — о духовной совести; считается, что сознание своей греховности, то есть дух, вредит добродетели воина. Диктатура учит оптимистической героике — в совершенно идиотском противоречии с безграничным пренебрежением к человеку, которое она в то же время этим воспекает. Ибо все насильники, угнетатели, все, кто одурманивает и оглуляет людей, все, чья цель — превратить нацию в бездумную военную машину и таким образом

обмануть свободные и мыслящие народы, само собой разумеется, презирают людей. Они, правда, притворяются, будто хотят вернуть человеку опозоренную христианством честь, освобождая его от наследственного греха и внушая ему германскую героику — они всегда изображают себя защитниками чести; если можно верить радио, они и Германии "возвратили честь". В действительности же их презрение к людям поистине гротескно, гротескно из-за их личностных качеств, гротескно, если подумать, *кто* здесь презирает: те, кто более всего заслуживают презрения. Я понимаю презрение великой личности, судящей людей по меркам, превышающим человеческие, но напрасно спрашиваешь себя, как, собственно, эта безмерная подлость, нравственное и духовное убожество позволяет себе презрение. К тому же такое, которое сначала должно всеми силами унижить и испортить человека — чтобы он превратился в пригодный для них объект. Террор портит людей, это ясно, он разрушает их характер, развязывает в них инстинкты зла, превращает в трусливых лицемеров и бесстыдных хвастунов, презирающих других, поэтому те, кто презирают людей, так любят террор. Их страсть осквернять человека — грязная и патологическая. Их обращение с евреями в Германии, концлагеря и все, что там происходило и все еще происходит, тому доказательство и подтверждение. Всякого рода позорящие человека наказания, лишение чести, требование носить унижающие его знаки, желтая звезда, стриженные наголо женщины, принуждение к моральному самоуничтожению, физические пытки, разрушающие дух и душу, оскорбление права насильем до такой степени, что человек, охваченный страхом перед гибелью мира, перестает верить в существование права, отрекается от него и поклоняется насилью, — все эти средства служат страсти к угнетению, назвать которую дьявольской было бы для нее слишком много чести,

ибо страсть эта просто болезненная. Разве не болезненна наглость, которую диктатура разрешает себе, используя ложь, убийство правды, обман, столь грубый, что он тоже обращается насилием? Разве не беспредельна надежда диктатуры на то, что людей, которых она подчинила своим желаниям и потребностям, ей удалось превратить в тупых и неспособных к духовному сопротивлению? Раздается только один вещающий голос, всякий другой заставили замолчать. Не слышно ни возражений, ни даже самого робкого напоминания о событиях, свидетельствующих против них, — они же могут говорить что хотят, могут сколько душе угодно — никто им не мешает — навязывать людям вранье своей пропаганды. Демократия, каково бы ни было ее мнение о людях, во всяком случае желает им добра. Она хочет возвысить их, научить думать и освободить, хочет, чтобы культура не была привилегией немногих, а стала достоянием народа, одним словом, она стремится к *воспитанию*. Воспитание — это понятие оптимистическое, дружественное людям, оно непременно включает в себя уважение к человеку. Противоположность воспитанию — враждебная людям, презирающая человека пропаганда. Ее задача — оглулять людей, одурманивать, стричь под одну гребенку, унифицировать, чтобы сделать из них пригодных для войны, и прежде всего, чтобы удержать у власти систему диктатуры. Я не хочу сказать этим, что пропаганда не может быть использована в целях воспитания, то есть проникнута демократическим духом. Очевидно, демократия до сих пор везде и также в этой стране недостаточно пропагандировала свои принципы, во всяком случае пропаганда в руках диктатуры — инструмент циничного презрения к людям.

Итак, мы видим противоречие как здесь, так и там — очевидно, в жизни без противоречий не обходится. Демократия противоречит себе, — хоть

она, будучи явлением также и духовным, приветствует духовное, литературу, познание психологии и исследование истины, она отдает себе отчет в космической низости людей и критически ее анализирует, но в то же время принципиально защищает достоинство человека и верит в возможность его воспитания. Диктатура тоже противоречит себе, ибо, хотя объявляет человека освобожденным от христианского наследственного греха, освобождает его от совести и учит благородной героике (чтобы он лучше воевал за диктатуру), но без всякого уважения к достоинству человека унижает его и порабощает в убеждении, что ему не положено другой участи и все остальное — устаревшая благоглупостная болтовня. И то и другое нелогично. Но какой род нелогичности более порядочный?

Примечательно и характерно дружественное отношение демократии к духу, а также к изящным искусствам и литературе — уже это отличает ее определяющим образом от диктатуры, вера которой в насилие делает ее, само собой разумеется, далекой от духа, чуждой духу, враждебной духу. Однако по-настоящему ценным это определение демократии становится только в том случае, если понятие духа рассматривают не как одностороннее, изолированное и высокомерно далекое от реальности, а понимают его как связанное с жизнью, обращенное к жизни и действию, ибо только *это* и по *существу это* есть демократический дух и есть дух демократии.

Демократии не свойственен интеллектуализм в старом и преодоленном смысле. Демократия — это мышление, но мышление, обращенное к жизни и действию, иначе оно не было бы демократическим, именно в этом демократия нова и современна. Французский философ Бергсон* направил недавно состоявшемуся в Париже конгрессу философов послание, в котором так сформули-

ровал требование к философам: "Действуй, как мыслитель и думай, как человек действия". Это в высшей степени демократический девиз. Ни один философ до философов-демократов не думал о действиях и о том, как будет выглядеть действие, которое осуществит его идеи. Для недемократических или не воспитанных в демократическом духе наций характерен отрыв мышления от действительности, оно там чисто абстрактно, полностью изолировано от жизни и совершенно не учитывает последствий мышления для действительности. Это отсутствие прагматизма непозволительно, оно ведет к тому, что мысль самым отвратительным образом опровергается действительностью, а мышление вообще компрометируется. Гёте сказал: "Действующий всегда бессовестен, совесть есть только у Размышляющего". Это верно, но, потому что это верно, Размышляющий должен одарить совестью также и Действующего, — требование, которое, естественно, выполняется наилучшим образом, когда Размышляющий и Действующий одно и то же лицо. Мы называем недавно скончавшегося основателя и первого президента Чехословацкой республики⁷⁹ выдающимся демократом. Почему? Потому что в нем олицетворено новое современное отношение духа и жизни, потому что он органически сочетал в себе мыслителя и государственного деятеля — мыслитель был государственным деятелем и государственный деятель мыслителем. Требование Платона: философы должны управлять государством — было бы опасной утопией, если бы оно означало только, что правитель должен быть философом. Философ должен быть также и правителем, лишь это создает соотношение между духом и жизнью, которое мы называем демократическим. В Декарте*, философе, с которого начинается мышление нового времени, восхищает ярко выраженная близость к жизни и активный характер его мышления; и чем дальше, тем реши-

тельнее европейская философия следовала этому демократическому, начатому Декартом направлению. Даже такой крайне индивидуалистический и аристократический мыслитель, как Ницше — демократ в этом определенном современном смысле: его борьба против теоретизирующих, его почти уже преувеличенное и опасное прославление жизни за счет духа и абстрактной истины носит в философском плане демократический и к тому же очень артистический характер. Ибо художник — не теоретик или теоретик лишь в той степени, в какой находится в непосредственной связи с действием, делами и поступками, происходящими по велению духа. В более чем одном отношении Ницше приблизил друг к другу искусство и гуманитарную науку, благодаря ему стерлась четкая граница между ними. Но приближение к искусству означает приближение к жизни, и если признание достоинства человека есть *нравственное* назначение демократии, то *психологическое* ее определение мы можем вывести из этой воли к примирению и объединению познания и искусства, духа и жизни, мысли и действия.

Правда, неверное понимание легко порождает здесь злоупотребление. Существует карикатура современного антиинтеллектуализма, которая не имеет больше ничего общего с демократией, а именно, самого низкого сорта демагогический мир фашизма: это презрение к ясному разуму, отрицание и насилие над истиной ради власти и интересов государства, призыв к темным инстинктам, так называемое "чувство", отказ глупых и дурных людей от повиновения рассудку и духу, свобода совершать подлости, — короче говоря, варварское хулиганство, рядом с которым то, что мы называем демократией, выглядит в высшей степени аристократичным. Итак, мы должны признать, что в жизни противоположность между демократией и аристократией отнюдь не столь велика; это не всегда по-

льные противоположности. Если бы аристократия действительно всегда означала "господство хорошего, лучшего", то ее следовало бы приветствовать, ибо это было бы именно то, что мы понимаем под демократией. Демократ Масарик*, демократ Рузвельт, демократ Леон Блюм*, как личности, с точки зрения человеческой, а также как типы государственных деятелей, несомненно более аристократичны, чем такие типы, как Гитлер и Муссолини. Тот факт, что аристократическая человечность политически представляет принцип демократии, проистекает из того, что дух, хоть и облагораживая и сам являясь выражением утонченности и более высокой внутренней организации, одновременно благодаря своей связи с познанием, истиной, справедливостью, своей противоположностью насилию и жестокости — заступник и представитель демократии на земле.

В истинной демократии, как мы ее понимаем, всегда содержится аристократический элемент, "аристократический" не в смысле происхождения или каких-либо привилегий, а в духовном смысле. В демократии, которая не чтит высокую жизнь духа и не определяется им, место духа занимает демагогия, и уровень национальной жизни снижается до уровня людей невежественных и некультурных, в то время, как истинная демократия проводит в жизнь принцип воспитания и стремится привить культуру низшим слоям, дабы уровень лучших был признан нормой. Определить культуру и ее уровень по понятиям и пониманию черни — именно это и ничто иное есть демагогия. Показательный пример — так называемые "речи по вопросам культуры" упомянутого фюрера, практический результат которых, в частности, тот, что современные, всемирно известные немецкие художники, такие, как Коринт*, Кокошка*, Пехштейн*, Клее*, Хофер*, Марк* и Нольде* символически и тем самым почти физически были поставлены к позорному столбу,

и их произведения на выставке "Дегенеративное искусство" подвергнуты осмеянию тех, чей властительный представитель — упомянутый оратор по вопросам культуры. То, что авторитетно провозглашает этот новоявленный владыка искусства и духовной жизни о скульптуре, живописи, музыке, литературе, наглядно покажет последующим поколениям, *что* было возможно в искалеченной войной Германии наших дней, когда-то стране высокой духовной культуры. Это научит их, что такое извращенная демократия. Я ничего не понимаю в искусстве руководства государством, возможно, что упомянутый гений ведет Германию навстречу прекрасным временам, хотя Вильгельм II* уже тоже обещал это. Но в культуре, мне думается, я кое-что понимаю, здесь я имею право сказать свое слово: так как Германия застыла в кладбищенском молчании, а диктатура душит любое возражение против нее, то человеческое достоинство требует, чтобы хотя бы здесь, на свободе, было сказано, что эти речи о культуре не более, чем пустопорожняя болтовня мелкого буржуа и что их единственная ценность в том, что они показывают, куда скатывается демократия, если она лишается необходимого духовно-аристократического элемента.

Псевдоаристократические ужимки — тоже выражение этого вырождения. Диктаторы — баре, они презирают толпу и, провозглашая себя рупором ее убогих взглядов, дают ей почувствовать свое пренебрежение: учитывая их личные качества, это совершенно непонятно и неоправдано. Не дело народа, заявляет оратор на тему культуры, высказываться об этом. Народу нужен хлеб и зрелища, и точка. Потому что у него "кроличий горизонт" и он состоит в большинстве своем из "хлипких обывателей". Но именно в его персоне и через него и высказывается этот обыватель, и действительно, странно видеть, как оратору, правителю государства, не приходит в голову, что именно его

взгляд на культуру имеет нечто общее с кроличьим горизонтом и хлипким обывателем.

Я называю это псевдоаристократизмом — при фашистской диктатуре ведь все "псевдо" — прежде всего социализм, как показывает поведение оратора от культуры по отношению к народу. Это социализм презрения мелкого буржуа к человеку и выступление террора против культуры, а все вместе — род обывательского большевизма, бесспорно, более страшной опасности для цивилизации, чем социальная доктрина, угроза которой бросает в объятия фашистской диктатуры такую большую часть состоятельного бюргерства или внушает ему симпатию к ней. Оно считает ее спасительным оплотом против настоящего, русского, пролетарски окрашенного большевизма и против социализма вообще; и диктатуры выдают себя за такой оплот, они играют в спасителей европейской цивилизации от большевизма, первой ступенью к которому, как они утверждают, является демократия. Можно сказать, они существуют благодаря этому искусственно поддерживаемому страху. Он прежде всего помог им победить внутри страны, и они верят, что антибольшевистская идеология, которую они неустанно пропагандируют, поможет им также победить вне страны, подчинить себе весь мир. Бюргерство, однако, следует предостеречь от жестокого разочарования, ожидающего его, если оно поддастся этой рассчитанной на обман пропаганде — его уже испытало бюргерство стран, оказавшихся под властью фашизма. Глубочайшим заблуждением является представление, будто функция и намерения фашизма, особенно германского национал-социализма — сохранить частную собственность и форму экономики, основанную на руководстве отдельных лиц. В решающем отношении, а именно в экономическом, национал-социализм не что иное, как большевизм: это враги-братья, из которых младший научился у старшего, русского,

можно сказать, всему — только не морали. Ибо его социализм, с точки зрения нравственной, лживый и презирающий людей, но, что касается экономического эффекта, сводится к тому же, что и большевизм. Правда, при господстве национал-социализма рабочие лишены прав, профсоюзы ликвидированы, все социалистические организации разгромлены, но, что таким путем придет золотой век предпринимательства, — об этом мечтал господин Тиссен* и другие финансовые покровители гитлеровской партии; нам неизвестно, была ли эта мечта прекрасна — во всяком случае осуществилось нечто прямо противоположное. Экономика военного времени, которая господствует сегодня в так называемой Третьей империи, форма социализма с точки зрения нравственности весьма низкая, но все же это одна из его форм. Это нечто, что можно назвать как государственным социализмом, так и государственным капитализмом, определяемое милитаристскими целями диктатуры государства над экономикой, полное вытеснение предпринимательской инициативы, несомненный упадок частнокапиталистической экономики. Бюргерству мира следует уяснить себе это, прежде чем в паническом страхе перед социализмом оно отдаст свой голос фашизму.

Действительно, следует еще раз подчеркнуть, что фашистский социализм — нравственное искажение истинного, присвоение нравственной и гуманистической идеи, дабы пользоваться ею для пропаганды культа молодости и прекрасного будущего. Как обстоит дело с социализмом при диктатуре, наглядно показывает строительство, которое лихорадочно ведется в сегодняшней Германии. Страсть этого режима в тщеславном стремлении к величию прославлять себя в столь гигантских и пышных, сколь художественно убогих сооружениях, явно болезненна; в ней есть нечто маниакальное, и она напоминает, что строительная

лихорадка — известное клиническое явление. Сколько денег вложено в сооружаемые, планируемые или уже красующиеся скучные эпигонские государственные и коммунальные здания, вообще не играет никакой роли, расходы колоссальны, внутренняя "циркуляция", видимо, разрешает это. В Нюрнберге, не говоря о берлинских и мюнхенских архитектурных планах и свершениях, воздвигается так называемый "храмовый город", где будут происходить партийные съезды. Каменная спортивная арена должна вмещать четыреста четыре тысячи зрителей, то есть вчетверо больше, чем Олимпийский стадион в Берлине; гигантское здание для собраний, которое, если смотреть на него сзади, похоже на римский Колизей — как оно выглядит спереди, я сказать не могу; отдельное огромное здание для "Конгрессов на темы культуры", его собираются украсить множеством колонн, за которыми, как можно себе представить, будет заседать культура. "Цеппелинов луг" возле Нюрнберга таких размеров, что позволяет проводить ежегодные смотры вермахта с участием танков и тяжелых орудий. Этого недостаточно: сооружается в три раза больший плац для парадов, окруженный каменными валами, он называется, как у Цезаря, "Марсовым полем" и вмещает миллион человек. Если вспомнить, что берлинский "Имперский спортивный стадион" стоит пятьдесят миллионов, можно приблизительно представить себе, во что обойдется только одно "Марсово поле" и вообще нюрнбергский "храмовый город". И при этом в Германии отчаянная нужда в жилье — прямое следствие этого бешеного строительства государственных зданий. Согласно официальным данным, в стране не хватает девятисот пятидесяти тысяч квартир. Вид имперского великолепия этих чудовищных сооружений должен вознаградить живущих в тесноте или тех, у кого вовсе нет крыши над головой.

Вот, что я называю социализмом! Заметим, это национал-социализм. Я считаю, однако, более национальным и более социалистическим предложение президента Рузвельта конгрессу построить от трех до четырех миллионов квартир; их стоимость, а она велика, должны оплатить частные предприниматели вместе с государством. Размах огромный, но план этот не рассчитан на то, чтобы ослепить народ роскошью и запугать его могуществом власти, он направлен на пользу и рост благосостояния жителей страны.

То, что слово "социализм", несмотря на антииндивидуалистическую финансовую и экономическую деятельность, в устах фашизма — ложь, показывает уже название его германской разновидности — "национал-социализм". Это словосочетание — надувательство, как и все "духовное достояние", к которому приклеена эта этикетка. Национализм и социализм — противоположности, склеивать из них партийную программу — духовное хулиганство. Социализм — в высшей степени нравственный, то есть направленный вовнутрь импульс, импульс совести. Что бы ни думал о нем буржуазный индивидуалист, следует признать, что социализм выступает за мир, он по природе своей пацифистский — вплоть до того, что подвергает опасности самого себя. У него нет особого вкуса к власти, если он погибнет, то из-за этого недостатка. Мы же видели, что испытавшая на себе влияние социалистических идей германская республика в результате пацифистской боязни кровопролития и гражданской войны капитулировала перед своими убийцами. Мы видели также, какое потребовалось давление со стороны воинствующих агрессивных сил, пока французский и английский пацифизм поневоле согласился с вооружением своих стран только оборонительным оружием.

Я называю социализм нравственным импульсом потому, что он главным образом заинтересован в

решении внутривластных, а не внешнеполитических задач: его лозунг — справедливость, а не власть. Социалистическая реформа Леона Блюма во Франции была проведена при почти неслыханном пренебрежении к внешнеполитическим задачам, в идеалистической вере, что установление лучшего и более справедливого строя внутри страны *eo ipso* /само собой разумеется — *лат.*/ укрепит ее во всех отношениях, то есть веруя в мораль. Пусть эта вера, несмотря на ее идеализм, в расчете на будущее даже *правильна*, однако ее непосредственное осуществление может принести стране серьезное ослабление и опасность в борьбе за жизнь, — так же, как и человек, все помыслы которого были направлены лишь внутрь себя, который заботился лишь о своем душевном благе, не обращал внимания на мир вокруг себя и не думал, как он этого душевного блага достигнет, не слишком-то хорошо был устроен на земле. А Россия? Нужно находить, что своей внутренней политикой она подает плохой пример, можно бояться такого примера, но следует согласиться с тем, что нравственная природа всякого настоящего социализма и в случае России выдержала испытание; надо признать Россию *миролюбивым* государством и констатировать, что это ее качество означает укрепление демократии. Не случайно и не только из соображений политики, но и морали Россия как миролюбивое государство выступает на стороне больших и малых демократий, Англии, Франции, Америки, Чехословакии... Когда вопрос стоит о мире, социализм и буржуазная демократия придерживаются единого мнения, ибо смысл мира — выполнение внутренних задач, *работа* в самом широком и нравственном значении этого слова, работа народов над самими собой. Война же, напротив, — нравственное безделье, развратная авантюра, уклонение от актуальных неотложных задач, которые ставит мирное время и которые

могут быть разрешены лишь в мирные времена. Наверно, я недостаточно разбираюсь в исходящей от России угрозе капиталистически-бюргерскому укладу жизни, я ведь не капиталист. Но насколько я вижу, от России *не исходит* угроза тому, от чего зависит все, — миру. Не Россия заставляет Европу через двадцать лет после войны вкладывать за счет инвестиций на мирные цели огромные суммы в производство вооружения, а фашизм и его так называемая динамика. Это его рук дело, а не социализма, что мир не пришел к спокойствию и процветанию.

Прямо противоположен социализму национализм — в высшей степени агрессивный, направленный вовне импульс. Совесть не играет для него никакой роли, он стремится к власти, заинтересован не в работе, а в войне. Для подготовки войны и ее прославления вполне пригодно даже используемое в самых разных пропагандистских целях слово социализм. На самом деле дома, в своей стране социализм убивают, а во внешней политике, в общении с другими странами, изображают себя социалистами. Понятия "пролетарский", "бедность", "собственность", "справедливость" начинают вдруг играть первостепенную роль, и классовую борьбу, которую внутри страны отрицают, с возмущением отвергают и заменяют сомнительной "народной общностью", в обращенной вовне политике превращают в мотор всей истории. Мир делят на пролетарские государства, *have-nots* /неимущие — *англ.*/, которые ничего не теряют, зато должны все приобрести; бедность заставила их стать динамичными и героическими, жаждущими пространства, страстно стремящимися к солнцу, счастью, соучастию в пользовании благами земли, — и на капиталистические, сытые и не заинтересованные в изменениях государства, которые сидят на своей собственности, как охраняющий сокровища дракон, не хотят допустить бедняков к счастью и богатству.

Апеллируют к социалистическому праву и пафосу динамичных, подстрекательски призывают к свержению существующих отношений собственности в пользу "бедных" и угрожают пролетарской войной против мира капиталистов, если их требование не будет выполнено.

Но в жизни все зависит о того, *кто* заявляет, что его истина — истина. В устах некоторых и истина становится ложью. Несомненно, среди форм и проявлений понятийно-эмоциональных вариантов идей: истина, свобода, справедливость — справедливость как требование совести более всего близка сегодня человеческим сердцам. Каждый живой ум признает: сегодняшний момент требует, чтобы социальные и экономические блага были распределены более справедливо, и совершенно очевидно также, что это нравственно жизненно важное требование должно распространяться не только на внутреннюю структуру государств, но и на сообщество государств и их совместное существование. Европа, мир созрели для широкой реформы в области имущественных отношений и распределения богатств, социализации сырья, реформы, которая, конечно, должна быть предпринята в духе и рамках всеобщей договоренности и разумного урегулирования конфликтов, короче, в духе мира, работы и общей пользы. К сожалению, однако, положение таково, что именно те государства, которые пропагандируют сегодня справедливость, когда дело касается других стран, менее всего созрели для этой идеи, нравственно до нее не доросли. Они кричат о справедливости из чисто национального эгоизма, а мысль о том, что и им надлежит чем-либо способствовать общему благу, им чужда. Если им на это указывают и предлагают пойти на какую-нибудь уступку ради достижения всеобщего умиротворения, они презрительно называют это политической сделкой, на которую ни в каком случае не пойдут. Они хотят только брать

— не давать. Не во имя мира и общей работы они требуют перераспределения собственности, а для укрепления своей власти; опираясь на новые имущественные отношения, они с большей уверенностью могут угрожать войной и при известных условиях успешно ее вести.

Мы видим, что "внешний социализм" фашистской диктатуры не совсем настоящий социализм. Он вынужден быть таким же ненастоящим, как и внутренний. Этот социализм — ложь, ибо он хочет лишь отвлечь от внутренних, нравственных и социальных задач, за выполнение которых прежде всего должно приняться честное, действительно заботящееся о благополучии, чести и счастье своего народа правительство, а не только о сохранении своей власти и о запугивании. Пацифизм народов, желающих сегодня мира и имеющих право произнести слово "мир", основывается на понимании того, что война более не дозволена, что человеческий дух достиг той ступени нравственной цивилизации, на которой война как политическое средство невозможна, мир ставит сегодня свои задачи перед людьми, задачи эти велики и столь неотложны, что требуют от человека всей его энергии, ума, готовности к жертвам, героизма — в мирное время будет найдена возможность их выполнить. Война есть не что иное, как позорный отказ от задач мира. Она морально дискредитирована, ибо означает, что вместо усилий ради улучшения жизни народа внутри страны они тратятся на внешнеполитические авантюры. Можно прийти к выводу, что война всегда была лишь средством подавления и удержания в повиновении народов своей страны, мощным и обманным средством заставить народы криками "ура" славить свое собственное поражение от победоносного правительства. Противоположность национализма социализму содержится в противоположности между войной и миром. "Увенчанный славой", удачливый в своих внешнеполитических

авантюрах режим не должен больше заботиться об улучшениях в своей стране; от проблем культуры и прогресса он себя освободил — их затмил блеск военного успеха, и ослепленный и одураченный этим блеском народ орет "ура". Разве думает хоть кто-нибудь, что Абиссиния была завоевана — или оккупирована, — чтобы умножить счастье итальянского народа⁸⁰, а не для того, чтобы укрепить пошатнувшуюся власть фашистского режима? Для этого в большой спешке отравили ядовитым газом жителей абиссинских деревень⁸¹. С другой стороны, враждебное миру и свободе правительство опасается войны не потому, что не желает несчастий, которые может навлечь этим на свой народ, а исключительно из страха перед ослаблением или потерей авторитета в результате поражения. Оно учитывает свои шансы, не шансы народа. Это фальшивый пацифизм враждебных свободе государств. Такие государства не соблюдают мира и не ведут войну во имя счастья и чести своего народа, но взвешивают то и другое и поступают в зависимости от того, что кажется им более перспективным для сохранения своей устрашительной власти над собственным народом. Их социалистически-пролетарские ужимки во внешней политике имеют лишь такой смысл. Это не что иное, как топорная ложь. Если у их народа нет достаточно территории, зачем тогда всеми средствами побуждать к увеличению рождаемости, к росту населения? Безнравственно называть требование экспансии социалистическим прежде, чем посредством внутренней колонизации и справедливой аграрной реформы заслужено право на такое требование. Вместо того, чтобы вести действительно честную политику мира, --- не только из страха перед свержением своей власти; вместо того, чтобы включиться своими социальными мероприятиями в коллективные усилия, результатом которых было бы процветание мирового хозяйства, обмен достижениями, обоюдная помощь, ко-

роче, вся благодать разума, там царит автаркия⁸², обособление, военная экономика; безработицу они ликвидировали искусственно, в результате гонки вооружений и вынуждают этим остальной мир также превращать себя в военный лагерь, мешают всем и каждому пытаться укрепить мир и при всем этом имеют наглость изображать из себя социалистов...

Я говорил, уважаемые дамы и господа, что вера в будущую победу демократии над ее противниками и сама победа зависят от определенных условий, выполнение которых — что имеет значение историческое — сегодня есть обязанность демократии. Я назвал первое: глубокое и действенное осознание демократией своей сущности, обновление ее духовного и морального самосознания, развитие заложенного в ней потенциала молодости, рожденного из не связанного с временем общечеловеческого — через мысль и чувство; второе условие будет выполнено, если мы, не строя себе иллюзий, поймем те явные угрожающие демократии реальные преимущества, на которые опирается в надежде на свою победу ее сегодняшней противник и конкурент, диктаторский фашизм. Бесполезно закрывать глаза на — правда, доставшееся дорогой ценой, — превосходство системы диктатуры в ударной силе, на единство воли, пусть созданное насильственно и очень часто, может быть, лишь кажущееся, тем не менее, даже будучи обманом, еще действенное; система знает средства и пути, как заставить верить в свою силу не только другие народы, но прежде всего свой собственный. А когда веришь, что ты таков, то до известной степени ты таков и есть. Такой народ действительно — во всяком случае моментами — являет собой картину единого, чрезвычайно уверенного в себе, деятельного, гармоничного и дружного государственного организма, закаленного во имя подготовки к войне строжайшей экономией. Следует

учесть и психологический фактор: эта экономия воспринимается отнюдь не только как давление и лишения, но и как нечто привлекательное, повод для гордости, положение, в котором находится весь народ. Счастье, свобода, да просто жизнь индивидуума ничего не значат: он — гражданин государства и не более, чем частичка олицетворяющей государство нации. Его мышление, чувства, желания в первую очередь и всегда должны быть посвящены общему, служить ему телом и душой, решительно всем. Тоталитарное государство железной рукой подчиняет себе все области общественной жизни ради подготовки наилучшим образом пригодных к войне героических солдат-аскетов и ради будущего величия. Оно не было бы тоталитарным, если бы допустило, чтобы его граждане хоть в какой-то сфере жизни уклонились от служения ему, чтобы хоть какой-то, самый интимный уголок человеческой души был свободен от контроля. То, что мы называем культурой, религией, искусством, исследованием, расценивается как государственная измена, если только они начинают претендовать на какую-либо свободу и собственное достоинство. Демократия еще далека от того, чтобы составить себе четкое представление об этой фашистской концентрации власти в тоталитарном государстве, его фанатизме, его непреклонности, готовности отдать всю культуру ради победы власти и таким образом приобрести небывалые и поначалу приводящие цивилизацию в полное замешательство выгоды и преимущества в жизненной борьбе. И тем не менее цивилизация, чтобы суметь ему противостоять, должна понять то, что пришло с этим в мир во всей его злобной новизне. Опасность, которая подстерегает цивилизацию — гуманистическая иллюзия, наивная вера, что с таким новым возможен разговор, что лояльными уступками ему ради мира и коллективного строительства можно привлечь его на свою

сторону, победить мягкостью. Опасное заблуждение, причина которого в совершенно разном образе мыслей, господствующем в демократическом государстве и в фашистском. Демократия и фашизм живут словно на разных планетах, или лучше — в различных эпохах. Картина мира и картина истории, как ее видит фашизм, определяется абсолютным, полностью освободившимся от морали и разума и чуждым морали и разуму динамизмом, требования которого нельзя удовлетворить и успокоить уступками, они безграничны и неопределимы. Идеи демократии и идеи фашизма не могут совпадать, ибо фашизм глубоко погряз в своем представлении о власти и гегемонии как о цели и сущности политики, в то время как демократия более совершенно не интересуется властью и гегемонией, да и политикой как средством их достижения; она заинтересована в мире. Этот конфликт непонимания, в котором даже много комического — если смотреть на это с точки зрения истории, — несомненно, несет в себе актуальную опасность. Нам ясно, что демократия отказалась от идеи политики на основе силы и тем самым, так сказать, открыла идею, которая олицетворяет более позднюю, более новую ступень развития духа и морали, фашизм же убежден в собственной жизнеспособности и будущности и в том, что демократия — система отсталая, что она отжила свой век и обречена историей на недолговечность. В каждом шаге навстречу ему, в каждой уступке своим требованиям фашизм всегда будет видеть признак слабости, отказа от демократических принципов на все времена. В частности, что касается Германии, то для того, чтобы отнестись с полным пониманием и признать ее претензии — для этого слишком поздно или слишком рано. Идти навстречу Германии было своевременным, когда национал-социализм еще не захватил власть, тогда следовало опереться на миролюбивую Германскую республи-

ку и уберечь ее от национал-социализма. Дружеское отношение будет снова своевременным после падения Гитлера. Всякое же выполнение немецких притязаний сегодня означает жестокий и обескураживающий удар по стремящимся к миру и свободе миролюбивым силам в немецком народе. А так как требования национал-социалистов никогда не выдвигаются в интересах мира, а исключительно в интересах укрепления власти и улучшения перспектив для ведения войны, то их выполнение служит не миру, а войне.

Необходимо, чтобы демократия это поняла. Она должна также понять, какие преимущества фашизму предоставляет состояние, когда размыты границы между войной и миром. Не мир и не война. Многого недостает, чтобы можно было говорить: в мире царит мир; но и война не объявлена, ведут неофициальную, недекларируемую войну, репетицию войны на отдельных участках и ограниченными средствами, приберегая пока что мощные средства ведения войны — двусмысленная и еще не совсем проясненная ситуация, которую изобрел фашизм и в которой он себя прекрасно чувствует. Вполне вероятно, что он предпочтет ее, насколько это будет возможным, большой и открытой войне, ибо в открытой войне очень скоро станет очевидной та большая роль, которую играют ложь и притворство в его "тотальном государстве". Первое же поражение тирании развяжет подавляемые силы человеческой свободы. Поэтому фашизм опасается войны, для ведения которой он воспитывает народ и отдает врагов войны — пацифистов — во власть палача. По существу он весьма сомневается, устоит ли его "народная общность" перед испытаниями войны, если та продлится хоть какое-то время. Мы слышали и предательское обращение верховного полицейского, в котором он говорил о трех фронтах, на которых должна будет вестись будущая война: на земле, в воздухе и *внутри страны*.

Сказано ясно. Фашизм признает, что во время войны ему не в последнюю очередь придется бороться против собственного народа и собственной страны, что он отнюдь не уверен, пойдет ли за ним народ в огонь и воду; не обратится ли для него внешняя авантюра почти тотчас же и войной внутренней. Неудивительно, что этому риску он предпочитает мир или, скорее, промежуточное состояние между войной и миром — его изобретение, его выдумка, позволяющая с большей уверенностью продолжать блефовать внутри страны и вне ее, шантажировать демократические силы и, может быть, не развязывая настоящей войны, добиться своей цели — господства, в особенности, если он использует выигрыш во времени как своего рода политику, перед которой демократия оказывается практически безоружной, — по причинам, как следует признать с человеческой точки зрения, симпатичным, ибо воспитание просто не позволяет ей противопоставить фашизму такую же бессовестность. Это политика черного хода, бульварного романа и преступления — отвратительное зрелище и доказательство того, во что превращается политика, когда воля мирового духа по существу устремлена уже к более высоким целям и "политика" ведется отсталым и не соответствующим времени образом. Убийство, подкуп, продажность, интриганство играют в этом главную роль, — средства, которыми пользуется разнузданная низость, однако, пока что несомненно действенные, раз противник из моральных соображений вынужден смотреть на это сквозь пальцы.

Уважаемые дамы и господа, я обрисовал вам состояние, в результате которого, может быть, болезненно задержана победа демократии, — а мы верим в нее; путь к этой победе может быть прегражден тяжелыми историческими поражениями, если демократия не даст себе ясного отчета в ситуации, не мобилизует все искони присущие ей средства помо-

щи жизненным силам обновления, дабы содействовать этой победе. Я скажу простыми словами: для этого необходима *реформа свободы*, которая превратит демократию в нечто другое, чем она была во времена наших отцов и дедов в эпоху бюргерского либерализма, в нечто другое, чем "Laissez-faire, laissez-aller" /предоставить все естественному ходу событий — *фр.*/ — этого ей будет достаточно, чтобы справиться со своими задачами. Реформа, которую я имею в виду, должна быть социального порядка; только проведя такую реформу, можно вырвать преимущество у фашизма и большевизма, отвоевать у диктатуры ее лишь временное, обманное, однако пропагандистски привлекательное превосходство — спекуляцию на культе молодости и прекрасном будущем. Такая социальная работа должна послужить также как духовной, так и экономической свободе. Время промышленной революции и пассивного либерализма прошло. Либерализм изгнали из свободы скорпионами. Свобода усвоила урок. Гуманность не будет более означать терпимости, которая распространяется на все, также на решимость разделаться с гуманностью. Лицом к лицу с фанатизмом свобода, которая из одной только доброты и гуманного скепсиса не верит в себя, погибнет. Не гуманность слабости и сомневающейся в себе терпимости необходимы сегодня свободе — такая свобода будет выглядеть жалкой и покинутой Богом перед лицом веры в насилие, не допускающей даже мысли о собственной слабости. Гуманность, проникнутая волей и боевой решимостью сохранить себя — вот что необходимо. Свобода должна обрести мужественность, научиться ходить в броне и защищаться от врагов, должна, наконец, после горького опыта понять, что своим пацифизмом, который признается, что *любой ценой* не хочет войны, приведет к войне вместо того, чтобы устранить ее.

Это о духовной реформе свободы. Что касается

ее обновления со стороны экономической, то следует сказать то, что знает каждый: ее нравственный недостаток и слабая сторона, позволяющие фашизму даже противопоставлять себя свободе в качестве "идеалистического" — господство денег, которое является ее следствием и которое в результате буржуазной революции как более современное, но не более благородное заступило место феодальных привилегий и неравенства. Если демократия хочет сделать свое безусловное нравственное превосходство над фашизмом исторически действенным и дать отпор его псевдосоциализму в области экономики так же, как в области духовной, она должна воспринять у социалистической морали то, что диктуется моментом и безусловно необходимо. И здесь свобода должна быть дополнена социальной стороной; демократия должна продолжать политическую буржуазную революцию в области экономической, сознавая, что справедливость — господствующая идея эпохи, ее осуществление в той мере, в какой это в человеческих силах, стало делом совести мира, совести, которую нельзя отбросить, не считаясь с которой нельзя жить. Смешно смотреть, как сегодня генерал испанской реакции Франко* обещает социалистические реформы народу, который из последних сил сопротивляется его мятежу⁸³, зачем же это начатое по поручению феодализма, капитала и заграницы предприятие, к чему гражданская война, если все должно прийти к социализму? Известно, конечно, как понимается этот социализм: в фашистском смысле. Бравый враг народа и не мечтал, что когда-нибудь произнесет такое слово, однако его германские и итальянские советчики, которые понимают, как вести фашистскую пропаганду, сказали ему, что без него сегодня дело не пойдет. Но именно это как раз и показывает, какое господствующее место дух времени отводит социальной идее. Кто воспринимает как большое человеческое несчастье, если

демократия в исторической схватке мировоззрений потерпит поражение из-за неумения приспособиться, — должен пожелать, — как желают того, что необходимо, — чтобы она превратилась из либеральной в *социальную демократию* — как в экономическом, так и в духовном отношении.

Отпугивает ли это требование своим революционным звучанием? Но эту революционность следует понимать весьма относительно, в действительности в ней содержится консервативный смысл, ибо она нацелена на сохранение западной культурной традиции, на ее защиту против варварства и политического безумия всякого рода. Я называю Франклина Д. Рузвельта консервативным государственным деятелем именно из-за социального элемента, который приобретает при нем демократия и с помощью которого он, истинный друг и честный слуга свободы, отвоевывает преимущества как у фашизма, так и большевизма также и там, где обуславливает свободу наличием социалистического начала и соответственно ее направляет. По этой же причине я называю так устремления французского Народного фронта⁸⁴ и согласен как с консервативными политиками, так и с католическим депутатом Национального собрания, к тому же роялистом, который сегодня считается одним из самых влиятельных членов французского парламента: "Будем надеяться, — сказал он недавно, — что скоро наступит день, когда французы без различия их социального происхождения объединятся на новой основе и в интересах Франции и свободы совершат то, что мы называем реформой структуры и что я хочу назвать мирной революцией. *Мы не обязаны сохранять* бесчеловечный социальный строй, наоборот, мы все должны работать в том направлении, чтобы его заменил более гуманный строй, который создаст правильную иерархию ценностей, поставит деньги на службу производству, производство на службу человеку, а самого чело-

века на службу идеалу, который придает жизни смысл". Эти слова христианско-консервативного представителя страны, наиболее тонко разбирающейся в социальных проблемах, — новы, это и есть Новое. Ново в мире то, что политическая молодежь Франции называет "экономическим гуманизмом". "Новое в мире, — так ответил бельгиец Вандервельде* кондотьеру венецианского дворца⁸⁵, когда тот снова предсказал, что завтра Европа будет фашистской, — истинно и действительно новое в мире — социальная демократия".

Это правда. Это правда, которую противопоставляет свобода, омоложенная резервами своей независимости от времени, хвастливой молоджавости диктатуры. Социальное обновление демократии есть *условие и гарантия* ее победы. Она создаст "народную общность", она покажет себя уже во время мира, а если нужно, и в войне, намного превосходящей фальшивый образ, которому фашизм дал такое название. В ней уже жива эта общность — общность народов, она является целью *всей политики* и должна в конечном счете ликвидировать политику.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

15.6.38

[...] Сообщение в "Тайм" о том, что Гитлер заложил первый камень на церемонии начала перестройки Берлина, рассчитанной на двадцать пять лет. Берлин должен стать столицей Европы и по меньшей мере местом паломничества. Расходы в 25 миллионов оплатят будущие туристы.

19.9.38

[...] Невообразимое затмение умов: войны не хотят и она не разразится, если воспротивиться Гитлеру. Он не сможет вести войну, это будет

его концом. Следовательно, они ни за что не хотят его конца. Почему? Потому что боятся большевизма. Большевизм будет, якобы, результатом войны, поэтому хотят предотвратить войну и падение Гитлера. Поэтому ему отдают без войны Чехословакию⁸⁶, как он того хотел. С готовностью разрешают ему шаг за шагом выполнить свой нехитрый откровенный план. Такого глубокого и такого глупого ничтожества на свете еще не было.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ К СБОРНИКУ "ВНИМАНИЕ, ЕВРОПА!"⁸⁷

[...] Массовые тенденции последних лет, которые обобщающе называют "фашизмом", в последние дни сентября этого, 1938 года, при планомерной помощи господствующих кругов Англии одержали полную победу над Европой, и теперь эта победа скажется на всем континенте, ибо фашистские тенденции распространяются вширь и проникают вглубь. Я знал о них раньше и достаточно хорошо понимал их характер — материал этой книги будет тому доказательством. Я всем сердцем чувствовал, я был глубочайшим образом убежден, что с этими тенденциями из-за их разрушающего воздействия на культуру нужно бороться; слово "культура" я понимаю не в сентиментально-эстетском смысле, а как дело всего человечества, как честь человечества. И я поставил мое слово, мой авторитет и доверие, которое приобрел, воплощая в художественные образы Человеческое, — в Германии, а затем как эмигрант — на службу нравственным идеям и политическим силам, которые, казалось, могли еще возвести плотину, преграждающую путь фашистской волне. При этом мне было ясно, что в употребительном выражении "возвести плотину" плотина в сознании и подсознании всех, наоборот, фашизм, а то, чему нужно преградить путь — обо-

краденный демагогией его противник, социализм, против которого ополчилось все готовое прорваться, как нарыв, недовольство Европы. Я же, о чем свидетельствует публикующееся здесь мое выступление в Берлине еще в октябре 1930 года, видел в соединении направленной на сохранение культуры воли буржуазии с социальными требованиями исторического момента желаемое спасение культуры от несчастья, которое принесет ей взявший верх фашизм.

Я не недооценивал психологическую готовность Европы к фашистской инфильтрации в политическом, моральном, интеллектуальном отношении — воззвание "Внимание, Европа!" ясно это показывает. Что я недооценивал — и не я один — быстроту, с которой происходил этот процесс; в течение немногих лет симпатии к фашизму, его решающее влияние распространилось в самих демократических странах и проявилось самым сокрушительным и к тому же самым подлым образом в чешском кризисе⁸⁸. Для немецкой эмиграции, как и для тех в Германии, кто разделял ее боль и ее надежды, было невероятно тяжело — мучительно медленно и до последнего момента веря, — убеждаться, что Европа, сторонниками которой мы, немцы внутренней и внешней эмиграции себя считали и на моральную поддержку которой рассчитывали, думая, что она стоит за нами, в действительности за нами не стояла; что эта Европа *совсем не хотела* крушения национал-социалистической диктатуры, крушения, которое много раз было ощутимо близко.

Невозможно описать мучительность осознания этого процесса тому, кто этого не испытал. Оно было достаточно тяжелым уже и тогда, когда признаки истинного положения вещей проявлялись только в отрицании, в пассивности. Принцип суверенности государств — правда, уже устаревший, — демократический принцип невмешательства во

внутренние дела других стран помешал Европе выступить против случившегося в Германии, такого опасного для нравственной жизни континента и для мира, — и это было понятно. Мы заставляли себя находить это понятным, хотя мы — “мы” всегда означает немецкую оппозицию *extra et intra muros* /вне и внутри стен — *лат.*/, — не могли скрыть от себя некоторого разочарования. Государство, в основе существования которого была гангстерская проделка с пожаром рейхстага и гнусная трясина последующего процесса; государство, чьи дела внутри страны были на глазах у всего мира и которое представляло своей внешней политикой такую явную угрозу европейскому порядку и миру, — как легко вначале и многократно впоследствии — например после июньских зверств 1934 года⁸⁹ — изолировать его дипломатически, не дать возможности режиму править в стране и таким путем освободить Германию, о которой говорили, что любят ее и уважают — от мучителей и палачей ее чести! Сами нацисты не ожидали ничего другого, кроме интервенции, самая косвенная ее форма была бы достаточной, чтобы положить конец их власти.

“Вмешательство” не состоялось. Мы с удивлением увидели, что с этим режимом и его невозможным, в большинстве своем откровенно уголовным персоналом поддерживали отношения, будто речь шла о государстве, как все другие; что речи Гитлера о мире были приняты свободным миром, который словно вообще не понимал необходимости связи между внутренней и внешней политикой, с благодарным облегчением, что им *верили* или делали вид, что верят. Если только фашисты в своей внешней политике держались в рамках, если их главарь не нарушал своих заверений в том, что не стремится к территориальным изменениям в Европе, то этот мир оставался совершенно равнодушным к судьбе немецкого народа, зверствам в концентрационных лагерях, пыт-

кам и убийствам, преследованиям евреев и христиан, к изгнанию всего духовного, к террористическому, потрясающему основы западной цивилизации господству невежественного большевизма в центре Европы.

АННЕ ДЖЕКОБСОН*

Принстон, Нью-Джерси. 30.11.38

Дорогая фрау профессор Джекобсон,
то, что Вы сообщаете о ситуации в German Department /Германском отделении — *англ.*/ Хантер-колледжа, произвело на меня сильное впечатление, сильное и в положительном, и в отрицательном смысле. Что ужасными событиями в Германии студентки колледжа испуганы, ожесточены, лишены веры в человеческую ценность своих занятий германистикой, что они начали сомневаться в том, что имеет смысл изучать культуру народа, в среде которого, вроде бы беспрепятственно, творятся столь гнусные дела, — все это я слишком хорошо понимаю, больше того, я одобряю это, даже радуюсь этому. Это свидетельствует о такой нравственной чувствительности и о такой ненависти к злу, какие очень уж редко встречаются теперь в мире, почти совсем погрязшем в моральной апатии. Америке делает честь, что это отвращение и возмущение здесь так сильны и распространены так широко.

Но уже, к сожалению, не первый раз я замечаю, что в этой стране существует тенденция переносить такое справедливое отвращение к теперешнему германскому режиму и его зверствам на все немецкое вообще, отворачиваясь и от немецкой культуры, хотя она-то тут совсем ни при чем. Не надо же забывать, что большая часть немецкого народа живет в вынужденно немой и мучительной оппозиции к национал-социалистическому режиму и что

ужасные преступления, происшедшие там в последние недели, отнюдь нельзя считать делом рук народа, как ни старается их выдать за таковые режим. Эти убийства, поджоги, этот истребительный поход против евреев как таковых — дело исключительно правящей верхушки, и утверждение, будто это — стихийная реакция народа на несчастный случай в Париже⁹⁰, — такая же пропагандистская ложь, как все прочее. Несомненно, что "большевистские" акции по всей Германии организованы правительством и выполнены его гангстерскими бандами. Глядя на это, как и на многое другое, немецкая публика могла только в тихом ужасе качать головой.

Близорукая, слабая и бестолковая политика западноевропейских держав предоставила национал-социалистскому режиму такую полноту власти, которая дает возможность этим людям творить, ничего не боясь и ни с чем не считаясь, решительно все, чего ни потребуют их желания и низменные инстинкты. То, что они творят, есть, конечно, пятно на чести Германии, замыть и вывести которое время сможет только с большим трудом. Но, несмотря на это, в прошлом немецкий дух сделал для культуры человечества много великих и удивительных дел и еще многое сделает, мы все надеемся, в будущем, когда этот несчастный народ покончит со своими теперешними правителями, которые позорят его. Немецкая культура в музыке, искусстве и умственной жизни была и остается одной из самых богатых и самых значительных в мире, и никакие ужасы нашей растерянной современности не оправдывают отказа от изучения этой культуры и отказа от языка, в котором она проявилась. Я думаю, студентки Вашего колледжа должны это понять и даже с особенным честолюбием беречь эти блага и хранить их живыми в Америке на протяжении того темного отрезка времени, когда в самой Германии их пинают ногами. Это, по-моему, хоть и морально

почтенная, но все-таки детская и незрелая линия поведения — бросить занятия немецким языком, потому что некомпетентные правители публично дискредитируют его в данный момент. Прошу Вас сообщить это мое скромное и доброжелательное мнение дамам German Department'a. Может быть, оно поможет предотвратить те или иные благородные, но все же односторонние и поспешные решения.

Преданный Вам
Томас Манн

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 97.
Перевод С. Анта.)*

ИЗ ДНЕВНИКОВ

20.12.38

[...] Читал в "Рёмишес Кайзеррейх" "Гибель античной культуры" Ростовцева⁹¹. Главное явление античного мира: постепенное поглощение образованных слоев населения массами, "упрощение" всех функций политической, социальной, экономической и *духовной* жизни — варваризация.

24.3.1939

[...] Германо-румынское "экономическое соглашение"⁹² — не что иное, как полное подчинение ультиматуму, который вызвал такую видимость шума и видимость сопротивления. Восток будет отдан, это было всегда решенным делом, все слова, дабы заверить мир в обратном — обман. Протест после отказа от Чехословакии не имел бы больше никакого смысла. "Военная опасность" была таким же обманом, как и до Мюнхена. Возможно, что когда-нибудь она станет серьезной, когда Гитлер после аннексии Дании повернет на запад. Швейцария и Голландия защищены воен-

ными договорами, а гонка вооружения на Западе устрашающа. Через год, может быть, начнутся бои, однако вполне вероятно, что завоевание Запада произойдет так же "мирно", как завоевание Востока и, если оно обойдется без настоящей агрессии, а только в результате перевеса сил, едва ли ей помешают. Гитлер заявил в Мемеле, что теперь "несправедливости" почти ликвидированы. Весь жалкий мир обсуждает, что подразумевает под словом "почти" могущественный человек.

РЕЧЬ НА ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ПИСАТЕЛЕЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ⁹³

Гуманизм и культура служат одному и тому же делу. И это дело едино и неделимо. Ни одну сторону нельзя исключить, не разрушив целого, и одна из этих сторон — политически-социальная. Отказаться от политически-социальной стороны — значит пробить брешь, которая и представит собой угрозу всему делу в целом.

Этот факт мы должны признать как важнейшую основу всякой демократии. И действительно, это и есть сама демократия. Политическая сторона духа — самая важная для демократии, и это означает разумное восприятие политической реальности. Как немец я говорю, что интеллектуальной Германии недоставало способности к критике. Интеллектуальная Германия была невосприимчива к политической стороне жизни. Она всегда избегала политики и поступала так во имя культуры. Немецкое представление о культуре охватывало все аспекты великого и прекрасного: музыку, философию, психологию, этику. Но все, что имело отношение к политике, презрительно отменялось. Это мне достаточно хорошо известно: всю свою юность я провел под знаком чисто интеллектуального, антиполитического представления о культуре; только

в зрелые годы я понял, что между интеллектуальным и политическим не существует четкой границы. Сегодня я признаю, что немецкий бюргер заблуждался, считая, что человек может быть культурным, оставаясь антиполитичным. Я признаю, что культура в опасности, если у нее нет инстинкта, подсказывающего ей, сколь важна политика, и нет желания разбираться в ней. Короче говоря, я стал горячим приверженцем демократического идеала. Я должен был высказать это, несмотря на все мои антиполитические традиции. Несомненно, я смог понять это благодаря руководившему мной доброму гению. Где был бы я сегодня, на какой стороне стоял, если бы остался верен моей концепции консервативной немецкой антиполитической позиции? Ибо вся немецкая музыка, все достижения Германии в области духа не могли охранить ее от подлейшего преклонения перед насилием и варварством, угрожающими основам западной цивилизации, и Германия стала жертвой тоталитаризма, который душит гражданскую и нравственную свободу. Фашизму удалось даже политику сделать тоталитарной. Все его помыслы и стремления были направлены на то, чтобы именем государства восторжествовала власть насилия. Исчезло все человеческое, поставлена преграда всякой свободе. Немец считал политическую свободу излюбленной западными нациями риторической напыщенной фразой. И сегодня мы испытываем неумолимые трагические последствия этого. Немец стал рабом фашистского государства, всего лишь исполнителем функций тоталитарной политики. Он пал так низко, что спрашиваешь себя, будет ли он в состоянии подняться.

Но дайте только немцу возможность остаться живым после этого ужасного искушения. Дайте ему пережить все унижения, на которые его обрек фашизм. Будем надеяться, что этот горчайший урок поможет ему понять свое заблуждение — пре-

небрежение политической стороной культуры. Я часто повторял: немцам придется пережить так много, что при слове свобода они не смогут удержаться от слез. Сегодня они уже не так далеки от этого. Немцы учатся таким понятиям, как свобода, справедливость, человеческое достоинство, человеческая совесть. Они учатся тому, что это не пустые слова. Шесть лет господства гестапо многому их научили. Судьба продолжает свой путь. Немецкая культура, которая отказалась быть политической, стала жертвой террористической политики фашизма. Фашизм выступает против всего, что западная цивилизация научила нас считать разумным и человеческим. Его программа — продуманное разрушение всех принципов цивилизации во имя служения власти. Немецкий бюргер считает все, что происходит на его глазах, сном. Но это реальность!

Немецкий бюргер мог быть антидемократичным, потому что он не знал, что демократия — не что иное, как политическая сторона культуры. Он не знал, что сама политика — не что иное, как интеллектуальная нравственность, без которой интеллект погибает... Да, мы научились различать, что есть Добро и что есть Зло. Зло обнажается во всей своей неприкрашенной наготе, и это открывает нам глаза на красоту и достоинство Добра. Но зрелище такой массы подлостей излечило нас от эгоистического скептицизма. Наши уста уже решаются произнести такие слова, как свобода, истина и справедливость. Ими мы преграждаем путь врагу рода человеческого так же, как средневековый монах оборонялся от сатаны, протягивая крест. И все страдание духа, на которое осудило нас время, ничто по сравнению с юношеской радостью разума, который снова принял на себя избранную им роль: роль Давида, сражающегося с Голиафом, Святого Георгия, победившего дракона лжи и насилия.

ФРАНЦУ ВЕРФЕЛЮ

Принстон, 26.5.1939

[...] До тех пор, пока немецкий народ не освободился от этого руководства, длительного мира не будет. Мы это давно знаем, и мир начинает это понимать. Мы знаем также, что немцы в действительности глубоко ненавидят свой режим и только войны они боятся больше, чем Гитлера. Глубокая и полная недоверия и страха неприязнь немецкого народа к нацистскому правительству не носит в первую очередь "политического" характера. Лучших среди немцев ужасает опасность морального падения и упадок культуры. Установлено, что в течение последнего полугодия Германию покинуло значительное число немцев, которые не могли считать себя ни "политически", ни в "расовом отношении" "подозрительными", они уехали из страны просто потому, что ноябрьские погромы⁹⁴ и пропагандистская кампания против Чехословакии переполнили чашу. Они сообщают, с какой жадностью люди, не страшась опасности, читают книги, приходящие из-за границы, со свободы, о мучительной жажде не только правды, но прежде всего порядочности, достоинства, возможности спокойного размышления — об их тоске по голосу духа и цивилизации. И в то время, как книги премированных государством писателей, несмотря на весь пропагандистский шум, не находят более читателей в Германии, переводы нескольких "разрешенных" авторов расхватывают. Но как остро, как срочно нуждаются наши друзья в Германии в том, чтобы услышать нас!..

Немцам там и нам, представителям духовной Германии за ее границами, необходимо установить связь друг с другом. Следует положить конец противоестественному состоянию, когда мы, которые призваны учить немцев вести себя согласно своему лучшему "я", лишены контакта с ними. Наши го-

лоса будут услышаны, если мы обратимся к ним достаточно громко.

Наш план таков: в течение, примерно, двенадцати месяцев я хотел бы отправить в страну двадцать четыре брошюры, написанные известными представителями немецкого духа *для немцев*. Эта серия отнюдь не должна носить политического характера — она должна апеллировать к лучшим инстинктам наших соотечественников, в то время как Гитлер пробуждает в них только самые опасные... Я хотел бы присоединить Ваше имя, которое с лучшей стороны известно в Германии и в мире и способно привлечь других к списку членов комитета⁹⁵. [...]

ИЗ ДНЕВНИКОВ

29.8.1939

[...] В вечерних газетах комментарии к германорусскому соглашению⁹⁶: "Россия присоединяется к антикоминтерновскому пакту". Не верю, что этот договор долго просуществует. Пока Польша держится стойко. Несомненно, что военная опасность усиливается. Ощущение циничной легкомысленности шага, вызванного только бешеным нетерпением Гитлера отомстить Польше. Прагой⁹⁷ он изменил идее народности, а теперь антибольшевистской идее.

2.9.1939

[...] Слушал радио из Лондона. Английский ультиматум. Решимость покончить с национал-социалистическим режимом. Заявление доминионов о лояльности. Выступление университетского преподавателя немецкого языка; простые, впечатляющие слова. Обзор мировой прессы. Наконец заговорили нашим языком, Гитлер назван сумасшедшим. Поздно, поздно! Все равно, потрясение велико. Я много думаю о Боннском письме⁹⁸ и его предска-

заниях. Если бы у вредоносного человека была хоть искра "любви к Германии", — якобы во имя этой любви он совершил свои злодеяния, — ему надо было бы пустить себе пулю в лоб и завещать уйти из Польши⁹⁹.

11.9.1939

[...] Возможно ли будет свергнуть режим? В Германии произошла радикальная при всех "национальных" аллюрах революция, которая полностью денационализовала страну с точки зрения всех старых понятий о немецком духе. Наци-большевизм не имеет *ничего общего* с немецким духом. Новое варварство очень естественно вступило в контакт с якобы противоположной ему Россией. Если этот блок, в котором около трехсот миллионов человек, продержится, то почти невысказано, что "цивилизация", которая за время долгой войны тоже претерпит изменения, сможет победить его и поставить свои условия. Происшедшее в Германии, очевидно, необратимо. Будущее во мраке...

ГОЛО МАННУ

Принстон, 26.9.1939

[...] Трудно оценить русско-германское соглашение с позиции русских, с позиции Гитлера его грязный талант приводить мир в замешательство и тем лишать его способности к сопротивлению восторжествовал самым отвратительным образом. Лучше не думать, какое воздействие окажет это соглашение на немецких рабочих, на французских коммунистов, чья партия теперь запрещена. Крушение Гитлера не поможет восстановлению Польши, так как Россия завладела ее половиной.

На Востоке будет "установлен порядок", Англия и Франция не смогут воспрепятствовать этому [...].

Если бы не ужасающие жертвы, которых непременно требует для себя душевная жизнь этого человека, если бы не огромные моральные опустошения, проистекающие от этого, было бы легче признаться, что феномен этот захватывающе интересен. Ничего не поделаешь, придется им заняться. Никто не освобожден от необходимости заниматься этой мрачной фигурой, ибо фигура эта соответствует рассчитанной на грубый эффект, на амплификацию природе политики, то есть того ремесла, которое он себе однажды выбрал, — мы знаем, в сколь большой степени из-за отсутствия способностей к чему-либо другому. Тем хуже для нас, тем постыднее для сегодняшней беспомощной Европы, которую он околдовал, в которой ему позволено играть роль вершителя судеб, покорителя всех и вся, и благодаря стечению фантастически счастливых — то есть несчастных — обстоятельств, ведь все так складывается, что нет воды, которая не лилась бы на его мельницу, его несет от одной победы, победы над ничем, над всеобщим непотворением — к другой.

Одно согласие с этим, одно лишь признание печальных фактов — уже почти равносильно моральному самобичеванию. Нужно совершить насилие над собой, которое вдобавок скрывает в себе опасность аморализма, ибо тогда останется меньше места для ненависти; а ненавидеть должен сегодня каждый, на совесть которого так или иначе возложена судьба цивилизации. Ненависть — о себе я могу сказать, что ее у меня хватает. Я искренне хочу, чтобы это явление с позором исчезло из жизни общества и как можно скорее, на что, однако, едва ли можно надеяться при умелой осторожности этого человека. И тем не менее я чувствую, что это вовсе не лучшие мои часы, когда я ощущаю ненависть к этому пусть коварному, но жалкому

созданию. Более счастливыми и достойными человека кажутся мне минуты, когда потребность в свободе, в не стесненном никакими рамками суждении, одним словом, в иронии, которую я с давних пор научился ценить как элемент, искони присущий всякому одухотворенному творчеству и искусству, одерживает победу над ненавистью. Любовь и ненависть — сильные чувства; однако не принято считать сильным чувством ту форму их проявления, когда любовь и ненависть своеобразнейшим способом соединяются друг с другом, — интерес. Тем самым недооценивается нравственное достоинство интереса. С интересом связаны дисциплинирующие себя порывы, юмористически-аскетическая склонность к узнаванию, к идентификации, к проявлению солидарности, все то, что я воспринимаю как нечто в моральном отношении стоящее выше ненависти.

Этот парень — катастрофа; но отсюда еще не следует, что его характер, его судьба неинтересны. Проследить, как складываются обстоятельства, при которых затаенная обида, гноящаяся где-то глубоко мстительность никчемного, невыносимого, не единожды терпевшего поражение человека, патологически не способного ни к какой работе, хронического обитателя ночлежек и отвергнутого, безнадежно обойденного жизнью третьесортного художника соединяются с чувством неполноценности (гораздо менее оправданным) побежденного народа, не умеющего сделать правильные выводы из своего поражения и только и думающего о восстановлении своей "чести"; как он, никогда ничему не учившийся и не желавший учиться из какой-то неясной, но упрямой заносчивости, не владеющий никакими навыками и немощный физически, не умеющий ничего из того, что умеют делать мужчины, — ни ездить верхом, ни управлять автомобилем или самолетом, ни даже сделать ребенка, — каким образом он сумел воспитать в себе

одно — именно то, что требуется для этого соединения: самое низкосортное, но зато действующее на массы красноречие, этот специально приспособленный для истерики и всяческого комедиантства инструмент, которым он берedit раны народа, заставляет его растрогаться с помощью разглагольствований о его оскорбленном величии, одурманивает его посулами и превращает уязвленное национальное чувство в средство продвижения к собственному величию, восхождения к сказочным высотам, к неограниченной власти, к чудовищному удовлетворению, к сверхудовлетворению — к такой славе и такой ужасающей святости, что каждый, кто когда-либо провинился в незначительном, малом, неузнанном, теперь — дитя смерти, причем смерти как нельзя более ужасной и унижительной, теперь — дитя ада... Как эта фигура из величины национального масштаба вырастает до масштаба европейского, как он учится пользоваться все теми же вымыслами, той же истерически выкрикиваемой ложью и теми же парализующими сопротивлением апелляциями к чувству, которые помогли ему стать величиной в одной стране, — на более обширном пространстве; каким мастером проявил он себя, эксплуатируя инертность целого континента, его боязнь кризиса, играя на его страхе перед войной, как умеет он через головы правительств обращаться к народам и привлекать столь многих, переманивать их на свою сторону; как покорна ему удача, как безмолвно падают перед ним стены, как этот некогда унылый бездельник, оттого что он обучился — якобы из любви к родине — политике, вознамерился, кажется, захватить Европу, чего доброго и весь мир! Все это поистине неслыханно, ново и поражает своим размахом; и невозможно взирать на это явление без некоторого смешанного с омерзением восхищения.

Контурь сказочных историй проступают здесь (мотив искажения и деградации играет большую

роль в современной европейской жизни): тема Ганса-мечтателя, который получает в награду принцессу и целое королевство, "гадкого утенка", который оказывается лебедем, спящей красавицы, Брунгильды, вокруг которой пламя превращается в стену из роз, и она улыбается, пробудившись от поцелуя героя Зигфрида¹⁰¹. "Германия, пробудись!" Это отвратительно, но это так. Сюда же "еврей в терновом венце", и что только еще не извлечено из народной души вперемешку с постыдной патологией. Выродившееся вагнерианство, вот что это такое, — давно знакомое и легко объяснимое, хотя опять же несколько непозволительное почитание, с которым политический фокусник относится к художественному обольстителю Европы, к тому, кого еще Готфрид Келлер называл "парикмахером и шарлатаном".

Артистизм... Я говорил о моральном самобичевании, но разве не приходится признать — хотим мы того или нет, — что в этом феномене мы встречаемся с одной из форм проявления артистичности? Неким позорным образом здесь присутствует все: "трудный характер", леность, жалкая неопределенность существа, неспособного достичь зрелости, неприкаянность, невозможность разобраться, чего же ты, собственно, хочешь, идиотическое бесперспективное существование на самом дне социальной и душевной богемы, отказ — по сути своей высокомерный, по сути из убеждения, что ты рожден для лучшего, — отказ от всякой разумной и достойной уважения деятельности. На каком же основании? На основании смутного предчувствия своего предназначения для чего-то совершенно неопределимого; назвать его — если можно было бы его назвать, — и люди будут смеяться. К тому же нечистая совесть, чувство вины, злость на мир, революционный инстинкт, подсознательное накопление взрывоопасной жажды отомстить за себя, компенсировать себя, посто-

янная, не покидающая его потребность оправдываться, что-то доказывать, желание властвовать, покорять, мечта увидеть мир дрожащим от страха, исходящим любовью, поклонением, стыдом у ног некогда отверженного... Не стоит, видя стремительность, с которой осуществились эти вождедения, делать вывод о том, насколько велико и как глубоко было спрятано скрытое и тайное достоинство, которое страдало от постыдного сознания, что ты — марионетка, о невероятном напряжении подсознания, которое производит на свет "творения" столь размашистого и нахального стиля. Ибо стиль *al fresco*¹⁰², крупномасштабный исторический стиль присущ не личности, а среде и тому виду деятельности, который влияет на события и людей: политике и демагогии; с шумом и громом, ценою многих жертв они оперируют народами и судьбами многомиллионных масс; их внешняя грандиозность отнюдь не свидетельство необычайных достоинств души нашего героя, значительности этого бьющего на эффект истерика. Но есть в нем и ненасытное стремление к компенсации, самовозвеличению, и беспокойство, и вечная неудовлетворенность достигнутым, и необходимость постоянно подстегивать свою самоуверенность, внутренняя пустота и скука, чувство собственной ничтожности — пока не пришло время что-нибудь затеять и заставить мир затаить дыхание, — есть и не дающее уснуть внутреннее принуждение вновь и вновь самоутверждаться.

Брат... Не такое уж удовольствие иметь столь постыдного брата; он действует на нервы, от такого родственника хочется бежать подальше. И все же я не хочу закрывать глаза на это родство, ибо — еще раз: лучше, честнее, веселее и плодотворней ненависти будет узнавание самого себя, готовность соединить себя с тем, кто заслуживает ненависти, пусть даже это чревато моральной опасностью разучиться говорить "нет". Меня это не пугает, — да

и вообще мораль, поскольку она стесняет стихийность и наивность жизни, отнюдь не обязательно дело художника. Не одно только раздражение, но и успокоительный опыт содержится в той мысли, что, несмотря на все знания, просвещение, анализ, вопреки всем достижениям науки о человеке, — все, что касается действий, событий и самых впечатляющих проекций бессознательного на реальную действительность, всегда остается возможным на этой земле, — а тем более при той примитивизации, которой сознательно, добровольно поддалась сегодняшняя Европа, — хотя желание отдаться этому процессу, злостные выпады против духа и достигнутой им высоты по существу сами становятся лучшим доводом против примитивности. Несомненно, что примитивность в ее дерзком противопоставлении себя времени и уровню цивилизации, примитивность как "мировоззрение", — хотя бы это мировоззрение и считали "исправлением" духовности и противовесом "иссушающему интеллектуализму", — примитивность включает в себе нечто бесстыдное; именно это Ветхий завет называет "мерзостью" и "глупостью", и художник как ироничный сторонник жизни тоже может лишь с отвращением отвернуться от такого нахального и неискреннего возврата к прошлому. Недавно я видел фильм, где был показан ритуальный танец жителей острова Бали; он окончился иступлением и ужасающими конвульсиями обессиленных юношей. В чем разница между этими обычаями и тем, что происходит во время массовых политических митингов в Европе? Разницы нет, или, вернее, она есть: разница между экзотикой и чем-то весьма неаппетитным.

Я был очень молод, когда в пьесе "Фьоренца"¹⁰³ отверг власть красоты и культуры устами одержимого социально-религиозным фанатизмом монаха, который провозглашает "чудо возрожденной естественности". В "Смерти в

Венеции”¹⁰⁴ есть уже некая степень отказа от утонченного психологизма эпохи, есть нечто от новой решительности и опрощения души, которой я, правда, уготовил трагический конец. Я был не совсем в стороне от увлечений и притязаний своего времени, от того, что хотело и должно было прийти, от амбиций, которые через двадцать лет превратились в громогласные домогательства уличной толпы. Кто станет удивляться, что я больше не хотел иметь с ними ничего общего с тех пор, как они утратили всякое политическое оправдание, скатились до вкусов подонков и разгулялись на таком уровне, который не отпугнул только влюбленных в примитивность профессоров и литературных лакеев антидуховности. Поведение, которое может отбить всякую охоту благоговеть перед источниками жизни. Его надо ненавидеть. Но что такое эта ненависть по сравнению с той ненавистью, с которой бывший кредитор бессознательного относится к духу и познанию! Как должен такой человек, как он, ненавидеть анализ! Я сильно подозреваю, что ярость, с какой он устремился к известной столице, была направлена в действительности против проживавшего там старого аналитика, его истинного и настоящего врага — философа и разоблачителя неврозов, все знающего и все очень точно сказавшего даже о ”гении”¹⁰⁵.

Я спрашиваю себя, достаточно ли еще сильны суеверные представления, которыми обычно окутано понятие ”гений”, чтобы помешать назвать нашего друга гением. Почему же нет, если это доставит ему радость? Человек с духовными запросами старается узнать о себе горькую правду почти с такой же настойчивостью, с какой ослы жаждут правды, которая им льстит. Если безумие вместе с рассудительностью есть гений (а это — *определение!*), то этот человек — гений. С таким определением можно согласиться без оговорок, потому что гений означает качество, а не ранг, не степень достоин-

ства, ибо проявляется на самых разных духовных и человеческих уровнях; но даже на самом низком он обнаруживает еще признаки и вызывает действия, которые оправдывают общее определение его как гения. Я оставляю открытым вопрос, видела ли история человечества подобный случай "гения" на столь низкой моральной и духовной ступени и наделенного такой притягательной силой, как тот, ошеломленными свидетелями которого мы являемся. Во всяком случае, я против того, чтобы из-за этого феномена пострадало наше представление о гении вообще как о великом человеке; правда, большей частью гений был явлением эстетическим и лишь изредка сочетал это с величием моральным; когда же он преступал границы, поставленные человечеству, то вызывал ужас и дрожь, которые вопреки всему, что человечество должно было от него вытерпеть, было дрожью счастья. Нельзя, однако, забывать о различиях, — они непомерны. Меня злит, когда я сегодня слышу: "Теперь-то мы знаем, что и Наполеон тоже был порядочным ту-пицей!" Поистине это значит выплеснуть с водой и ребенка. Абсурдно ставить на одну доску два имени: великого воителя рядом с великим трусом и шантажистом якобы во имя мира, с тем, чья роль была бы отыграна в первый же день настоящей войны, — равнять человека, которого Гегель назвал "мировым духом на коне", гигантский, всем овладевший ум, олицетворение революции, тиран-свободоносца, чей образ, подобно классическим изваяниям Средиземноморья, навсегда запечатлен в памяти человечества, с мрачным лентяем, который на самом деле ничего не умеет, "мечтателем" самого низкого пошиба, слабоумным ненавистником социальной революции, лицемерным садистом и бесчеловечным лгуном, под маской "чувствительной души" жаждущим только мщения.

Я говорил о характерном для Европы искажении понятий; и действительно, нашему времени удалось

столь многое обезобразить: национальную идею, миф о социализме, философию жизни, область иррационального, веру, юность, революцию и многое, многое другое. И вот теперь она подарила нам карикатуру на великого человека. Нам ничего не остается, как смириться с исторической судьбой — быть современниками гения на *таком* уровне, с *такими* возможностями самооткровения.

Но солидарность, узнавание — есть выражение презрения к себе такого искусства, которое в конце концов не хотело бы, чтобы его понимали буквально. Я верю, более того, я уверен, что близится новое будущее, которое будет презирать духовно неконтролируемое искусство как черную магию, безмозглое, безответственное порождение инстинкта с такой же силой, с какой времена людской слабости, вроде нашего, замирают в удивлении перед ним. Искусство, конечно, не есть один лишь свет и дух, но оно и не сплошное мутное варево, слепое порождение теллурической преисподней, не только "жизнь". Ясней и счастливей, чем прежде, художество будущего осознает и покажет себя как более просветленное волшебство: подобно крылатому Гермесу, любимцу луны, оно будет посредником между духом и жизнью. Но и само по себе посредничество есть дух.

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИКА¹⁰⁶

Тот факт, что я осознал себя сторонником демократии, является следствием убеждений, которые дались мне нелегко и первоначально были чужды мне, выросшему и воспитанному в духовных традициях немецкого бюргерства; да, я пришел к убеждению, что политическое, социальное составляет неотъемлемую часть человеческого, принадлежит к единой проблеме гуманизма, в которую наш интеллект должен влючать его, и что в пробле-

ме этой может обнаружиться опасный, гибельный для культуры пробел, если мы будем игнорировать неотторжимый от нее политический, социальный элемент.

Не покажется ли странным, если я скажу, что попросту приравниваю демократию к политике, определяя ее как политический аспект духовного, как готовность духа к политике? Но я уже сказал это двадцать лет назад в стоившей мне мучительных усилий объемистой книге, озаглавленной "Размышления аполитичного", где я привел это определение с полемически-отрицательным знаком и где я во имя культуры и даже свободы всеми силами сопротивлялся тому, что называл "демократией", имея в виду политизацию духовной жизни. Повторяю, даже во имя свободы, ибо в соответствии со складом моего мышления понятие "свобода" означало для меня в то время свободу *нравственную*, а о соотношении последней с *гражданской* свободой я почти ничего не знал, да и знать не хотел. Ту книгу я написал в годы войны, страстно отдаваясь самопознанию и пересмотру всех основ моего мировоззрения, всех унаследованных мною традиций, — традиций аполитичной немецко-бюргерской духовной культуры. Эта культура впитала в себя музыку, метафизику, психологию, пессимистическую этику, идеалистическую теорию индивидуалистической педагогики, — но с пренебрежением отвергала всякий политический элемент.

Однако самопознание, если только предаваться ему с достаточной основательностью, представляет собой в большинстве случаев первый шаг к внутреннему перерождению; я понял, что человек, познавая себя, никогда не остается вполне таким же, каким он был прежде. Уже та книга, с характерным для нее стремлением говорить обо всем сразу, была выражением кризиса, плодом новой обстановки, созданной катастрофическими внешними событиями: проблема человека, проблема гуманизма во

всей своей сложности и с небывалой доселе безотлагательностью вставала перед духовным взором нашего поколения. Становилось ясно, что духовную жизнь нельзя начисто отделить от политики; что мысль, будто можно создавать культурные ценности, сохраняя аполитичность, представляет собой заблуждение немецкой бюргерской идеологии; что культура стоит перед лицом грозной опасности, если ей недостает политического инстинкта и воли; словом, на бумагу рвалось осознание демократической позиции, — оно требовало своего оформления вопреки противодействию впитанной мною традиции аполитичности. И я признателен своему доброму гению за то, что не сдержал этого порыва. Где был бы я сейчас, на чьей стороне стоял бы, если благодаря своему консерватизму остался бы приверженцем германской культуры, которая со всей ее духовностью, со всей ее музыкой не смогла уберечься от того, чтобы не опуститься до подлейшего низкопоклонства перед насилием, до варварства, угрожающего основам западной цивилизации!

До какой степени злосчастный характер германской истории и ее путь к национал-социалистической катастрофе культуры связан с аполитичностью бюргерского духа в Германии, с его антидемократическим отношением к политической и социальной сфере, на которую он взирал с высот спиритуализма и идеалистической "педагогике" — все это я снова предельно отчетливо осознал, когда недавно вновь перечитал творения одного из великих немецких мыслителей, отличного писателя, оказавшего огромное влияние на меня в молодые годы; я имею в виду Артура Шопенгауэра*.

Этот выдающийся ум, предшественник Ницше в области антиинтеллектуализма, революционный реакционер, свергший с престола разум и превративший его в бессловесное орудие "воли", темного инстинкта, этот философ был ожесточенным про-

тивником Гегеля, который обожествлял политику и создал учение о государстве-улье как о высочайшей цели всех человеческих устремлений; все это Шопенгауэр объявил величайшим филистерством. Сам он видел в государстве неизбежное зло и обещал некритическое, снисходительное невмешательство тем, кто взял на себя неблагодарную задачу управлять людьми — этим племенем зловредных дикарей, охранять среди них законность, покой и порядок; а тем, кому выпало на долю владение какой-либо собственностью, он обещал защиту против тех бесчисленных обездоленных, кто владеет лишь собственной физической силой. Теперь мы видим, каковы страшные последствия антигуманистической доктрины, согласно которой назначение человека — раствориться в государстве, и нам понятен протест против абсолютизации государства, которая, говоря словами Шопенгауэра, ведет к тому, что "мы совершенно теряем из виду высокую цель нашего бытия". Но разве и концепция государства как органа для охраны собственности не граничит с "филистерством", только с другой стороны, нежели гегелевское обожествление государства? И разве иронический отказ философствующего мелкого капиталиста от всякого вмешательства в политику, отказ духа от всяких политических страстей, — разве это шло на благо человеку, помогало ему жить? Своим девизом Шопенгауэр провозгласил: "Я каждый день благодарю Бога за то, что мне не надо печься о Священной Римской империи!"¹⁰⁷. Государству подобный афоризм в духе чистейшего филистерства и шкурничества не слишком должен был прийтись по вкусу, и мы теряемся в догадках, как мог воитель духа Шопенгауэр избрать себе такой девиз.

Дело в том, что отказ культуры от политики — заблуждение, самообман; уйти таким образом от политики нельзя, можно лишь оказаться не в

том стане, питая, сверх того, страстную ненависть к противнику. Аполитичность есть не что иное, как попросту *антидемократизм*, а что именно это означает, каким самоубийственным образом дух став на такую позицию, бросает вызов всему духовному, обнаруживается с необычайной ясностью на крутых поворотах истории. Позиция Шопенгауэра в 1848 году¹⁰⁸ была зловеще обывательской и трагикомической. Его симпатии ни в малейшей степени не принадлежали тем, кто в то время надеялся — впрочем, в достаточной мере утопично — придать немецкой общественной жизни направление, которое вплоть до наших дней определило бы иное, более счастливое для человечества развитие общеевропейской истории и отвечало бы интересам всех людей с духовными запросами, другими словами — направление демократическое. Народ он называл не иначе, как "всевластная сволочь", и офицеру, который из окна его квартиры вел наблюдение за баррикадами, демонстративно предоставил свой театральный бинокль, чтобы тому было удобнее вести огонь по мятежникам. Это ли называется стоять выше политики? Ведь это просто ненависть реакционера, и духовные причины этого чувства нам вполне очевидны. Мы зашли бы слишком далеко, если бы стали анализировать, в какой степени антиреволюционность Шопенгауэра логически и идейно коренится в его мирозерцании: она зависит от всего склада его природы; она — некая основа его существа, связанная с его этическим пессимизмом, с тем культом "креста, смерти и могилы", который психологически-закономерно враждебен риторике, пафосу свободы, культу человечества. Этот мыслитель — антиреволюционер в политике вследствие своего пессимизма, отрицающего жизнь, вследствие своего преклонения перед страданием и своей ненависти к "непристойной оптимистичности" демагогии почитателей прогресса. В общем, от него тянет душком

слишком хорошо знакомого нам, слишком напоминающего нашу дорогую отчизну немецкого духовного бюргерства, — мы говорим "немецкого" потому, что оно пронизано духовностью, а его интроспективность, его консервативный радикализм, его абсолютная отрешенность от всякого демократического прагматизма, его "чистая гениальность", его вызывающая несвобода, его глубокая аполитичность представляют собой специфически немецкую потенцию, закономерность и — опасность.

Политическое безволие немецкого понятия культуры, игнорирование им демократии страшно отомстило за себя: немецкий дух пал жертвой тотальной государственности, которая лишила его не только гражданской, но и нравственной свободы. Если демократия означает, что политическое и социальное следует рассматривать как часть всеобщей проблемы гуманизма и что следует охранять нравственную свободу, защищая свободу гражданскую, то противоположностью, в которую, по законам диалектики, переходит антидемократическое высокомерие духа, является та теория и та глубоко бесчеловечная практика, которая абсолютизирует один из элементов проблемы гуманизма — политику, видит в политике всеобъемлющую тотальность, не желает ничего знать, кроме идеи государства и власти, приносит в жертву этой идее человека и все человеческое и уничтожает всякую свободу. Этот процесс с неумолимой закономерностью ведет к трагическим последствиям. Политический вакуум в духовной жизни Германии, высокомерное отношение бюргера-интеллигента к демократии, его презрение к свободе, в которой он видит не что иное, как риторическое фразерство западной культуры, — все это сделало его рабом государства и власти, простой функцией тотальной политики, унизило его до такой степени, что невольно спрашиваешь себя, сможет ли он когда-

нибудь снова поднять глаза перед лицом всемирного духа.

Если он вообще выйдет живым из этого ужаса; если немецкий дух, который (в соответствии со словом Гёте: "Цвет просвещения — разве он не духом бюргерства рожден?") все представляет себе не иначе, как бюргерским, — если он переживет тотальный позор, именуемый национал-социализмом, то, надо надеяться, это катастрофическое следствие его слепоты к политическому аспекту проблемы гуманизма окажется для него суровой, но поучительной и спасительной школой. Я часто говорил: в Германии не станет лучше до тех пор, пока у немцев при слове "свобода" не будут навертываться на глаза слезы. Теперь уже, кажется, этого недолго ждать. После шести лет гестаповского государства немецкий бюргер как будто начал понимать, что такое, в конце концов, свобода, право, человеческое достоинство и неприкосновенность совести; он начал понимать и то, что эти понятия — нечто большее, чем пустопорожние фразы гуманитарного бунтарства. Но есть вещи, которые легче утратить, нежели обрести вновь, и ответ на вопрос, суждено ли еще когда-нибудь бюргерскому духу в Германии использовать свой трагический опыт, зависит от длительности нынешнего катастрофического кризиса, от того, является ли он переходящим эпизодом или исторической эпохой. Как бы то ни было, но пока что роковые события развиваются своим чередом, и немецкий дух, желавший эмансипироваться от политики, гибнет под гнетом политического террора; парадоксальность его гибели довершается чудовищным итогом: бюргера-антиреволюционера, всегда признававшего революцию только в сферах религии и духа, ненавидевшего и презиравшего ее в сфере политики, насильственно принудили стать санкюлотом — участником самой необузданной "революции", какую когда-либо видел мир, — "революции", которую

меньше всего можно назвать духовной, меньше всего гуманистической, которая направлена против всего, что история Запада учила понимать под культурой и гуманизмом, "революции" абсолютного и планомерного разрушения и уничтожения всех нравственных основ — во имя пустопорожней политической идеи власти.

Теперь уже всем должно быть ясно, что иных целей нет и не было у "революции", которая называет себя германской, что ей неведомы никакие духовные, моральные, человеческие стимулы, кроме безумной и бессмысленной жажды власти и порабощения; что все "идеи", "миросозерцания", теории, убеждения служат ей исключительно завесой, предлогом, орудием обмана для достижения завоевательной цели, лишенной всякого нравственного содержания; это теперь должно быть ясно даже тем, кто и в Германии, и за ее пределами хотели видеть в "национал-социализме" оплот какого бы то ни было порядка, хотя бы даже капиталистического. Если чувство собственного достоинства Запада по-прежнему будет трусливо пятиться перед ним, то в этой "революции" погибнет много больше, чем только капиталистический строй; было бы смешно думать, что она остановится перед ним, — она, которая ради сохранения и расширения своей власти готова с беспредельным цинизмом заимствовать любой лозунг, и в первую очередь (как о том в настоящее время свидетельствуют бесчисленные признаки) заимствовать те самые лозунги, от которых она сулилась спасти буржуазный мир: лозунги большевизма.

Буржуазия Европы, более того, буржуазия всего мира поверила, что национал-социализм спасет ее от большевизма, попалась на удочку этого движения, "лишенного всяких предрассудков", идеологически абсолютно бесчестного и заявляющего о своей якобы лояльности из чисто тактических соображений; буржуазия до сих пор продолжает болтаться

на крючке, в момент, когда практически, быть может, уже слишком поздно осознать свою ошибку. И это непростительная ошибка! Ибо здоровый инстинкт должен был подсказать ей, что это устремленное в никуда "движение", которое, правда, начинало свой путь под прикрытием различных грубо манящих личин — националистической и мелкобуржуазной культурно-консервативной, — как раз и является тем самым, что буржуазная фантазия вкладывает в мифическое понятие "большевизма". Все, что она вкладывает в это апокалиптическое понятие: насилие, анархия, кровь, огонь и господство черни, преследование веры, грязная жестокость, извращение всех понятий, опозорение права и разума, бесстыдное, дьявольски-издевательское извращение истины, подстрекательство подонков общества, разложение, ликвидация государственного порядка, причем все это вынесенное за моря и границы вплоть до последнего уголка земного шара при помощи денег, подкупа, одурающего пустословия, бесчисленной армии шпионов и агитаторов, пока везде и всюду не будет сломлено сопротивление, уничтожен порядок и весь мир не превратится в огромную могилу свободы, над которой развевается знамя тупоумного рабства, — да, подобным "большевизмом" является только национал-социализм. И если войны, более разрушительные и варварские, чем Тридцатилетняя война¹⁰⁹, разразятся над Европой, разорвут ее в клочья и отбросят на несколько столетий назад, — он, враг человечества, будет зачинщиком этих войн.

Враг человечества... Презрение к политике, антидемократизм немецкого духа, мнившего себя носителем культуры, привели к тому, что уделом его стала эта страшная бранная кличка, это проклятие. Он ни сном ни чохом не помышлял ни о чем подобном, да и теперь, оказавшись лицом к лицу с фактами, спрашивает, уж не привиделось

ли ему все это во сне. Увы, это реальность. Он отказывался признать политику составной частью проблемы гуманизма, и теперь эта его позиция привела к диктатуре политического террора, к бесконтрольной власти грубой силы над рабами, к тотальному государству; плодом его эстетско-бюргерского стремления уйти в область культуры оказалось такое утверждение варварства в морали, средствах и целях, какого еще не видел мир; и своим высокомерным чистоплостью по отношению ко всякой освободительной революции он обязан тем, что стал орудием чудовищного переворота, орудием анархической, тотальной "революции", которая угрожает основам и принципам всей западной цивилизации и морали и с которой не может сравниться никакое нашествие гуннов в далеком прошлом.

Вольно же ему было кривиться в усмешке антидемократизма, не подозревая о том, что демократия идентична этим основам и принципам, что она представляет собой не что иное, как политический аспект западноевропейского христианства, а сама политика есть не что иное, как та нравственность духа, без которой он обречен на гибель. Мы хотим констатировать следующее: в то время как во внешней жизни народов наступила — или казалось, что наступила — эпоха культурного упадка, вероломства, беззаконья и гибели понятий верности и доверия, дух вступил в эпоху *моральную* — иначе говоря, в эпоху упрощения, когда он, отказавшись от гордыни, пытается разобратся, где добро и где зло. Зло явилось нам в такой бесстыдной гнусности, что у нас открылись глаза на величаво-простую красоту добра, мы почувствовали к нему сердечную склонность и уже не считаем зазорным для своей утонченности признаться в этом. Мы вновь решаемся произносить такие слова, как свобода, истина, право; мы видели столько подлости, что избавились от холодного

скептицизма, с каким прежде относились к ним. Мы идем с ними навстречу врагу человечества, как древле монах шел с распятием навстречу сатане; и все муки, все страдания, которые уготовила нам наша эпоха, перевешивает юное счастье человеческого духа, который вновь обрел начертанную ему от века миссию и зрит себя Давидом, сокрушающим Голиафа, святым Георгием-победоносцем, сражающимся со змеем лжи и насилия.

*(Печатается по: Т. Манн. Собр. соч.
на русск. яз., т.10, стр. 288—296.
Перевод Е. Эткинда.)*

ОПАСНОСТИ, ГРОЗЯЩИЕ ДЕМОКРАТИИ¹¹⁰

В Америке существует насущная потребность выяснить истину, скрывающуюся за поступающими сюда сообщениями, узнать *inside story* /подоплеку — *англ.*/ важных событий, понять, что происходит “в действительности”; здесь есть даже учреждения, которые специально занимаются разоблачением иностранной пропаганды. Так в чем же *inside story* антисемитизма? Ибо — пусть никто из моих слушателей не заблуждается: эта особая форма расовой ненависти не ограничивается вызывающими невообразимый ужас действиями, которые совершаются в масштабах, намного превосходящих все совершенные ранее злодеяния. О нет, сегодняшний ловко подогнанный под наш технический век искусственный антисемитизм — не самоцель. Он не что иное, как средство, гаечный ключ для того, чтобы разобрать на части весь механизм нашей цивилизации. Или, пользуясь актуальным сравнением: антисемитизм — как ручная граната, брошенная через стену с целью вызвать смятение и хаос в лагере демократии.

Чьи это слова? Моя собственная теория? Отнюдь нет. Главные зачинщики мирового антисемитизма

сами открыто похваляются своим хитрым трюком: подобным приемом разъединить, произвести раскол среди сильных народов, дабы, убедившись в "зловредности евреев", они забыли, что у демократов должна быть совесть. Для нацистов антисемитизм и национализм — весьма полезные инструменты, которыми они пользуются в своем стремлении завладеть миром, "подтачивая его изнутри". Приглядимся к их технике.

Они действуют двумя путями: вербуют себе друзей и избавляются от врагов. Первый путь — антисемитизм апеллирует к тем ничтожным людям, которые должны чувствовать под своим каблуком других, чтобы предстать более значительными в собственных глазах. Такие люди говорят себе: "Может быть, я никто, но по крайней мере не еврей! Следовательно, я кое-что значу, я аристократ". Для маленького человека антисемитизм — эрзац аристократизма. Тем же, кто чурается расовой ненависти и стыдится ее, эти мастера по части совращения говорят: "Зачем вам так беспокоиться из-за всех этих разговоров о преследованиях, депортации и голодной смерти? Все преувеличено! Пусть евреи пекутся о себе сами; не вмешивайтесь, как бы с вами самими ничего такого не случилось! Оставьте евреев нам, за это мы обещаем, что вас мы не тронем!"

Остерегайтесь подобных речей! Народы Европы заманили таким способом в ловушку и только потом они поняли, что удар по евреям был лишь сигналом к началу общего похода против основ христианства. Гуманная вера, за которую мы навек обязаны благодарностью народу Священного Писания, берет свое начало в древнем мире средиземноморья. То, чему мы сегодня свидетели, не что иное, как еще одно возмущение непобежденных языческих инстинктов против установленных Десятью заповедями ограничений. В средние века евреи — они были воплощением этой древней

средиземноморской культуры — имели несчастье первыми навлечь на себя гнев более молодых северных народов.

Тем самым то, что происходит с евреями, — не только еврейский вопрос. Сам я не еврей и поддерживаю United Jewish Appeal¹¹¹ /Объединенный еврейский призыв — *англ.* /, ибо из горького опыта знаю, что огонь костра, в котором горит еврей, перебросится на стоящие рядом здания. Мы все погибнем, если не будем настороже, не погасим пламя прежде, чем будет слишком поздно. Этот гибельный огонь, как тот пожар, о котором говорится в немецком сказании "Муспили, или Сумерки языческих богов". Будем надеяться, что эти новые сумерки не принесут с собой воскрешения языческого бога; пусть возвестят они наступление расвета. Будем молиться о том, чтобы мученичество народа, сыном которого был Спаситель, привело к спасению всего страдающего мира.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

16.6.1940

[...] Гитлер очищает мир от гнилости и грязи? Это же издевательство над Богом. Я думаю о начале, о весне 1933 года в Арозе¹¹², когда это началось, и я испытывал потребность после долгого перерыва возобновить дневниковые записи. Суд над капитализмом? До тех пор, пока Черчилль не стал у руководства, Англия продавала нефть Германии. Америка дала возможность Японии вести войну с Китаем. Она участвовала в испанском преступлении¹¹³. Нет, фашизм не более нравственен. Плохое наказывается худшим. Как кончится моя личная жизнь в этом хаосе?

18.2.1941

[...] Балканы подчинятся Германии. Грецию за-

ставят заключить мир с Италией, дабы она не превратилась в поле боя между Англией и Германией. Я считаю, что тенденции сохранить фашизм, чтобы избежать социализма, очень сильны в мире.

22.4.1941

[...] Геббельс сказал испанским журналистам, что у Германии есть выбор только между победой и полным уничтожением. Хотя и небольшое удовольствие быть немцем после войны, но речь не идет о полном уничтожении, только о свержении власти фашистов.

23.11.1941

[...] Много думал о нашем времени, о "революции", делах в Германии, о "днях совокуплений"¹⁴ — чистый большевизм (самая настоящая конкуренция в проявлении власти), и при этом шумиха вокруг "культуры, завещанной Веймаром"¹⁵. Какая грязная мешанина. Какая бессмыслица — поход против России.

26.11.1941

[...] Устранение внешних остатков феодализма, таких как студенческие корпорации, но ничего против юнкерства, крупного землевладения. Гитлер — революционер, который всегда заодно с властью, рассчитывал на крупную индустрию, армию. Чудовищная подлость. Роскошная жизнь его сатрапов, социальный прогресс: бесплатное обучение подмастерьев, "Сила через радость"¹⁶, род безграмотной демократии для массы, тупой, гордящейся своей расой, счастливой от того, что ничего не знает, массы, лишенной индивидуальности [...]. Революционный напор при полном отсутствии сомнений, не сдерживаемый никакой гуманностью, никакой пощадой (евреи, поляки, сербы, массовые выселения, безграничное горе, убийства на расовой почве), в смеси с сентиментальной "германской

сущностью”, завистью, грязной мещанской жаждой мщения. Разнузданность в сексуальной области. У “вождей” зависть к капиталистической роскоши, но при этом кричат, что они антикапиталисты. Разрушение христианства, вообще религии, семьи и т.п., но громкие протесты, когда об этом говорится. В России революция, чтобы поднять массы, здесь же — для их “организации” на стадном уровне.

НЕМЕЦКИЕ СЛУШАТЕЛИ!¹¹⁷

Январь 1942

Немецкие слушатели!

Известие звучит неправдоподобно, но у меня надежный источник. Как мне сообщили, во многих семьях голландских евреев глубокий траур по сыновьям, погибшим страшной смертью. Четыреста молодых голландских евреев увезли в Германию, чтобы испытать на них действие ядовитого газа. Токсичность этого рыцарского и истинно германского военного средства, настоящего зигфридова оружия¹¹⁸, доказана на молодых недочеловеках. Они мертвы — умерли за “новый порядок” и военную изобретательность расы господ. Для этого они были, во всяком случае, достаточно хороши. Ведь они евреи.

Я сказал: история звучит неправдоподобно и везде в мире многие отказываются ей поверить. Живучи остатки этого нежелания верить, от которого мы, немецкие беженцы, так жестоко страдали все эти годы. Нежелание поверить в подлинную природу национал-социализма и мнение, что он допустим *с человеческой точки зрения*, существуют даже сегодня еще повсюду: склонность, чтобы не сказать тенденция относиться к таким историям, как к служащей устрашению выдумке, широко распространена — к выгоде врага. Но это

не просто отдельные факты — это *история*. Нацисты сознательно хотят войти в историю всеми своими действиями и пробное отравление четырехсот молодых евреев — сознательное и демонстративное историческое действие, долженствующее служить примером духа и мировоззрения национал-социалистической революции, которую нельзя понять, если не считать нравственную готовность к таким действиям революционным достижением.

В этой готовности — она возвращает немцев на тысячелетия назад — *и состоит* национал-социалистическая революция. Ничего другого она с собой не принесла и никогда не принесет. Нельзя забывать, что и в начале этой войны — а она началась не в 1939, а в 1933 году — были упразднены права человека. "Права человека упразднены" — провозгласил тогда д-р Геббельс в берлинском Дворце спорта, и десять тысяч одуроченных болванов ревом выразили жалко-бессмысленное ему одобрение. Это была историческая декларация, принципиальная основа всего, что совершает сегодня нацистская Германия по отношению к народам, включая свой собственный. Упразднение всех нравственных достижений человека в течение тысячелетий — не только достижений Французской революции, но и смягчающего нравы, пробуждающего совесть воздействия христианства — прокламируется как революционное достижение. Содержание, новое учение и дела, теория и практика национал-социалистической революции — это зверство, одно только зверство, и продукт этой революции — сегодняшняя Европа, наполовину разграбленная, голодная, страдающая от болезней территория, которая, если гитлеровская война продлится еще несколько лет, превратится в место, где будут бродить только волчьи стаи.

АГНЕС МЕЙЕР*

Пасифик Пэлисейдз, 27.6.1942

[...] Представить себе всю меру горя, которое принесла и еще принесет в мир эта гадина, потому что цивилизованное человечество оказалось слишком глупо и слишком эгоистично, чтобы остановить ее вовремя, не в силах никто, и все-таки чувствуешь себя до некоторой степени обязанным сделать это [...].

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 138.
Перевод С. Анта.)*

РЕЙНГОЛЬДУ НИБУРУ*¹¹⁹

Пасифик Пэлисейдз, 19.2.1943

[черновик]

[...] По поводу Ваших волнующе умных и тонких замечаний я хочу сказать сегодня только следующее: предыстория того, что Вы называете "Conversations to the importance of politics" / Беседы о важном значении политики - *англ.* /, то есть моего нынешнего демократизма, разыгралась в Германии на глазах у всех, совершенно открыто. Я заплатил за это ненавистью и поношениями, которым должен был подвергнуться в национал-социалистической Германии, и чувствую себя свободным защищать мои сегодняшние убеждения совершенно открыто. Я знаю, что их следует объяснить просто естественным развитием моей личности, которое заявляет о себе в политических высказываниях лишь попутно, гораздо явственнее — в трех главных художественных вехах моей жизни: в романе "Будденброки", "Волшебная гора" и в "Историях Иосифа". Но я не допускаю, однако, мысли, будто "Conversations" были нужны, дабы показать, что я увидел в нацистском духе мерзость,

какой она является. Если бы я остановился на ступени "Размышлений аполитичного", которые в конечном счете не были антигуманистической книгой, то я с такой же яростью и *с таким же правом* выступил бы против этой мерзости, как я делаю это сегодня в качестве "демократа". *Sit venia verbo* /да позволено мне будет так сказать — *лат.*/.

ГОСПОЖЕ РЕВАЛЬД*

Пасифик Пэлисейдз, 12.5.1943

[...] Мне приятно узнать, что Вы не восприняли мои утешения как пустые слова и они принесли Вам некоторое душевное успокоение. Самое печальное, что я и на этот раз не могу прибавить ничего отрадного. Конференция на Бермудах /по проблемам беженцев (19—30 апреля 1943 г.) — *пер.*/, о которой Вы спрашиваете, состоялась. Она была созвана под известным давлением общественного мнения и внушительных демонстраций американского еврейства, но была ли там продемонстрирована искренняя добрая воля, сказать трудно. Во всяком случае результат ее нулевой. В оправдание конференции можно сказать только, что против зла гитлеровского режима нельзя сделать ничего, кроме как вести против него войну. Его надо уничтожить, и мы вправе ожидать, что он будет уничтожен. Для бесчисленно многих уничтожение придет слишком поздно, и я боюсь, что в случае Ваших сестер это окажется "слишком поздно"! Это ужасно, и я глубоко Вам сочувствую. Пытаясь утешить Вас, я должен сам удовлетвориться утешением, что делаю все, что в моих слабых силах, чтобы побудить мир уничтожить подлых властителей-убийц, которые принесли неискупимые страдания народам и людям. [...]

К. Б. БАУТЕЛЛУ*
[черновой набросок]

Пасифик Пэлисейдз, 21 января 1944

Dear Mr. Boutell / Дорогой мистер Баутелл —
англ. /,

мне жаль, что глупый донос этого господина Араквистейна произвел на Вас такое сильное впечатление. Меня он оставил бы вполне равнодушным, и я совершенно не чувствовал бы себя обязанным ответить, если бы не Ваш почти угрожающий призыв ко мне оправдаться, объяснить, извиниться. Если господин Араквистейн не может простить мне моего становления и роста, моего духовного и нравственного развития, моей жизни, то это его беда, не моя. Я живу, надеюсь продвинуться еще дальше, чем я продвинулся, радуюсь пройденному пути и не отрекаюсь ни от одной его стадии, потому что убежден в справедливости гётевского изречения:

Если к правой цели ты идешь,

Путь во всех частях его хорош.

Я сомневаюсь в том, что это разумно — человека, старающегося в полную меру своих не юношеских уже сил участвовать в борьбе современного человечества и каждодневно соединять свои обязанности гражданина мира с продвижением и завершением труда собственной жизни, для многих небезразличного, — я сомневаюсь в том, что есть какой-либо смысл тыкать такого человека в суждения, высказанные им на совсем другой фазе истории и его жизни, и заставлять его за них отвечать. Но поскольку Вы считаете нужным занимать своих многочисленных читателей наветами автора письма в "Таймс", надо, видно, и мне сказать кое-что по этому поводу, и я охотно отвечу на Ваш вопрос, если Вы позволите мне не слишком вдаваться в подробности.

Я не могу с полной уверенностью ручаться за

точность цитат господина Араквистейна, но полагаю все-таки, что он не докатился до фальсификации. [...] Нет сомнения, все это я говорил, и звучит это сегодня довольно скверно. Много скверных, из ряда вон выходящих вещей говорилось тогда в Европе — не только в Германии, где Гауптман, Демель* и Гофмансталь*, Гарден* и Ратенау благословляли национальную войну так же, как я, но и умными вообще-то людьми вражеского зарубежья, и мое диалектическое гусарство 1914 года¹²⁰ объясняется отчасти реакцией на множество запальчивых оскорблений, брошенных тогда в лицо немецкой философии и культуре, с которой я жил в естественном единении. Но прежде всего оно объяснялось полной политической невинностью и невежеством выросшей на Лютере и романтиках немецкой интеллигенции, долго не видевшей в войне, когда та застала ее взрослой, ничего, кроме справедливой защиты ценностей, которые, к ее интеллигенции, изумленной растерянности, вдруг оказались преданы поруганию. В этой сфере ценностей были корни всего, созданного к тому времени мной лично, ее я имел в виду, когда говорил "Германия", и за нее я вступился.

Мой обвинитель подчеркивает, и Вы считаете своим долгом с ним согласиться, что мне было тогда 40 лет и мои суждения были, следовательно, суждениями зрелого человека. Ну, зрелость понятие очень относительное, и человек, которому суждены долгая биологическая стойкость, далекий путь, в 40 лет, может быть, и не отличается такой уж зрелостью. Да и достиг ли я зрелости сегодня, тоже не знаю. Чтобы ее достичь, нужна, может быть, вся жизнь, и созревание — это, может быть, не что иное, как созревание для смерти. Как художник я, кажется, созрел необычайно рано, поскольку в 25 лет написал книгу, которая живет и сегодня и, возможно, переживет все, что я потом написал. Зато в политическом отношении я созрел

(и это, может быть, национально-немецкая черта) явно очень медленно, и фактически лишь война 1914 года, потрясшая самые мои устои, вообще столкнула меня с проблемами, чувства которых я дотоле в себе не развил.

"Politics, — сказал кардинал Мэннинг*, --- is a part of morals" / "Политика — это часть морали" — *англ.*/. Не хочу казаться хуже, чем я есть, и не стану утверждать, будто моя юность и мои "зрелые годы" были совершенно чужды морали. Я следовал пессимистической этике, воплощением которой были "вопреки", храбрость, выдержка в тяжелых условиях, и в Германии я видел страну, которая жила в тяжелых внешних и внутренних условиях, страну, которой было трудно, как бывает трудно художнику. Я отождествлял себя с ней — такова была форма и таков был смысл моего военного патриотизма. Я высказывался в пользу прусской идеологии, прусской повадки, прусского милитаризма. [...] Я думаю в связи с этим о статье, недавно появившейся в московской "Интернациональной литературе", где речь идет о пруссачестве в немецкой словесности¹²¹. Автор статьи Георг Лукач*, литературовед коммунистических убеждений, коснувшись в ней моих высказываний времен прошлой войны, заявил, что нельзя психологически верно оценить мой тогдашний фредерицианизм¹²², мою апологию прусской повадки, отрывая их от вышедшего перед войной рассказа "Смерть в Венеции", где прусской этике была уготовлена гибель, исполненная иронического трагизма... Насколько же это замечание выше плоских придиорок английского патриота из чужой страны!

Никто не скажет, что я так уж пекся о своей личной выгоде, держа нос по ветру. Еще консервативные "Размышления аполитичного" вышли в момент катастрофы, в 1918 году. Даже немецким националистам проку от этой книги не было. Они всегда питали справедливое, с их точки зрения, недоверие

ко всему духовному, в том числе и к консервативной духовности. Когда потом снова стала подниматься волна национализма, я уже дошел до того, чтобы броситься ей наперерез, и выступил с обращенной к молодежи речью "О немецкой республике"¹²³. Я просто кое-чему научился — чего многие другие не сделали. В течение десятилетия, подвергаясь ядовитейшим нападкам, постоянно жертвуя своим покоем и благополучием, я пытался предотвратить надвигающуюся, как я видел, беду. Ибо мой взгляд обострился, я понимал, что означал нацизм для Германии, для Европы и для мира, в то время как подавляющее большинство моих соотечественников, а с ними Европа и широкий мир этого не понимали. Предполагать это надо к их чести, ибо как обстояло бы дело с мировой демократией, если бы она понимала фашизм и все-таки помогала ему?

[...] Юношей я написал "Будденброков, упадок одной семьи". В 50 "Волшебную гору". Сейчас, когда мне скоро будет 70, предстоит выход заключительного тома "Иосифа и его братьев". Первое произведение было немецким романом, второе — европейским, третье — это мифическо-юмористическая песнь о человечестве. Доброжелательный наблюдатель мог бы говорить о процессе развития и одухотворения — безотчетно определенном великими образцами.

[...] Я не думаю, что его донос на старые сочинения отнимет у меня благодарность тысяч измученных сердец за иные слова утешения и ободрения, сказанные мною в самое мрачное время; не думаю также, что он поколеблет потомство во мнении, что я не только создал несколько славных вещей, но и всегда, на всех ступенях своего разума, старался думать о добром и справедливом.

Sincerely yours / Искренне Ваш — *англ.* /

Томас Манн

(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 160—163.

Перевод С. Анта.)

ВОЗМОЖНО ЛИ СОХРАНЕНИЕ МИРА ИЛИ ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ОДНА МИРОВАЯ ВОЙНА?¹²⁴

[...] У этой войны есть предыстория — достойное осуждения потворство фашистскому режиму со стороны капиталистической демократии, — за что лежит на ней изначально моральная вина. То обстоятельство, что она вынуждена из-за бешеного стремления фашизма к власти вести с ним войну, не означает, что капиталистическая демократия перестала видеть в нем опору против социализма. Мы слишком охотно дали убедить себя, что это не империалистическая война, как иная другая, что она ведется не за рынки и сферы влияния, а за создание лучшего, более справедливого мира, что она действительно народная война — в этом случае она, возможно, могла бы быть последней. Однако отнюдь не все, что мы видим, укрепляет нас в желаемой вере, не всегда внушает нам уверенность, что, борясь против фашизма, мы воюем не только против соперника — претендента на власть, но и против морального зла, самого большого, самого отвратительного обмана народа. Правда, нынешний германский режим исчезнет с политической карты, что, конечно, немало. Но фашизм останется, и, кажется, нет намерения портить ему жизнь, раз он больше не представляет собой опасности в борьбе за власть. Сохранить его будет считаться мудрым, ибо он может предотвратить ”революцию”; я понимаю под революцией совершенную в социальном отношении демократию — только она обеспечит относительно прочную защиту от последующих катастроф.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

17.7.1944

[...] вечером читал большую статью Лукача о Ницше и фашизме в "Интернациональной литературе", Эренбурга — об ужасающем разорении России немцами. Но не следует забывать, что национал-социализм был энтузиастической, искрящейся революцией, германским народным движением, подкрепленным колоссальной верой и воодушевлением.

КЛАРЕ ЗЕМПЛИНИ-НЕЙМАН*

Пасифик Пэлисейдз, 20.7.1944

Глубокоуважаемая фрау Нейман, я получил Ваше письмо, оно очень взволновало меня. Поверьте, я всем сердцем разделяю Ваши чувства в связи с тем, что происходит с евреями Европы. Ваш ужас, Ваше отвращение, Ваша ненависть — все это я давно испытываю сам. Уверяю Вас, что я не пропускал ни одной возможности открыто высказать свои чувства и пробудить по мере сил совесть мира. Еще недавно я написал статью для книги, посвященной еврейскому руководителю Хайму Вейцману¹²⁵, где выразил мое глубокое уважение еврейству и отвращение перед преступлениями, совершенными по отношению к нему. И вот, Вы призываете меня требовать проведения акций по отмщению или устрашению ради спасения несчастных венгерских евреев. Но Вы должны учесть, что такие меры представляют собой тяжелую моральную проблему. Большой вопрос, могут ли союзнические нации как борцы за свободу и гуманизм позволить себе опуститься до морального уровня врага, до подлости нацистов и пойти по тому же пути бесчеловечности. Они уже вынуждены были пройти по этому пути значительный отрезок и во

многим доставили им дьявольское удовлетворение, оказавшись, в силу необходимости, вовлеченными в кровавую вину. Нацисты, прижатые к стенке, действуют как бандиты, которые ни с чем больше не считаются. На меры, которые Вы предлагаете, они ответят другими, такими же, и, возможно, утолят свою жажду крови за счет американских и английских военнопленных. Это далеко заведет, и одно преступление вызовет другое. Весьма трудно представить себе, как вообще будет возможно сосуществование народов после этой войны, после всего, что случилось. Огромна вина мира, который своей слабостью, апатией и даже известной симпатией к фашизму и национал-социализму допустил, что тот получил такую силу. Теперь мир сражается с ним не на жизнь, а на смерть и уничтожение врага — единственное средство покончить с его преступлениями. На Ваше требование я могу только ответить, что, пусть с ужасом, я молча одобрил бы, как Вы того желаете, такие меры ради защиты восьмисот тысяч евреев. Но как частное лицо, как писатель с чувством ответственности я не вижу возможности призывать к ним. [...]

ЭРИХУ ФОН КАЛЕРУ*

Пасифик Пэлисейдз, 20.10.1944

[...] Они /немцы/ ничему не научились, ничего не понимают, ни в чем не раскаиваются, ни в малейшей степени не осознают того, что после всего содеянного им не подобает считать себя героями и что святая немецкая земля уже давно не святая, а многократно опозорена неправыми делами и чудовищной подлостью. Но так же глупо и некритично они еще не один месяц будут защищать ее рядом с Гитлером и Гиммлером с "фанатизмом", которому их обучили. Это вызывает жалость и отчаянье. Голо читал в базельской "Национальцейтунг"¹²⁶:

фрау Эльза Брукман была на фестивале в Люцерне. Она страшно ругает американцев, которые намеренно и систематически бомбят немецкие детские больницы. Было высказано — негромко — сомнение в этом и спрошено, — впрочем, еще менее громко, — об отвратительных массовых убийствах детей, совершенных немцами. "Но вы не можете это сравнивать! — возражает она, — это же были еврейские дети!" Газета добавляет, что, очевидно, ошибочно считать, будто только молодые потеряли человеческий облик, и спрашивает, на что же надо надеяться в будущем. Очень страшно.

АГНЕС МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз, 15.2.1945

[...] Для журнала "Фри Вордль" я написал статью и назвал ее "Конец"¹²⁷, своего рода некролог национал-социализму, который, кажется, удался мне. Я использовал дневниковые записи первых лет эмиграции, которые показывают, как моя растерянность и страхи были пересилены чувством сострадания к злополучному немецкому народу и вопросом: что же рано или поздно выйдет из этих людей? Ибо то, что это плохо кончится, что конец будет ужасным, в этом я был убежден с первой минуты и никогда не колебался в этом убеждении, также и во времена больших триумфов нацизма. Я представлял себе конец недостаточно ужасным — он уже безмерно ужасен и будет еще более ужасным, потому что народ не может найти выхода из западни, куда шагнул сам. Ни один народ никогда не имел таких жестоких правителей, которые бы с бóльшим упорством настаивали, чтобы народ погиб вместе с ними. [...]

[...] Германия и немцы — такова тема моей сегодняшней беседы с вами, тема довольно рискованная, и не только потому, что самый предмет бесконечно противоречив, многообразен, неисчерпаем; нельзя забывать и о страстях, которые в настоящее время бушуют вокруг него. Говорить о нем *sine ira et studio* / совершенно беспристрастно — *лат.* / с чисто психологической точки зрения может показаться почти аморальным перед лицом тех невыразимых страданий, которые принес миру этот злополучный народ. Быть может, в наши дни немцу следовало бы избегать таких тем? Но, право же, сегодня я едва ли мог остановиться на другой теме; более того, сегодня трудно представить себе беседу личного свойства, которая почти неизбежно не сводилась бы к германской проблеме, к загадке характера и судьбы народа, принесшего миру столько неоспоримо прекрасного и великого и в то же время неоднократно становившегося роковым препятствием на пути его развития. Страшная судьба Германии, чудовищная катастрофа, к которой она пришла, завершая новейший период своей истории, — вот что привлекает всеобщий интерес, пусть даже интерес этот и далек от всякого сострадания. Человеку, родившемуся немцем, в наши дни едва ли пристало взывать к состраданию, защищать и оправдывать Германию. Но разыгрывать из себя непреклонного судью и, угодливо поддерживая безграничную ненависть, которую его народ возбудил против себя, проклинать и поносить этот народ, а себя самого выставлять воплощением "хорошей Германии", в противоположность злой, преступной нации, с которой, мол, он не желает иметь ничего общего, — такому человеку, как мне кажется, тоже не к лицу. Если ты родился немцем, значит ты волей-неволей *связан* с немецкой судьбой и немецкой виной. В желании

отойти на известную дистанцию, чтобы обеспечить себе возможность критического суждения, еще не следует видеть измену. К той правде, которую человек пытается сказать о своем народе, можно прийти только путем самопознания.

Неожиданно для себя самого я уже окунулся в противоречивую стихию немецкой психологии, высказав мысль о том, что в натуре немца сочетаются потребность общения с миром и боязнь перед ним, космополитизм и провинциализм. Едва ли я могу тут ошибиться, ибо уже с юных лет испытал это на себе. Скажем, поездка из Германии по Боденскому озеру в Швейцарию была поездкой из провинции в большой мир, — как ни странно звучит утверждение, что именно крохотная Швейцария, а не громадная, могущественная Германская империя, с ее исполинскими городами, является "большим миром". И тем не менее это действительно так: Швейцария, нейтральная, многоязычная, проникнутая французским влиянием и овеваемая ветром Запада, Швейцария, несмотря на свои ничтожные размеры, была и на самом деле в гораздо большей степени "миром", Европой, чем политический колосс на севере, где слово "интернациональный" давно уже стало бранным эпитетом и где в затхлой атмосфере провинциального чванства едва было возможно дышать.

То была новейшая, националистическая форма немецкой отчужденности от мира, немецкой далекости от общемировых вопросов, глубокомысленной отрешенности от всемирного бытия; в прежние времена все это, в сочетании со своеобразным обывательским универсализмом, так сказать, космополитизмом в ночном колпаке, характеризовало душевный строй немца. Этому душевному строю, этой отчужденной от внешнего мира провинциальной немецкой космополитичности было всегда свойственно нечто призрачно-шутовское и загадочно-жуткое, какой-то потаенный демонизм,

и в силу своего происхождения я особенно явственно ощущал это.

[...] Не знаю, почему именно сейчас и здесь мне пришли на ум эти воспоминания начальной поры моей жизни. Быть может, это происходит потому, что Германия предстала моему духовному и физическому взору первоначально в образе этого диковинно-почтенного города, и мне важно дать вам почувствовать таинственную связь немецкого национального характера с демонизмом, — связь, которую я познал в результате собственного внутреннего опыта, но о которой нелегко рассказать. В величайшем творении нашей литературы, "Фаусте" Гёте, выведен героем человек средневековья, стоящий в преддверии гуманизма, — богоподобный человек, который из дерзновенного стремления все познать предается магии, черту. Где высокомерие интеллекта сочетается с душевной жесткостью и несвободой, там появляется черт. Поэтому черт — черт Лютера, черт "Фауста" — представляется мне в высшей степени немецким персонажем, а договор с ним, прозакладывание души черту, отказ от спасения души во имя того, чтобы на известный срок владеть всеми сокровищами, всею властью мира, — подобный договор, как мне кажется, весьма соблазнителен для немца в силу самой его натуры. Одинокий мыслитель и естествоиспытатель, келейный богослов и философ, который, желая насладиться всем миром и овладеть им, прозакладывает душу черту, — разве сейчас не подходящий момент взглянуть на Германию именно в этом аспекте — сейчас, когда черт буквально уносит ее душу?

Легенда и поэма не связывают Фауста с музыкой, и это существенная ошибка. Он должен быть музыкальным, быть музыкантом. Музыка — область демонического; Серен Кьеркегор*, выдающийся христианский мыслитель, убедительнейшим образом доказал это в своей болезненно-

страстной статье о "Дон Жуане" Моцарта. Музыка — это христианское искусство с отрицательным знаком. Она точнее расчисленный порядок — и хаос иррациональной первозданности в одно и то же время; в ее арсенале заклинающие, логически непостижимые звуковые образы — и магия чисел, она самое далекое от реальности и, в то же время — самое страстное искусство, абстрактное и мистическое. Если Фауст хочет быть воплощением немецкой души, он должен быть музыкален. Ибо отношение немца к миру абстрактно, то есть музыкально, это отношение педантичного профессора, опаленного дыханием преисподней, неловкого и при этом исполненного гордой уверенности в том, что "глубиной" он превосходит мир.

В чем же состоит эта глубина, как не в музыкальности немецкой души, в том, что называют ее самоуглубленностью, иначе говоря, в раздвоении человеческой энергии на абстрактно-спекулятивный и общественно-политический элемент при полнейшем преобладании первого над вторым?

[...] И в то же время Запад всегда чувствовал, а сегодня чувствует острее, чем когда-либо, что такую музыкальность души приходится дорого оплачивать за счет другой сферы бытия, — политической, сферы человеческого общежития.

Мартин Лютер — грандиозная фигура, воплотившая в себе немецкий дух — был необыкновенно музыкален. Откровенно говоря, я его не люблю. Немецкое в чистом виде — сепаратистски-антиримское, антиевропейское — отталкивает и пугает меня, даже когда оно принимает форму евангелической свободы и духовной эмансипации, а специфически-лютеровское — холерически-грубая брань, плевки и безудержная ярость, устрашающая дюжесть в сочетании с нежной чувствительностью и простодушнейшим суеверным страхом перед демонами, инкубами и прочей чертовщиной, — все это вызывает во мне инстинктивную неприязнь. Я

бы не хотел быть гостем Лютера и, оказавшись с ним за одним столом, наверно, чувствовал бы себя как под гостеприимным кровом людоеда; я убежден, что с Львом Десятым, Джованни Медичи*, доброжелательным гуманистом, которого Лютер называл "эта чертова свинья, папа", я гораздо скорее нашел бы общий язык. К тому же я не считаю непреложным противопоставление народной силы и цивилизации, антитезу: Лютер — утонченный педант Эразм*. Гёте преодолел эти противоположности и примирил их. Он олицетворяет собою *цивилизированную* мощь, народную силу, урбанистический демонизм, дух и плоть в одно и то же время, иначе говоря — искусство... С ним Германия сделала громадный шаг вперед в области человеческой культуры, — вернее, должна была сделать; ибо в действительности она всегда больше держалась Лютера, нежели Гёте. Да и кто станет отрицать, что Лютер был великим человеком, великим на самый что ни на есть немецкий лад, великим и сугубо немецким даже в своей двойственности как сила освободительная и вместе с тем тормозящая, как консервативный революционер. Ведь он не только реформировал церковь — он спас христианство. В Европе привыкли упрекать немецкую натуру в нехристианственности, в язычестве. Это весьма спорно. Германия самым серьезным образом относилась к христианству. Немец Лютер воспринимал христианство с наивно крестьянской серьезностью в эпоху, когда его нигде уже не принимали всерьез. Лютеровская революция сохранила христианство, — примерно так же, как New Deal¹²⁹ предназначен сохранить капиталистический строй (пусть даже капитализм этого и не понимает).

Нет, Мартину Лютеру нельзя отказать в величии! Своим потрясающим переводом Библии он не только заложил основы литературного немецкого языка, впоследствии обретшего совершенство под пером Гёте и Ницше; он разбил оковы схоластики,

восстановил в правах свободу совести и тем самым дал мощный толчок развитию свободной научной, критической и философской мысли. Выдвинув положение о том, что человек не нуждается в посредниках для общения с Богом, он заложил основы европейской демократии, ибо тезис: "Каждый сам себе священник" — это и есть демократия. Немецкая идеалистическая философия, утончение психологии вследствие пиетистски-углубленного изучения сокровенных душевных движений, наконец, самопреодоление христианской морали во имя морали, во имя сурового стремления к правде, что, собственно, и было тем шагом вперед (а быть может, и назад), который сделал Ницше, — все это идет от Лютера. Он был борцом за свободу, хотя и на сугубо немецкий лад, ибо он ровно ничего не смыслил в свободе. Я имею здесь в виду не свободу христианина, а политическую свободу гражданина; мало сказать, он был к ней равнодушен, — все ее побудительные причины и требования были ему глубоко отвратительны. Четыреста лет спустя один социал-демократ, первый президент Германской республики, заявил: "Революция мне ненавистна, как грех". Это вполне по-лютеровски, вполне по-немецки. Так, Лютер ненавидел крестьянское восстание, которое, как известно, было поднято под знаменем Евангелия, и все же, одержи оно победу, оно могло бы направить всю немецкую историю по более счастливому пути — по пути к свободе; однако Лютер видел в этом восстании лишь дикий бунт, порочивший дело его жизни, духовное освобождение, и потому как только мог оплевывал и осыпал проклятьями крестьян. Он призывал убивать их, как бешеных собак, и, обращаясь к князьям, провозглашал, что теперь каждый может завоевать право на вечное блаженство, если будет резать и душить этих скотов. На Лютере, выходец из народа, лежит серьезная доля ответственности за печальный исход первой попытки немцев совершить

революцию, за победу князей и все последствия этой победы. [...]

В политике Лютер не пошел дальше того, что счел неправыми обе стороны — и князей и крестьян, а такая позиция неминуемо должна была привести к тому, что в конечном счете он стал считать неправыми (и тут он проявлял все свое неукротимое бешенство) одних только крестьян [...]. Его антиполитическая набожность, продукт музыкально-немецкой самоуглубленности и отчужденности от внешнего мира, не только на века вперед определила униженную покорность немцев перед князьями и государственной властью вообще, не только способствовала формированию характерного для дуализма немецкой души сочетания смелого, отвлеченного мышления с политической незрелостью, но и прежде всего сама весьма монументальным и внушительным образом представляет собою типично-немецкое явление — разрыв между *национальным* чувством и идеалом политической *свободы*. Ибо реформация, как и позднее восстание против Наполеона¹³⁰, была *националистически-освободительным* движением.

Остановимся же подробнее на вопросе о свободе: своеобразное искажение этого понятия в сознании столь выдающегося народа, как германский, — искажение, имевшее место в прошлом и еще не изжитое в настоящем, дает нам все основания задуматься. Каким образом стало возможно, чтобы даже такое движение, как национал-социализм, ныне кончающий позорной смертью, мог присвоить себе имя "немецкого освободительного движения"? Ведь все чувствовали и понимали, что это чудовище не могло иметь ничего общего со свободой. В том, что его так называли, проявился не только вызывающий цинизм, но и принципиально порочное толкование понятия "свобода", — психологический закон, неоднократно дававший себя знать в истории Германии. Свобода, если

рассматривать ее в политическом аспекте, прежде всего понятие нравственного, внутреннеполитического порядка. Народ, который внутренне не свободен и не отвечает за самого себя, не заслуживает внешней свободы; он не имеет права говорить о свободе, а если и произносит это звучное слово, то вкладывает в него ложный смысл. Немецкое понятие свободы всегда было направлено против внешнего мира. Под этим словом разумелось право быть немцем, только немцем и более ничем; в нем выражался протест эгоцентриста, который противился всему, что ограничивало, обуздывало народнический эгоизм, укрощало его и заставляло служить общественным интересам, человечеству. Закоренелый индивидуализм немцев по отношению к внешнему миру, к Европе, к цивилизации прекрасно уживался с удивительной внутренней несвободой, незрелостью, тупым верноподданничеством. Он был проявлением воинствующего низкопоклонства, и национал-социализм гипертрофически возвел это противоречие между внешним и внутренним стремлением к свободе в идею порабощения мира одним народом, который так несвободен у себя дома, как немецкий народ.

Почему же немецкое стремление к свободе всегда вырождается во внутреннюю несвободу? Почему оно дошло до покушения на свободу всех остальных народов, на собственную свободу?

Дело в том, что в Германии никогда не было революции, она не научилась соединять понятие "нация" с понятием "свобода". "Нация" родилась в огне Французской революции, это понятие революционное и освободительное, включающее в себя элемент общечеловеческого, совпадающее во внутреннеполитическом смысле со свободой, во внешнеполитическом — с Европой. Все величие французского политического духа основано на этом счастливом единстве; вся узость и убожество немецкого патриотизма объясняются тем, что един-

ству этому никогда не суждено было осуществиться. Можно сказать, что в Германии никогда не могло обрести почву само понятие "нация", исторически совпадающее с понятием "свобода". Считать немцев нацией — заблуждение, пусть даже и сами они, и другие придерживаются такого мнения. Называть их страстную приверженность к отечеству словом "национализм" — ошибочно, ибо это значит толковать явления немецкой действительности на французский лад и плодить тем самым недоразумения. Не следует обозначать одним и тем же названием две различные вещи. Немецкая идея свободы носит народнически-антиевропейский характер, весьма близкий к варварскому, а в наши дни и открыто смыкается с варварством. О зловещей сущности этой идеи говорят эстетически-отталкивающие, грубые черты, свойственные ее носителям и поборникам уже в эпоху освободительных войн, студенческим корпорациям и таким фигурам, как отец Ян* и Масман*. Что и говорить, Гёте отнюдь не чуждался народной культуры, — он создал не только "Ифигению" поры своего классицизма, но и такие исконно немецкие произведения, как первая часть "Фауста", "Гец", "Рифмованные изречения". И тем не менее — к негодованию всех патриотов — он без всякого энтузиазма отнесся к войне против Наполеона; дело было не только в том, что он сохранял лояльность по отношению к своему раг / ровня — *фр.* /, великому императору французов, но и в том, что в этом движении он не мог не чувствовать народнически-варварского элемента и не испытывать к нему отвращения. Трудно без скорби думать об одиночестве этого великого человека, так радостно принимавшего все широкое и великое: преодоление национальной ограниченности, идею всемирного германства, мировой литературы, — печально видеть его одиночество в Германии того времени, лихорадочно возбужденной патриотически-освободительным подь-

емом. Решающими, доминирующими понятиями, вокруг которых для него вращалось все остальное, были культура и варварство; судьба же судила ему принадлежать к народу, у которого идея свободы превращается в варварство, ибо она направлена лишь против внешнего мира, против Европы, против культуры.

И тут мы сталкиваемся с какой-то напастью, с какой-то извечной трагедией, каким-то проклятием, лежащим на всей немецкой истории: даже отрицательная позиция Гёте по отношению к политическому протестантизму, к убудочной народнической демократии, — даже эта позиция была истолкована всей нацией и в особенности ее идейным руководителем, немецким бюргерством, как подтверждение и углубление лютеровского размежевания понятий духовной и политической свободы, помешала тому, чтобы политический элемент вошел составной частью в немецкое понятие культуры. Трудно сказать, в какой мере великие люди определяют национальный характер, оказывают на него формирующее воздействие своим примером и в какой мере сами они являются его воплощением и олицетворением. Ясно одно: немецкий характер отталкивается от политики, не способен воспринимать ее. Исторически это выражается в том, что все немецкие революции были неудачными: восстание 1525 года¹³¹, движение 1813 года, революция 1848 года¹³², которая потерпела поражение из-за политической беспомощности немецкого бюргерства, и, наконец, революция 1918 года¹³³. Помимо того, это выражается и в плоском, зловещем лжетолковании, которое немцы с такой легкостью дают идее политики, если тщеславие толкает их на то, чтобы овладеть ею.

Политику называют "искусством возможного", и политика и в самом деле является сферой, близкой к искусству, поскольку она, подобно искусству, занимает творчески-посредствующее положение между

духом и жизнью, идеей и действительностью, желательным и необходимым, мыслью и действием, нравственностью и властью. Она включает в себя немало жестокого, необходимого, аморального, немало от expediency /целесообразности, выгоды — *англ.*/ и низменно-материальных интересов, немало "слишком человеческого" и вульгарного, и едва ли существовал когда-либо политик, государственный деятель, который, поднявшись высоко, мог бы без всяких колебаний по-прежнему причислять себя к порядочным людям. И все же: в сколь малой мере человек принадлежит одному только миру природы, столь же мало политика связана с одним только злом. Не становясь дьявольской, губительной силой, не превращаясь во врага человечества, не извратив свойственный ей творческий импульс до постыдной и преступной бесплодности, политика никогда не сможет полностью избавиться от идеального и духовного начала, никогда не сможет совсем отбросить нравственный и человеческий элемент своего существа и свестись к безнравственности и подлости, ко лжи, убийству, обману, насилию. В таком случае она была бы уже не искусством, не творчески-посредствующей и созидающей иронией, а слепым и бесчеловечным бесчинством, самоубийственным в своем всеуничтожающем нигилизме, который ничего не способен создать и одерживает лишь мимолетные зловещие победы.

Поэтому народы, призванные к политике и рожденные для нее, неосознанно стремятся сохранить политическое единство мысли и действия, духа и власти; они занимаются политикой как искусством жизни и власти, немислимым без использования жизненно-полезного, злого, сугубо низменного начала, но никогда не упускающим из виду более возвышенную сферу — идею, общечеловеческую порядочность, нравственность. Таково их "политическое" сознание, и на этом пути они примиряются

с миром и с самими собой. Немцу подобное примирение с жизнью, основанное на компромиссе, кажется ханжеством. Он органически неспособен примириться с жизнью, и его некомпетентность в политике проявляется в том, какой искаженный облик она принимает в его прямолинейно-честном сознании. Не только не злой от природы, но напротив, склонный к умствованию и идеализму, немец видит в политике только ложь, убийство, обман и насилие, нечто решительно и недвусмысленно грязное, и когда он из мирского тщеславия отдается ей, он и действует сообразно этой философии. Немец-политик считает необходимым вести себя так, чтобы у человека дух захватило, — вот это он и считает политикой. Она в его глазах воплощение зла, — поэтому, отдаваясь ей, он должен становиться дьяволом.

Всему этому мы были свидетелями. Совершены преступления, которые не может оправдать никакая психология, и меньше всего им может послужить оправданием тот факт, что они были излишни. Да, это именно так, они не были необходимы. Германия могла бы обойтись без них. Она могла бы осуществлять свои завоевательные планы, стремиться к установлению своего господства и без этих преступлений. Сама по себе идея монополистической эксплуатации всех прочих народов концерном Геринга не могла быть совсем уж чуждой миру, где существуют тресты и эксплуатация. Худо в этой идее то, что глупым преувеличением она компрометировала господствующую систему. Сверх того, как идея она явилась с изрядным оподанием, ибо в наши дни человечество уже повсюду стремится к экономической демократии, борется за более высокую ступень общественной зрелости. Немцы всегда опаздывают. Опаздывают, как музыка, которая всегда позднее других искусств выражает определенное психологическое состояние человечества, — в момент, когда это состояние

уже уходит. К тому же они, как и любимое их искусство, склонны к абстракции и мистике — вплоть до преступления. Их преступления, как я уже говорил, не были необходимы для осуществления их запоздалого предприятия по эксплуатации мира; они были номером сверх программы, некоей роскошью, которую немцы позволили себе из теоретических соображений, во имя определенной идеологии — химеры расизма. Если бы это не прозвучало омерзительным приукрашиванием, можно было бы сказать, что они совершали свои преступления из далекого от жизненной практики идеализма.

Иногда (в особенности, когда изучаешь немецкую историю) создается впечатление, будто Господь Бог создал мир не один, а в сотворчестве с кем-то еще. Благой замысел, согласно которому зло может порождать добро, мы приписываем Богу. Однако и добро часто приводит к злу — и это, несомненно, следует отнести за счет того, другого. Разумеется, немцы вольны спрашивать, почему именно в их среде добро перерождается в зло, почему именно в их руках хорошее становится дурным. Взять хотя бы их исконный универсализм и космополитизм, свойственную им внутреннюю чуждость всяким рубежам — их можно рассматривать как духовный атрибут древнего сверхнационального государства, Священной Римской империи германской нации. Все это в высшей степени положительные качества, и однако по законам диалектики они переходят в свою противоположность и становятся злом. Немцы позволили сорвать себя на то, чтобы их врожденный космополитизм превратился в стремление к европейской гегемонии, более того — к мировому господству, — и вот этот космополитизм перешел в свою прямую противоположность, в самый что ни на есть наглый и опасный национализм и империализм. При этом немцы сами заметили, что с

национализмом опять опоздали, что он уже изжил себя. Поэтому они подставили на его место нечто более современное: лозунг расизма, который не замедлил увлечь их по пути чудовищных злодейств и вверг всю страну в пучину неслыханных бедствий.

Или возьмите другое свойство немцев — оно, быть может, известнее других и определяется очень трудно переводимым словом "Innerlichkeit". С этим понятием связаны нежность, глубина душевной жизни, отсутствие суетности, благоговейное отношение к природе, бесхитростная честность мысли и совести, — короче говоря, все черты высокого лиризма; того, чем мир обязан этой немецкой самоуглубленности, он даже и сегодня не может забыть: ее плодами были немецкая метафизика, немецкая музыка и, в особенности, чудо немецкой литературы — поразительный национально-специфический факт культуры, небывалый и неповторимый. Великим историческим подвигом немецкой самоуглубленности была лютеровская реформация, мы назвали ее могучим освободительным деянием, а значит, и ей было свойственно некое доброе начало. Но вполне очевидно, что и дьявол приложил к ней руку. Реформация привела к религиозному расколу Запада, то есть к явной беде; она накликала на Германию Тридцатилетнюю войну, которая опустошила страну и в культурном развитии роковым образом отбросила ее назад.

[...] *Немецкий романтизм*, — не есть ли он проявление прекраснейшего свойства немецкой натуры, имя которому немецкая самоуглубленность? Обычно с понятием романтизма связывают мир томительной мечты, призрачно-гротескной фантастики и в то же время высокую художественную утонченность, всепроникающую иронию. Однако, говоря о немецком романтизме, я имею в виду нечто совсем иное; это, скорее, некая неосознанная мощь и благоговейность, можно даже сказать, первозданность души, которая ощущает свою бли-

зость к стихийным, иррациональным и демоническим силам жизни, то есть к истинным источникам жизни, и которая чисто рассудочному миропониманию и отношению к жизни противопоставляет свое более глубокое знание, свою более глубокую связь со святыней бытия. Немцы — народ романтического протеста против философского интеллектуализма и рационализма просветителей, народ, у которого музыка взбунтовалась против литературы, мистика против ясности. Романтизм — это менее всего расслабленная мечтательность; это глубина, которая ощущает себя силой и полнотой; это пессимизм честности: он стоит на стороне сущего, реального, исторического против критики и идеализации, словом, на стороне мощи против духа, и ни во что не ставит риторические добродетели и идеалистическое приукрашивание мира. Здесь романтизм смыкается с тем реализмом и макиавеллизмом, которые торжествовали победу над Европой, воплотившись в Бисмарке* — единственном политическом гении, рожденном Германией. Те, кто в стремлении немцев к единству и созданию империи — стремлении, направленном Бисмарком по прусскому пути, видели типичное освободительное движение национально-демократического характера, те жестоко заблуждались. В 1848 году это стремление едва не стало демократическим, хотя уже в великодержавных дебатах Франкфуртского парламента¹³⁴ чувствовался налет средневекового империализма, воспоминаний о Священной Римской империи. Однако вскоре обнаружилось, что обычный для Европы национально-демократический путь объединения не мог стать германским путем. Империя Бисмарка не имела ничего общего с демократией, а значит, и с нацией в демократическом смысле этого слова. Она была бронированным кулаком, она стремилась к европейской гегемонии; несмотря на всю свою современность и трезвую деловитость, империя 1871 года апелли-

рвала к воспоминаниям о средневековой славе, об эпохе саксонских и швабских властителей. И как раз эта ее характерная особенность — соединение полнокровного современного духа с промышленной развитостью и мечтой о былом, своего рода высоко технизированный романтизм, — как раз это и было наиболее чревато опасностью. Рожденная в войнах, нечестивая Германская империя прусской нации могла быть только милитаристским государством. Таковым оно жило, занозой сидя в теле человечества, таковым оно теперь погибает.

Заслуги немецкой романтической контрреволюции перед историей духовной жизни поистине неопределимы. Велика здесь и роль самого Гегеля — его диалектическая философия перебрала мост через пропасть, которую просвещение и французская революция вырыли между разумом и историей. Гегелевское примирение разумного с действительным дало мощный толчок историческому мышлению и, можно сказать, создало историческую науку как таковую, о существовании которой до Гегеля вряд ли приходилось говорить. Романтизм — это в значительной степени уход, погружение в прошлое; это тоска по былому и в то же время реалистическое признание права на своеобразие за всем, что когда-либо действительно существовало со своим местным колоритом и своей атмосферой. Поэтому не удивительно, что он пришелся весьма кстати историографии и, собственно говоря, открыл ее такой, какой мы знаем ее в настоящее время.

[...] Гёте принадлежит лаконичное определение классицизма как здорового искусства, а романтизма — как больного. Это — горькая истина для всякого, кто любит романтизм со всеми его грехами и пороками. Ибо невозможно отрицать, что даже в самых утонченных, эфирных и в то же время народных и возвышенных проявлениях романтизма живет болезнетворное начало, как червь живет в розе,

и что по глубочайшей своей сути он представляет собой искушение, — искушение смертью. Таков сбивающий с толку парадокс романтизма: представляя иррациональные силы жизни, восстающие против абстрактного разума, против плоского интеллектуализма, сам он глубочайшим образом родственен смерти именно вследствие того, что так привержен иррациональному и ушедшему в прошлое. Роковым образом сильнее всего романтизм сохранил эту радужную двойственность (с одной стороны, вознесение жизненного над абстрактно-нравственным, с другой — родственность смерти) на исконной своей родине, в Германии. Как проявление немецкого духа, немецкого романтического бунта, он дал европейской мысли глубокий живительный импульс; но сам он, обуянный гордыней жизни и смерти, пренебрег возможностью взять от Европы, от духа европейской веры в человека, европейского демократизма какие-нибудь полезные для себя истины. Представ миру как могучая держава, ведущая реалистическую политику, как цитадель бисмаркизма, как победительница Франции и цивилизации, как сила, создавшая, казалось бы, незыблемо здоровую и могущественную Германскую империю — романтическая Германия безусловно изумила мир, но и смутила его, внушила ему страх и, с тех пор как ею управляет не государственный гений, ее создавший, держит мир в состоянии постоянной тревоги.

К тому же эта объединенная могущественная держава принесла разочарование всем, кому были дороги судьбы культуры. Германия, некогда стоявшая во главе духовного развития мира, уже не создавала великих ценностей. Теперь она была всего только сильной. Но под этой ее силой, под покровом ее высокоорганизованной деловитости по-прежнему жил романтический червяк болезни и смерти. Историческая беда, горести и унижения проигранной войны, — все это питало его. И опу-

стившись до жалкого уровня черни, до уровня Гитлера, немецкий романтизм выродился в историческое варварство, в безумие расизма и жажду убийства, и теперь обретает свой жуткий конец в национальной катастрофе, в небывалом физическом и психическом коллапсе.

Уважаемые дамы и господа. То, что я так нестройно и кратко рассказал вам, это история немецкой "самоуглубленности". Это печальная история, — я намеренно избегаю слова "трагедия", потому что не к лицу горю выставлять себя напоказ. История эта должна раскрыть перед нами истинность высказанного положения: нет двух Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, лучшие свойства которой под влиянием дьявольской хитрости превратились в олицетворение зла. Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, заявить: "Я — добрая, благородная, справедливая Германия; смотрите, на мне белоснежное платье. А злую я отдаю вам на растерзание". В том, что я говорил вам о Германии или хотя бы бегло пытался объяснить, — во всем этом нет ничего от ученой холодности, отчужденности, беспристрастности, все это живет во мне, все это я испытал на себе.

Другими словами, то, что я здесь — поневоле вкратце — хотел сообщить вам, было образцом немецкой самокритики, и, право же, ни на каком ином пути я не мог бы сохранить большую верность немецкой традиции. Склонность к самокритике, доходившая нередко до самоотрицания, до самопроклинания, — это исконно немецкая черта, и навсегда останется непонятным, как мог народ, в такой степени склонный к самопознанию,

прийти к идее мирового господства... Ведь для мирового господства нужна прежде всего наивность, счастливая ограниченность и даже легкомыслие, а отнюдь не напряженная душевная жизнь, характерная для немцев, у которых высокомерная кичливость и самоуничужение прекрасно уживаются друг с другом. Беспощадные истины, которые великие немцы — Гельдерлин, Гёте, Ницше — бросали в лицо Германии, нельзя даже и сравнить с тем, что когда-либо говорили своим народам француз, англичанин, американец. Гёте, во всяком случае в устных беседах, доходил до того, что желал немцам диаспоры. "Немцы, — говорил он, — должны быть разбросаны, рассеяны по всему свету, как евреи, — и добавлял: — Чтобы на благо остальным народам раскрылось все то хорошее, что в них заложено".

Хорошее — да, оно живет в немцах, но при унаследованной ими форме национального государства не могло реализоваться. Рассеяться по свету, чего желал им Гёте и к чему их после этой войны, вероятно, непреодолимо потянет, — рассеяться по свету для них будет невозможно: законодательство об иммиграции закроет перед ними на железный засов ворота других стран. Но разве, несмотря на всю горечь отрезвления от несбыточных ожиданий, которую уготовала нам политика силы, не остается у нас надежды, что после нынешней катастрофы неизбежно и неукоснительно будут сделаны первые, пусть еще очень робкие шаги по пути установления такого общественного порядка, в котором растворится и наконец совсем исчезнет национальный индивидуализм девятнадцатого века и который предоставит гораздо больше возможностей для развития "всего того хорошего", что заложено в немецкой натуре, чем уже нежизнеспособный прежний порядок? Быть может, искоренение нацизма открыло путь всемирной социальной реформе, которая как раз Германии дает

благоприятнейшие возможности для всестороннего внутреннего развития и удовлетворения своих потребностей. Всемирная экономика, стирание политических границ, известная деполитизация государственной жизни вообще, осознание пробуждающимся человечеством своего практического единства, его первые попытки создать всемирное государство, — как же весь этот социальный гуманизм, выходящий далеко за пределы буржуазной демократии и являющийся предметом ожесточенной борьбы, как же может он быть чужд или враждебен немецкой натуре? В том, как она чуралась мира, было всегда столько страстного влечения к нему; в одиночестве, озлоблявшем ее, всегда жила — и кто не знал этого! — мечта любить и быть любимой. В конце концов, немецкая беда — это только образ человеческой трагедии вообще. В милосердии, которое так насущно необходимо сейчас Германии, нуждаемся мы все.

(Печатается по: Т. Манн. Собр. соч. на русск. яз., т. 10, стр. 303—326. Перевод Е. Эткинда.)

ИОЗЕФУ ПУБЛИТЦЕРУ¹³⁵

Пасифик Пэлисейдз, 4.8.1945

[...] Пока преступления нацистского государства ограничивались Германией, граница относилась к нему, как к нормальному государству, его поддерживали, ему содействовали, готовя ему внешнеполитические успехи, которые укрепляли его престиж и парализовали внутреннюю оппозицию. Если бы Гитлер не развязал войну, мир не очень возражал бы против того, что он проделывал в Германии и что не было так тесно связано с экспансией, однако было ужасно, как военные преступления его и его сторонников. Посланники демократических стран явились на Нюрнбергский съезд¹³⁶. Они ездили

на охоту с рейхсмаршалом Герингом. Дипломатический фрак ничтожества Риббентропа, который был министром иностранных дел и заключил с Англией соглашение о флоте¹³⁷, украшают ордена всех государств. Лучше не говорить о финансовой помощи, оказанной режиму не только внутри страны, но и из-за границы до того и после того, как он пришел к власти [...].

ВАЛЬТЕРУ ФОН МОЛО*

7 сентября 1945

Дорогой господин фон Моло!

Я должен поблагодарить Вас за очень любезное поздравление по случаю моего дня рождения и вдобавок за открытое письмо ко мне, переданное Вами немецкой прессе и в отрывках попавшее также в американскую. В нем еще сильнее и настойчивее, чем в частных письмах, высказывается желание, более того — обязывающее требование, чтобы я вернулся в Германию и поселился там снова, "чтобы помогать советом и делом". Вы не единственный, кто обращается ко мне с этим призывом; он, как мне сообщили, последовал и со стороны находящегося под русским контролем Берлинского радио, а также со стороны органа объединенных демократических партий Германии — с подчеркнутой мотивировкой, что "в Германии" мне надлежит "выполнить свою историческую миссию".

Казалось бы, я должен быть рад, что снова понадобился Германии — понадобился я сам как человек, лично, а не только мои книги. И все же эти обращения меня чем-то тревожат и удручают, я чувствую в них какую-то нелогичность, даже несправедливость и опрометчивость. Вы прекрасно знаете, дорогой господин фон Моло, как дороги в Германии "совет и дело" сегодня, при том почти

безвыходном положении, в какое поставил себя наш несчастный народ, и я сильно сомневаюсь в том, что человек уже старый, к сердечной мышце которого это головокружительное время успело уже предъявить свои требования, сможет непосредственно, лично, физически, существенно помочь людям, так волнующе Вами изображенным, оправиться от их глубокой подавленности. Но это не главное. Обращаясь ко мне с подобными призывами, не задумываются, по-моему, и над техническими, юридическими и психологическими трудностями, препятствующими моему "возвращению".

Разве можно сбросить со счетов эти двенадцать лет и их результаты или сделать вид, что их вообще не было? Достаточно тяжким, достаточно ошеломляющим ударом была в тридцать третьем году утрата привычного уклада жизни, дома, страны, книг, памятных мест и имущества, сопровождавшаяся постыдной кампанией отлучений и отречений на родине. Я никогда не забуду ни той безграмотной и злобной шумихи в печати и радио, которую подняли в Мюнхене по поводу моей статьи о Вагнере, ни той травли, после которой я только и понял по-настоящему, что обратный путь мне отрезан¹³⁸; ни мучительных поисков слова, попыток написать, объяснить, ответить, "пишем в ночь", как назвал эти задушевные монологи Рене Шикеле, один из многих ушедших от нас друзей. Достаточно тяжело было и дальнейшее — скитания из одной страны в другую, хлопоты с паспортами, жизнь на чемоданах, когда отовсюду слышались позорнейшие истории, ежедневно поступавшие из погибшей, одичавшей, уже совершенно чужой страны. Всего этого не изведал никто из вас, присягнувших на верность "осененному благодатью вождю" (вот она, пьяная образованность, — ужасно, ужасно!) и подвизавшихся под началом Геббельса на ниве культуры. Я не забываю, что потом вы изведали кое-что похуже, чего я избежал; но это вам незна-

комо: удушье изгнания, оторванность от корней, нервное напряжение безродности.

Иногда я возмущался вашими преимуществами. Я видел в них отрицание солидарности. Если бы немецкая интеллигенция, если бы все люди с именами и мировыми именами — врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники — единодушно выступили тогда против этого позора, если бы они объявили всеобщую забастовку, многое произошло бы не так, как произошло. Каждый, если только он случайно не был евреем, всегда оказывался перед вопросом: "А почему, собственно? Другие же со-трудничают. Вряд ли это так уж страшно".

Повторяю: иногда я возмущался. Но никогда, даже в дни самого большого вашего торжества, я не завидовал вам, которые там остались. Я слишком хорошо знал, что эти дни торжества — всего лишь кровавая пена и что от нее скоро ничего не останется. Завидовал я Герману Гессе, в чьем обществе находил в те первые недели и месяцы поддержку и утешение, — завидовал потому, что он давно был свободен, вовремя отойдя в сторону с как нельзя более точной мотивировкой: "Немцы — великий, значительный народ, кто станет отрицать? Может быть, даже соль земли. Но как политическая нация они невозможны! В этом отношении я хочу раз навсегда с ними порвать". И жил себе в безопасности в своем монтаньольском доме, в саду которого играл в бочка со своим растерянным гостем.

Медленно, медленно налаживались тогда дела. Появились первые пристанища, сначала во Франции, потом в Швейцарии, неприкаянность сменилась относительным успокоением, оседлостью, постоянным местожительством, возобновилась брошенная работа, казавшаяся уже безвозвратно загубленной. Швейцария, традиционно гостеприимная, но из-за своего опасно могущественного соседа обязанная соблюдать нейтралитет даже морально,

разумеется, не могла скрыть некоторого смущения и беспокойства по поводу присутствия гостя без документов, который был в таких плохих отношениях со своим правительством, и требовала "такта". Потом пришло приглашение из американского университета, и вдруг, в этой гигантской свободной стране, всякие разговоры о "такте" прекратились, и кругом была только откровенная, незапуганная, декларативная доброжелательность, радостная, безудержная, под девизом: "Thank you, Mr. Hitler!" /"Спасибо, м-р Гитлер!" (англ.) за то, что Томас Манн оказался в Америке — пер./ У меня есть некоторые причины, дорогой господин фон Моло, быть благодарным этой стране и есть причины показать ей свою благодарность.

Ныне я американский подданный, и задолго до страшного поражения Германии я публично и в частных беседах заявлял, что порывать с Америкой не собираюсь. Мои дети, из которых два сына еще и сегодня служат в американской армии, прижились в этой стране, у меня подрастают внуки, говорящие по-английски. Да и сам я, тоже прочно уже осевший на этой земле и связанный с Вашингтоном и главными университетами Штатов, присвоившими мне свои *honorary degrees* /почетные звания — англ./, почетными связями, построил себе на этом великолепном побережье, где все дышит будущим, дом, под защитой которого хотел бы довести до конца труд моей жизни в атмосфере могущества, разума, изобилия и мира. Прямо скажу, я не вижу причины отказываться от выгод моего странного жребия, после того как испил до дна чашу его невыгод. Не вижу потому, что не вижу, какую службу смог бы я сослужить немецкому народу — и какую не смог бы ему сослужить, находясь в Калифорнии.

Что все сложилось так, как сложилось, — дело не моих рук. Вот уж нет! Это следствие характера и судьбы немецкого народа — народа достаточно

замечательного, достаточно трагически интересного, чтобы по его милости многое вытерпеть, многое снести. Но уж и с результатами тоже нужно считаться, и нельзя сводить дело к банальному: "Вернись, все прощено!".

Избави меня Бог от самодовольства! Нам за границей легко было вести себя добродетельно и говорить Гитлеру все, что мы думаем. Я не хочу ни в кого бросать камень. Я только робею и "дичусь", как говорят о маленьких детях. Да, за все эти годы Германия стала мне все-таки довольно чужой: это, согласитесь, страна, способная вызывать опасения. Я не скрываю, что боюсь немецких руин — каменных и человеческих. И я боюсь, что тому, кто пережил этот шабаш ведьм на чужбине, и вам, которые плясали под дудку дьявола, понять друг друга будет не так-то легко. Могу ли я быть равнодушен к полным долго таившейся преданности приветственным письмам, приходящим сейчас ко мне из Германии! Это для меня настоящая, трогательная отрада сердца. Но радость мою по поводу этих писем несколько умаляет не только мысль, что, победи Гитлер, ни одно из них не было бы написано, но и некоторая нечуткость, некоторая бесчувственность, в них сквозящая, заметная хотя бы даже в той наивной непосредственности, с какой возобновляется прерванный разговор, — как будто этих двенадцати лет вообще не было. Приходят теперь порою и книги. Признаться ли, что мне неприятно было их видеть и что я спешил убрать их подальше? Это, может быть, суеверие, но у меня такое чувство, что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом пустить в макулатуру.

Непозволительно, невозможно было заниматься "культурой" в Германии, куда кругом творилось то, о чем мы знаем. Это означало приукрашивать

деградацию, украшать преступление. Одной из мук, которые мы терпели, было видеть, как немецкий дух, немецкое искусство неизменно покрывали самое настоящее изуверство и помогали ему. Что существовали занятия, более почетные, чем писать вагнеровские декорации для гитлеровского Байрейта¹³⁹. Этого, как ни странно, никто, кажется, не чувствует. Ездить по путевке Геббельса в Венгрию или какую-нибудь другую немецко-европейскую страну и, выступая с умными докладами, вести культурную пропаганду в пользу Третьей империи — не скажу, что это было гнусно, а скажу только, что я этого не понимаю и что со многими мне страшно увидеться вновь. Дирижер, который, будучи послан Гитлером, исполнял Бетховена в Цюрихе, Париже или Будапеште, становился виновным в непристойнейшей лжи — под предлогом, что он музыкант и занимается музыкой и больше ничем¹⁴⁰. Но прежде всего ложью была эта музыка уже и дома. Как не запретили в Германии этих двенадцати лет бетховенского "Фиделио", оперу, по самой природе своей предназначенную для праздника немецкого самоосвобождения? Это скандал, что ее не запретили, что ее ставили на высоком профессиональном уровне, что нашлись певцы, чтобы петь, музыканты, чтобы играть, публика, чтобы наслаждаться "Фиделио". Какая нужна была тупость, чтобы, слушая "Фиделио" в Германии Гиммлера, не закрыть лицо руками и не броситься вон из зала!

Да, много писем приходит теперь с чужой и зловещей родины через посредство американских sergeants и lieutenants /сержантов и лейтенантов — *англ.*/ — и не только от людей выдающихся, но и от людей молодых и простых, и примечательно, что из этих последних никто не советует мне поскорее вернуться на родину. "Оставайтесь там, где Вы находитесь!" — говорят они попросту. "Проведите остаток жизни на Вашей новой, более счаст-

ливой родине! Здесь слишком грустно...” Грустно? Если бы только это, если бы не было вдобавок неизбежной и долго еще неизбежной вражды и злобы. Недавно я получил от одного американца, как своего рода трофей, старый номер немецкого журнала “Фольк им Верден” от марта 1937 года (Ганзейское издательство, Гамбург), выходившего под редакцией одного высокопоставленного нацистского профессора и почетного доктора. Фамилия его, правда, не Криг¹⁴¹, но Крикк, с двумя “к”. Это было жуткое чтение. Среди людей, говорил я себе, которых двенадцать лет подряд пичкали подобными снадобьями, жить трудно. У тебя было бы там, говорил я себе, несомненно, много добрых и верных друзей, старых и молодых, но и много притаившихся в засаде врагов — врагов, правда, побитых, но они всех опасней и злей...

Но, дорогой господин фон Моло, все это только одна сторона дела; другая тоже имеет свои права — права на слово. То глубокое любопытство и волнение, с каким я принимаю любую, прямую или косвенную, весть из Германии, та решительность, с какой я отдаю ей предпочтение перед всяким другим известием из большого мира, занятого теперь собственной перестройкой и очень равнодушного к второстепенной судьбе Германии, — они ежедневно показывают мне снова и снова, какими нерасторжимыми узами связан я все же со страной, которая меня “лишила гражданства”. Американец и гражданин мира — отлично. Но куда деться от того факта, что мои корни — там, что, несмотря на все свое плодотворное восхищение чужим, я живу и творю в немецкой традиции, если даже время и не позволило моему творчеству стать чем-то другим, нежели затухающим и уже полупародийным отголоском великой немецкой культуры.

Никогда я не перестану чувствовать себя немецким писателем, и даже в те годы, когда мои книги жили лишь на английском языке, я оставался верен

немецкому языку — не только потому, что был слишком стар, чтобы переучиваться, но и от сознания, что мое творчество занимает в истории немецкого языка свое скромное место. Мой роман о Гёте¹⁴², написанный в самые черные дни Германии и проникший к вам в нескольких экземплярах, никак нельзя назвать свидетельством забвения и отречения. Да и от слов: "Но я стыжусь часов покоя, стыжусь, что с вами не страдал"¹⁴³ я могу воздержаться. Германия никогда не давала мне покоя. Я "страдал с вами", и это не было преувеличением, когда я в письме в Бонн говорил о тревоге и муке, о "нравственной боли, не утихавшей ни на один час в течение четырех лет моей жизни, боли, которую мне приходилось преодолевать изо дня в день, чтобы продолжать свою работу художника". Довольно часто я вовсе не пытался преодолеть ее. Полсотни радиопосланий в Германию (или их больше?), которые печатаются сейчас в Швеции, — пусть эти то и дело повторяющиеся заклятия засвидетельствуют, что довольно часто другие дела казались мне более важными, чем "художество".

Несколько недель назад я выступал в Library of Congress / Библиотека Конгресса — *англ.* / в Вашингтоне с докладом на тему: "Germany and Germans" / "Германия и немцы" — *англ.* /. Я написал его по-немецки, и он появится в ближайшем номере журнала "Нейе Рундшау", воскресшего в июне 1945 года. Это была психологическая попытка объяснить образованной американской публике, как могло все так случиться в Германии, и мне оставалось только восхищаться той спокойной готовностью, с которой эта публика принимала мои объяснения через такой ничтожный срок после окончания страшной войны. Нелегко мне было, конечно, не сбиться, с одной стороны, на неподобающую апологию, а с другой — на отречение, которое мне тоже было бы совсем не к лицу. Но в какой-то мере мне это удалось. Я говорил о том исполненном милости

парадоксе, что зло на земле часто оборачивается добром, и о том дьявольском парадоксе, что от добра часто рождается зло. Я коротко рассказал историю немецкой "внутренней жизни". Теорию о двух Германиях, Германии доброй и Германии злой, я отверг. Злая Германия, заявил я, — это добрая на ложном пути, добрая в беде, в преступлениях и в гибели. Не затем, продолжал я, пришел я сюда, чтобы, следуя дурному обычаю, представлять себя миру как добрую, благородную, справедливую Германию, как Германию в белоснежной одежде. Все, что я пытаюсь сказать о Германии своим слушателям, подчеркнул я, идет не от стороннего, холодного, бесстрастного знания: все это есть и во мне, все это я изведal на собственной шкуре.

Это было, можно, пожалуй, сказать, выражением солидарности — в рискованнейший момент. Не с национал-социализмом, разумеется, отнюдь нет. Но с Германией, которая в конце концов ему поддалась и заключила сделку с чертом. Сделка с чертом — искушение глубоко старонемецкое, и темой немецкого романа, рожденного страданиями последних лет, страданием из-за Германии,¹⁴⁴ должно быть, думается мне, это ужасное обещание. Но даже в отношении души одного Фауста злой гений оказывается в величайшей нашей поэме в конечном счете все же обманут, и не нужно думать, будто Германией окончательно завладел дьявол. Милость выше всяких предписанных кровью сделок. Я верю в милость, и я верю в будущее Германии, как ни бедственно ее настоящее и каким бы безнадежным ни казалось ее разорение. Довольно разговоров о конце немецкой истории! Германия неравнозначна тому короткому и мрачному историческому эпизоду, который носит имя Гитлера. Она неравнозначна и бисмарковской, короткой в сущности, эре прусско-германской империи. Она неравнозначна даже тому всего лишь двухвековому

отрезку истории, который можно назвать именем Фридриха Великого. Она собирается принять новый облик, перейти в новое состояние, которое, может быть, после первых мук перемены и поворота, сулит ей больше счастья и подлинное достоинство, отвечая самым специфическим нуждам и потребностям нации больше, чем прежде.

Разве мировая история кончилась? Она весьма даже энергично движется, и история Германии заключена в ней. Правда, политика силы продолжает довольно грубо предостерегать нас от слишком больших ожиданий; но разве не остается надежды, что волей-неволей, по необходимости, будут приняты первые пробные шаги к такому состоянию мира, когда национальная обособленность девятнадцатого века постепенно сойдет на нет? Мировая экономическая система, уменьшение роли политических границ, известная деполитизация жизни государств вообще, пробуждение в человечестве сознания своего практического единства, первые проблески идеи всемирного государства — может ли весь этот далеко выходящий за рамки буржуазной демократии *социальный гуманизм*, за который идет великая борьба, быть чужд и ненавистен немецкой душе? В ее страхе перед миром всегда было так много желания выйти в мир; за одиночеством, которое сделало ее злой, таится — кто этого не знает — желание любить и вызывать любовь. Пусть Германия вытравит из себя спесь и ненависть, и ее полюбят. Она останется, несмотря ни на что, страной огромных ценностей, которая может рассчитывать на трудолюбие своих людей и на помощь мира, страной, которую, когда будет позади самое трудное, ждет новая, богатая свершениями и почетом жизнь.

Я далеко зашел в своем ответе, дорогой господин фон Моло. Простите! В письме в Германию хотелось высказать многое. И вот что еще: наперекор той великой изнеженности, которая зовется Аме-

рикой, мечта еще раз почувствовать под ногами землю старого континента не чужда ни моим дням, ни моим ночам, и, когда придет час, если я буду жив и если это позволят сделать транспортные условия и достопочтенные власти, я поеду туда. А уж когда я там окажусь, то, наверно, — такое у меня предчувствие, — страх и отчужденность, эти продукты всего лишь двенадцати лет, не устоят против той притягательной силы, на стороне которой воспоминания большей, тысячелетней давности. Итак, до свидания, если будет на то воля Божия.

Томан Манн

(Печатается по: Т. Манн. Письма. М., "Наука", 1975, стр. 183—189. Перевод С. Анта.)

О НЮРНБЕРГСКИХ ПРОЦЕССАХ¹⁴⁵

[...] Критика Нюрнбергских процессов над двадцатью главарями нацизма вызвана добросовестностью и озабоченностью. Ее аргументируют тем, что судящие их державы сами не без греха, что предыстория войны не может признать в них судей, что из этой предыстории могут возникнуть весьма большие неприятности в ходе разбирательства, что такой суд не более, чем комедия, в которой обвинитель — он же судья, и что это демонстрация власти, а не стремление к торжеству права. Прежде всего предостерегают от нарушения того принципа, что никто не может быть осужден на основании закона, который не существовал во время совершения преступления; действительно, международного закона, в нарушении которого можно обвинить гитлеровский режим, тогда не существовало.

Все это правильно и хорошо, что об этом говорят открыто. Но по моему мнению, такой аргумент нельзя серьезно принимать во внимание, когда речь идет об истинном значении судебного разбира-

тельства в Нюрнберге, которое задумано с самого начала не как обычный уголовный процесс, а как политическая и моральная демонстрация с далеко идущими педагогическими целями. Нюрнбергский процесс — высказано это открыто или нет — демонстрация против циничного взгляда, будто война, закончившаяся победой благодаря перевесу в силе, постепенно все больше теряет свой идеологический смысл и все больше превращалась в борьбу держав, как всякая другая, и что сегодня, пренебрегая всякими моральными украшениями, снова пришли к господству исключительно принципа власти. Эта точка зрения, подкрепленная тем фактом, что более высокие цели войны демократии против фашизма давно перекрыты борьбой за власть и сегодня почти скрылись с глаз, тем не менее неверна. В глубине сознания и совести человечества, несмотря ни на что, эти цели сохранились, и именно потому судебная церемония в Нюрнберге при всей ее уязвимости с точки зрения формальной логики — необходимое подтверждение этих целей.

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К РАДИОПЬЕСЕ "КРОВЬ МОЕГО БРАТА"¹⁴⁶

[...] Когда я слышу об антисемитизме, то всегда вспоминаю плачевно-комичную историю, которая произошла в Германии в 1933 году, незадолго до прихода к власти Гитлера. Там существовал союз слепых — инвалидов войны, который в знак поддержки национал-социалистической доктрины решил немедленно исключить из своего состава евреев. Можно ли представить себе более гротескную картину, чем этих людей с пустыми глазницами или белыми и мертвыми глазами, кричащих из своей ночи таким же слепым: "Евреи, убирайтесь!". По существу, этот случай — символ абсур-

дности расового высокомерия и дискриминации вообще. Мы все слабые и несовершенные люди и должны думать о собственном исправлении, о том, как оправдаться нам перед судом Божиим, а не возвеличивать себя над какой-либо группой наших братьев и считать себя лучше и благороднее их. [...] Миру надлежит во имя сохранения цивилизации стремиться к взаимопониманию и дружескому сотрудничеству народов. Но как можно прийти к взаимопониманию и дружескому сотрудничеству, если среди отдельных наций процветают такие позорные и угрожающие единству заблуждения, как антисемитизм?

ОБРАЩЕНИЕ ПО РАДИО К АМЕРИКАНСКИМ СОЛДАТАМ В ГЕРМАНИИ¹⁴⁷

[...] Германский национал-социализм разбит в результате войны и уничтожен как политический фактор, но он не мертв, он продолжает жить во многих ничему не научившихся немецких душах просто потому, что сформировал образ мыслей покорных людей, чьи суждения и сегодня в большей или меньшей степени определяются им.

При этом я думаю в первую очередь только о людях, мозги которых развращены планомерной, можно сказать, научно разработанной пропагандой, доктринами, которые им вдалбливались и по большей части без специальных намерений передавались другим, как заразная болезнь.

Но дело обстоит гораздо хуже и опаснее, когда мы говорим о людях, преследующих четкую политическую цель — вернуть нацизм к власти и для кого — так им кажется — нет лучшего и более надежного средства, чем внушить нацистские идеи вам, американским солдатам.

[...] Гитлер объединил немецкий народ террором,

какого не знала европейская жизнь, насильственным подавлением всякого свободного мнения, пытками и убийством каждого, кто сопротивлялся его ведущим к катастрофе целям. Он объединил немцев концлагерями...

Вы слышите разговоры о том, что отношение Гитлера к немецким евреям — сначала к ним, а затем и к евреям других оказавшихся под его властью европейских стран — можно оправдать поведением самих евреев, но вы должны знать, что антисемитизм с самого начала был демагогическим средством, чтобы везде подорвать и уничтожить идею справедливости, свободы и демократии. Пять миллионов невинных людей пали жертвой позорной политики Гитлера и Гиммлера по отношению к евреям, которая самым гнусным образом осуществлялась в лагерях уничтожения Освенциме и Майданеке. Это самые отвратительные преступления, которые знает мировая история, и их одних достаточно, чтобы навсегда отворратить каждого морально здорового человека от всякой симпатии к нацистским учениям [...].

ГАНСУ ПОЛЛАКУ*

Пасифик Пэлисейдз, 29.12.1946

Глубокоуважаемый господин доктор Поллак!

Вы любезно прислали мне школьное издание моего рассказа "Вундеркинд" с комментарием и номер "Острелиан Куотерли" с Вашей статьей "How Shall the Teacher of German Present Germany?" / "Как должен учитель немецкого языка представлять Германию?" — *англ.*/. Большое спасибо Вам за этот интересный подарок. Особенно любопытна была для меня статья в "Острелиан Куотерли", где Вы с подобающей осторожностью касаетесь ответственности немецкого духа за трагическое развитие, которое претерпела Германия. Я целиком одобряю

то, что Вы как учитель проводите резкую разделительную черту между изъяснениями немецкой мысли на высшем уровне и той действительностью, которая ныне ввергла мир в столь сильное сомнение в здоровье и жизнеспособности немецкой мысли вообще. Как учитель, повторяю, Вы правы, когда говорите, что "certainly no writer of the past bears the responsibility for the fact the junkers and industrialists put Hitler into power" / "разумеется, ни один писатель прошлого не несет ответственности за то, что юнкеры и промышленники привели Гитлера к власти" — *англ.* / и что нельзя взваливать ответственность за современную демагогию на Гегеля или Ницше.

И все же я написал на полях "гм" в знак сомнения. Не есть ли это умаление, недооценка духа — избавлять его от ответственности за его последствия, за его претворение в действительность? Что Гегель, Шопенгауэр, Ницше внесли свой вклад в формирование немецкого духа и его отношения к жизни, так же неоспоримо, как тот факт, что Мартин Лютер имеет какое-то отношение к Тридцатилетней войне, ужасы которой он заранее недвусмысленно взял "на свою шею". Отрицать вину духа значит, по-моему, приуменьшать его роль, а у нас, немцев, сегодня есть все основания задаться проблематикой немецкой мысли и великого человека из немцев и задуматься над ней. [...]

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 215—216.
Перевод С. Анта.)*

ГЕРМАНУ ГЕССЕ

Пасифик Пэлисейдз, 8.2.1947

[...] "Убеждения, по крайней мере, — пишете Вы мне по поводу своих политических статей, — никогда не менялись". Не менялись они и у меня,

если различать между убеждениями и мнениями, как о том говорил Гёте: "Он не раз менял свои мнения, но никогда не менял своих убеждений". Читая теперь то, что сказано у Вас о первой мировой войне, я нахожу, что и я тогда от души одобрил бы это, вернее *действительно* одобрял, но пацифизм тогдашних политических литераторов, экспрессионистов, активистов раздражал меня так же, как якобинско-пуританские добродетели, пропагандируемые державами Антанты, и я отставивал протестантско-романтическую аполитичную и антиполитичную немецкость, которую считал основой своей жизни. С тех пор, за 30 лет, я весьма существенно менял свои мнения, не ощущая в общем-то никакого перелома, никакого разнобоя в себе. А с пацифизмом дело по-прежнему обстоит особо. Не при всех обстоятельствах выглядит он как истина. Одно время он был во всем мире маской фашистских симпатий, "Мюнхеном" 1938 года, отчаянием всех друзей мира, и я страстно мечтал о войне против Гитлера и "подстрекал" к ней и навек благодарен Рузвельту за то, что он с величайшим искусством вовлек в нее свою решающую страну, он, прирожденный и сознательный противник этого infâme / чудовища — *фр.*/. Когда я впервые покидал Белый дом, я знал, что песня Гитлера спета.

По-прежнему верно, что всякая война, даже та, что ведется за человечество, оставляет после себя много грязи, великую деморализацию, огрубление, оглупление. Необходимо и губительно — такова одна из "антиномий" этой юдоли скорби. И все-таки я думаю, что, несмотря на множество признаков, говорящих обратное, человечество за последнее десятилетие продвинулось — или было продвинуто — на шаг вперед по пути к своей социальной зрелости. Это еще, я думаю, скажется, и

тогда Германии волей-неволей придется признать, что и она тоже сделала этот шаг. [...]

*(Печатается по: Томас Манн.
Письма. М., "Наука", 1975, стр. 220.
Перевод С. Анта.)*

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД СТУДЕНТАМИ ЦЮРИХА¹⁴⁸

[...] Духовное состояние западного мира отягощает множество проблем, оно весьма нестабильно, я бы сказал, что это состояние анархии, растерянности, когда размыто различие между Добром и Злом и велика тоска мира по новой вере, по связанным с религиозностью обязательствам, четко очерченные границы которых будут опорой в жизни индивидуума, опорой против зияющей пустоты, сомнения во всем и вся, его страхов, отсутствия у него критериев. В этом состоит притягательная сила политического тоталитаризма, как фашизма, так и коммунизма, которые, — как, несомненно, кажется в особенности юным умам, но также и людям зрелым, — являются заменой религии, гаванью для души, моральным прибежищем. И действительно, уже сегодня можно вполне представить себе будущий род человеческий, который больше не понимает, что такое идея свободы, воодушевлявшая девятнадцатый век, у которого нет в ней потребности, который вполне удовлетворяется существованием в твердых границах и обязательствах, продиктованных диктаторскими и не подлежащими обсуждению принципами тоталитарного государства, нарушить которые нельзя даже помыслить, — так же, как когда-то в христианском средневековье человек был связан верой, догмой, не чувствуя себя субъективно несвободным и вполне был согласен с тем, что задача разума заключается лишь в том, чтобы истолковывать и оправдывать

догму. Возвращение такой формы жизни сегодня кажется действительно вероятным и возможно даже, что средний человек при этом будет счастливее, чем при сегодняшнем отсутствии твердого управления и при дезориентированности. Но все же я верю, что Просвещение свершило свой подвиг на века и что человек мыслящий, который присоединился бы к такому миру или был бы присоединен к нему насильственно, испытывал бы муки совести, живя в рамках воззрений и связей, продиктованных ему государством. Стоит представить себе это железное отречение, это забвение свободы, такого рода защищенность, которая утратила всякую память о гордости и смелости независимой и ответственной перед самой собой мысли, — и на нас повеяло чем-то жутким. Не думаю, что ужас, который я при этом испытываю, лишь признак моего преклонного возраста и моего происхождения из буржуазного века, нет, я уверен, что многие искренне стремящиеся к свободе и серьезно заинтересованные в судьбе человечества молодые люди чувствуют то же самое. Молодежь, которой не стала чужда идея гуманности — она же идея свободы, — ищет ее обновления, избавления от неурядиц и страданий нашего растерянного времени.

Я со своей стороны часто высказывал убеждение, что сегодня усилиями лучших и энергичных умов этой эпохи подготавливается в тишине такое обновление. Я верю, что под и над кровавой борьбой и переворотами этого времени, в глубинах сердец и на высотах духа зреет новая любовь, новая вера, новое чувство гуманности, новый гуманизм, который ни в коем случае не должен быть оптимистической "идиллической любовью к роду человеческому", гуманизмом, который проливал бы тихую слезу по восемнадцатому веку. Он ни в коем случае не должен быть гуманизмом наивным и чувствительным. Он может и должен быть более мужественным, более знающим и углубленным

гуманизмом, который, обогащенный опытом, узнавший все новое о человеческом и все о низком и демоническом, привнесет это в свое почитание человеческой тайны.

Я говорю об уважении и почитании, я придаю этому некую религиозную окраску, она характерна для такого рода гуманизма, ибо — что такое религия, как не почтение, почтение перед тайной, которую представляет собой человек? Ведь человек — таинство, и нам надлежит это таинство почитать. Он — дитя природы и частью своего существа принадлежит сфере животного. Но другой своей частью он обязан более высокому, духовному, нравственному миру, в котором понимают, что есть Добро и что есть Зло, и природа наделяет его, человека, совестью; человек — есть дух, а дух — это самокритика жизни. [...]

МАКСУ РИХНЕРУ*

Пасифик Пэлисейдз, 24.12.1947

[...] Вы неспособны понять мою ненависть к наглой преступности нацистских каналов, я знал это. Ваше примечание и должно было оказаться несколько презрительным. Поверьте, я не играл в агитатора и не комментировал некие необоснованные утверждения, я ругал нацистов из самой глубины сердца, — во мне живет мистическая вера, что моя *смертельная* ненависть оказалась не без влияния на ход вещей. [...]

ВИЛЛИ БАУЭРУ*

Пасифик Пэлисейдз, 15.9.1948

[...] Что касается рекомендации злосчастному Блунку*, которую Вы у меня просите, то я со своей стороны обращаюсь к Вам с просьбой ос-

вободить меня от этого. Я не могу свидетельствовать в пользу Блунка ни в каком отношении, а свидетельствовать против коллеги и этим способствовать зачислению его в неблагоприятный для него разряд, как это называют сегодня в Германии, противно моим понятиям. Все эти годы я жил вдалеке от Германии, но знал, что Блунк был президентом Имперской палаты по делам печати¹⁴⁹, знал, что он считался представителем национал-социалистической культуры и широко пользовался выгодами своего положения. Итак, я видел в нем одну из зловещих, чуждых мне и непонятных фигур, в которые тогда превратились некоторые хорошо знакомые мне люди. После краха нацистского господства Блунк, как и некоторые другие, написал мне в выражениях, полных тепла и почитания, и изобразил дело так, будто все это было недоразумением. Я не очень ему поверил, но ответил дружески и по-человечески, не как тот, кто охотно бросает в других камень. Однако недавно, еще до того, как пришло Ваше письмо, он мне вновь написал, не упоминая о предстоящем процессе денацификации. Разумеется, я никогда не обещал ему заступиться за него, и если он приводит меня как одного из тех, кто готов засвидетельствовать его по существу демократические или даже социалистические убеждения, то заявления его ложны. Самое желательное для меня — вообще не быть примешанным к этому делу, и я прошу предоставить мне такую возможность. [...]

ГАНСУ МАЙЕРУ*

Пасифик Пэлисейдз, 14.11.1948

[...] Есть достаточно оснований опасаться, что из трех немецких студентов буржуазного происхождения двое сегодня опять фашисты. Их к этому усиленно поощряют. Но третий, который не таков,

должен ли он, что касается его права на образование в области духовной, оказаться в худшем положении, чем способные молодые люди из народа, он, сын класса, создавшего в конце концов науку, если здесь вообще уместно говорить о классе?

Сейчас много говорят о буржуазной науке, не знаю, как отнестись к этому определению, для меня оно означает просто свободное исследование в отличие от ортодоксии, которая должна оказывать духовно опустошающее воздействие. Далее, говорят о буржуазном искусстве, причем употребляют это слово как синоним "декадентского", "формалистического", "диссонантного", "непонятного", "асоциального" и "чуждого народу". Я чувствую себя задетым, мне больно, это лишает меня надежды — когда революция шельмует необходимо новое, авангардистское, не желая понимать, что это судьба искусства; она может быть трагической, но это честная судьба; и когда я вижу, как русские композиторы стоят на коленях и слышу, как пустыми голосами они каются: да, да, мы были формалистами и наше искусство было диссонантно, мы грешили, батюшка, и раскаиваемся, — мне становится жутко. Я хотел бы, чтобы Вы прочли статью Штукеншмидта* "Что такое буржуазная музыка?" в 7-м номере журнала "Штиммен". Прочли, как автор — не с издевкой и враждебностью, а с удивлением и ужасом показывает, что московские оценки искусства и предписания искусству в точности совпадают с оценками нацистов и что русская революция клеветает на тех же ведущих представителей современного искусства, которых изгнал и запретил Геббельс, — от имени народа. Конечно же, речь идет не только о музыке, а об угнетающе неверном *упрощении отношения между духом и народом вообще*. В журнале "Советская литература" я видел репродукцию одной картины: "И. Сталин выступает на торжественном заседании Московского совета по случаю двадцать

четвертой годовщины Великой социалистической Октябрьской революции". Это Антон фон Берне*.

Вы, очевидно, имеете представление, господин профессор, о том, как мы здесь живем и в каких раздорах с уже двигающейся к фашизму демократией, — на мгновение лишь слегка утешенные продемонстрированной народом во время выборов волей к миру и прогрессу. Мы достаточно громко высказываем свое мнение по поводу проверки лояльности, холодной войны и слепого доверия к коммунистам-ренегатам. Но с другой стороны! На какой позиции стоять? Кого защищать? От московской политики на меня повеяло ужасом, и я ни в коем случае не хочу полагаться на нее. К тому же гибельный раскол Германии. Построить мост между ними — стремление прекрасное, но, пожалуй, дерзостное, потому что — кто выдержит подобную нагрузку?

Конечно, я пишу Вам все это в связи с почетным, волнующим предложением, которое Вы сделали в Вашем письме, соединить мое имя с созданием издательства "Фольк унд Вельт". Как может не доставить мне радости мысль, что мое имя будет поддержкой для нового поколения духовных немцев? Но знаете, что было бы мне приятнее всего? Если бы Вы просто назвали издательство моим именем, как, не спрашивая меня, назвали одну улицу в Восточной Германии. Будет ли мое решительное согласие выражением моего предпочтения, поддержкой одной стороны, выражением *солидарности* с русско-восточногерманской политикой в области культуры, которая будет предметом всеобщего обсуждения? Если бы Вы могли успокоить меня на этот счет! [...]

ПАУЛЮ ОЛЬБЕРГУ*

Пасифик Пэлисейдз, 27.8.1949

[...] Никогда и нигде я не говорил, что надо забыть ужасы фашизма (не один раз я говорил обратное). И никогда не утверждал, что нынешнее духовное состояние немецких масс особенно счастливое и пробуждает надежды. Причина — с одной стороны в самом немецком народе, с другой — в неблагоприятном соотношении сил в мире. Дурные элементы в Германии получают поддержку, хорошие оттесняются. [...] Мои публичные размышления о том, что в огромной России автократия и революция в течение десятилетий вели между собой ожесточенную борьбу, а теперь в результате соединились, и мы имеем дело с автократической революцией, которая пользуется теми же внушающими страх зловещими методами, что и полицейское государство, — пусть для достижения совершенно иных целей, — вызвали очень резкую реакцию русской прессы. Несмотря на это, один тот факт, что я оставляю за собой право отличать отношение коммунизма к идее человечности от абсолютной низости; что я отказываюсь участвовать в кампании травли коммунистов и в пропаганде войны и выступаю во имя сохранения мира в мире, будущее которого уже давно нельзя представить себе без коммунистических черт, — одного этого, видимо, достаточно, чтобы я пользовался известным доверием в сфере коммунистической религии, доверием, которое я не старался заслужить. Однако я вовсе не хочу считать это плохим симптомом моего духовного и морального здоровья [...].

ГАНСУ МАЙЕРУ

Бар на Цюрихском озере, 23.6.1950

[...] Сама европейская литература, включая мою,

приобрела характер резюме, взгляда в прошлое, цитаты, "и еще раз обобщения". Несомненно, это означает *распад как итог*, прощание, конец. Новое? Пусть придет, если может! Я с радостью приму его. Но в основном я считаю Россию слишком европейской и так же, как и Европа, опытной, чтоб верить, что она призвана принести Новое. Официально она, как ученый дурак, говорит об этом достаточно часто, и этот учительски-назидательный жаргон: "формалистический", "чуждый народу", "реалистический" и т.п. *не выше* фашистского уровня [...].

ДЖУЛИО ЭЙНАУДИ*

Эрленбах-Цюрих, 28.6.1953

[...] Кризис моей жизни нашел свое выражение в "Размышлениях аполитичного", но и потом я не переставал противопоставлять аполитичному понятию культуры культуру моих соотечественников, немцев, всеобщность Человеческого, Гуманности, которые с необходимостью включают в себя Политическое. Нечто другое представляет собой, правда, тоталитарная политика, которой присягнули, которой силой добивается коммунизм. У кого нет сомнений в культурно-педагогическом призвании коммунистической бюрократии? В плодотворности регламентации искусства и науки партийным государством? Эти сомнения заставляли меня всегда держаться вдалеке от коммунистической веры и, как кажется, коммунизм не ставит мне это в упрек, потому что я, с другой стороны, отказываюсь принимать участие в травле коммунистов по американскому образцу.

Но я спрашиваю себя, как представлял себе, например, Павезе*, с его интересом к "самым щекотливым и запутанным темам современной философии" и склонностью к мифам, свое личное существование в коммунистически дисциплиниро-

ванной Италии, в смиренной рубашке коммунистических догм? Он верил, что такие возвышенные шалости, как слабость к моим историям Иосифа, будут ему *разрешены* при коммунистическом господстве? Это было наивно [...].

Можно ли быть коммунистом в политике и одновременно поклонником свободной и экспериментаторской в области художничества мысли? Это разделение политики и духа явно антитоталитарно и еретично. Может быть, Павезе ради своего спасения был готов к далеко идущим интеллектуальным жертвам, но в том-то и дело, что требование коммунистов принесения *sacrificium intellectus* /интеллектуальных жертв — лат./ идет *очень* далеко, безжалостно далеко. Оно затрагивает саму идею истины, о которой можно думать, как Пилат, не будучи в состоянии, однако, в глубине сердца допустить, что она попадет под запрет.

Р. И. ГУММУ*

Эрленбах-Цюрих, 21.11.1953

[...] Вера: Вы хотели бы знать, какую веру я "прячу в шкафу". Когда я допытываюсь у самого себя, то результат оказывается весьма тривиальным: я верю в Доброе и Духовное, Свободное, Смелое, Прекрасное и Справедливое, одним словом, в суверенную веселость искусства, этого великого средства уничтожать ненависть и глупость. Наверное, этого недостаточно, кроме того, надо верить в боженьку или в Атлантический пакт, но мне достаточно другого.

Вера! Я провел свою жизнь в восхищении Прекрасным и Мастерским. Ведь моя эссеистика вместе с художественными произведениями *состоит* исключительно из восхищения; и сами мои произведения создавались перед лицом Великого, пред Его глазами. Я взирал на Него всегда снизу вверх, но

также я вбирал Его в себя и иногда этому взгляду была свойственна отчаянная доверчивость. Почтения ему всегда хватало. [...]

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ I

¹ Речь на вечере памяти Вальтера Ратенау, организованном содружеством студентов-республиканцев Мюнхена в июне 1923 г. Опубликована в газете "Франкфуртер Цейтунг" 28.6.1923 г. В ней резюмированы идеи, высказанные в речи "О немецкой республике", произнесенной 15 октября 1922 г. Перевод выполнен по: Т. Манн. Собрание сочинений в 13-ти т. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1974, т. XI, стр. 850—860. Далее: — Собр. соч. на нем. яз.

² *Национальный блок* — правительство Франции во главе с Р. Пуанкаре, который добивался военной и экономической гегемонии Франции в Европе. В январе 1923 г., воспользовавшись тем, что Германия не выполнила своих обязательств по товарным поставкам, обусловленным Версальским договором, Франция ввела свои войска в Рурскую область.

³ Так в Европе, в частности в Германии, называли Первую мировую войну.

⁴ Имеется в виду роман "Волшебная гора". В 1912 г. жена Т. Манна, Катя Манн, находилась в туберкулезном санатории в Давосе. Во время посещения санатория у Т. Манна зародился замысел этого произведения. Роман опубликован в 1926 г.

⁵ *Вильгельммейстерада* — Т. Манн подразумевает роман Гёте "Годы учения Вильгельма Мейстера".

⁶ Имеется в виду текст речи "О немецкой республике". Речь "О немецкой республике" была произнесена Т. Манном в связи с 60-летием Герхарда

Гауптмана. В письме Феликсу Берто от 1 марта 1923 г. Т. Манн писал: "Я пытался рассказать молодежи, как я понимаю идею гуманности и призвать ее поддержать республику; меня обвиняли в том, что моя сегодняшняя позиция находится в противоречии с "Размышлениями аполитичного", в то время, как внутренне она является прямым ее продолжением".

⁷ *Бюро Вольфа* — официальное германское телеграфное агентство.

⁸ Доклад "Гёте и Толстой" был прочитан Т. Манном 4 сентября 1921 г. в Любеке на Неделе Севера, затем переработан в эссе и опубликован впервые в журнале "Дейче Рундшау", Берлин, 1922, №6.

⁹ Вотан (Бодан, Один) — верховное божество у древних германцев.

¹⁰ На иврите понимание *חבנה* (*хавана*), между *רצ* (*бейн*), т.е. эти слова действительно однокоренные.

¹¹ *Рёнская молодежь* — Рён — один из глубинных, в те времена слабо развитых районов Германии. Т. Манн употребляет это выражение для указания на национально ориентированные слои немецкой молодежи.

¹² Речь на открытии митинга "Мюнхен как центр культуры", состоявшегося в Мюнхене 30 ноября 1926 г. и созванного интеллигенцией города в знак протеста против поднимающей голову реакции. Кроме Т. Манна, на митинге выступили известные деятели культуры, в их числе брат Т. Манна Генрих Манн. Опубликована в газете "Фоссише Цейтунг" 7 декабря 1926 г. Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. X, стр. 220—226.

¹³ "Любек как форма духовной жизни". Доклад на торжествах в связи с 700-летием города Любека 5 июня 1926 г. Впервые опубликован изд-вом Отто Квитцова (Любек, 1926).

¹⁴ Речь идет о романе "Будденброки", действие которого происходит в Любеке.

¹⁵ Новелла "Смерть в Венеции" написана Т. Ман-

ном в 1912 г. В ней смерть трактуется как неизбежный результат любви.

¹⁶ Установить личность адресата не удалось.

¹⁷ Имеется в виду, очевидно, д-р Прессбургер.

¹⁸ Статья "Теодор Шторм" опубликована в журнале "Дахейм", № 46—47 за 1930 г.

¹⁹ Фризы — название группы древнегерманских племен. Фула — по античным представлениям, крайний пункт на севере Европы. Томас Манн хочет подчеркнуть удаленность Шлезвиг-Голштейна от центров античной цивилизации.

²⁰ Речь, произнесенная 17 октября 1930 г. в Бетховенском зале в Берлине. Опубликована (во фрагментах) 18 октября в газете "Берлинер Тагеблатт" под заголовком "Призыв к разуму". Полный текст опубликован впервые в изд-ве С. Фишера, Берлин, 1930 г. Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XI, стр. 870—890.

²¹ На выборах в рейхстаг в сентябре 1930 г. национал-социалистическая партия получила 6400000 голосов, т.е. в восемь раз больше, чем в 1928 г. Во время выступления Т. Манна одетые в смокинги штурмовики, посланные в зал по приказу Геббельса, устроили обструкцию. Ими руководил писатель Арнольд Броннен, который писал для Геббельса текст его выступления в дискуссии с режиссером левого направления Эрвином Пискатором.

²² Молох — в библейской мифологии божество, которому приносились человеческие жертвы. (В иудаистической традиции человеческие жертвы были запрещены.) Ваал (Баал) — в западносемитской мифологии одно из наиболее употребительных имен бога, связанного с культом природных стихий и плодородия. Астарта — древнесемитское божество, олицетворение планеты Венеры, богиня любви и плодородия. В период становления иудейского монотеизма пророки вели с культом Астарты ожесточенную борьбу.

²³ В ночь с 27 на 28 февраля 1933 г. гитлеровцами был подожжен рейхстаг, что явилось предлогом для преследования левых сил. Кроме голландца Мариуса Ван дер Люббе, главного обвиняемого по делу о поджоге, были арестованы: депутат рейхстага от коммунистической партии Эрнст Торглер и жившие в Берлине болгары: Димитров, Попов и Танев. Ван дер Люббе был признан виновным и казнен, болгары высланы в СССР. Торглер был оправдан, но затем снова арестован и находился в тюрьме до 1936 г.

²⁴ Рейхсвер — вооруженные силы Германии, созданные после подписания Версальского договора 1919 г. По условиям этого договора Германии запрещалось иметь вооруженный флот, танки, зенитную артиллерию. 16 марта 1935 г. Германия односторонне аннулировала военные статьи Версальского договора и ввела воинскую повинность.

²⁵ "Rotary" — "Ротари-клуб", международное объединение деятелей культуры и политики под девизом "Служба". Основан в 1905 г. Его филиалы существовали во многих странах. В Германии первый клуб "Ротари" был открыт в 1927 г. На заседаниях клуба его члены выступали с докладами по различным общественным и политическим темам. В руководстве мюнхенского "Ротари-клуба" верх одержали националистические элементы.

²⁶ Речь идет о целях, которые ставила себе кайзеровская Германия, начиная войну: создание "Великой Германии", которая включала бы в себя Австро-Венгрию, Балканы, Прибалтику, Скандинавию; овладение обширными колониями в Африке и бассейне Тихого океана; политическая изоляция Франции на континенте.

²⁷ 9 ноября 1918 г. в результате восстания был свергнут кайзер и в Берлине провозгласили республику. Президентом республики 11 февраля 1919 г. был избран социал-демократ Фридрих Эберт.

²⁸ Сборник "Страдая Германией" представляет

собой дневниковые записи 1933—34 гг. Он был составлен самим Т. Манном, но без соблюдения хронологии. Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XII, стр. 684—766.

²⁹ 22 июня 1919 г. 27 союзных стран подписали в Версале мир с Германией, условия которого были для последней очень тяжелыми: она лишилась части своей территории, всех колоний, не имела права ввозить и вывозить оружие и т. д.

³⁰ "Кровь и почва" — основная формула национал-социалистической идеологии: здоровье страны может быть обеспечено только единством народа на собственной земле. "Кровь" — метафора народа (под народом подразумевается арийская раса). Литераторы "крови и почвы" прославляли в своих произведениях эту идею.

³¹ "Фелькишер Беобахтер" — газета немецких националистов, впоследствии гитлеровский официоз. В редколлегию "Фелькишер Беобахтер" входил бездарный поэт Дитрих Эккарт; слова из его стихотворения "Буря" — "Германия, проснись!" — стали фашистским боевым кличем. "Мы /национал-социалисты — *пер.*/ ставим себе в заслугу, что боролись за возрождение немецкой культуры, способствовали расцвету новых и вместе с тем вечных, исконных, сущностных сил и ценностей народа. Мы должны, однако, подчеркнуть, что он /Т. Манн — *пер.*/ как в литературном, так и в политическом отношении бесконечно далек от наших собственных взглядов", — писала эта газета 25 октября 1936 г., незадолго до того, как Т. Манн был лишен немецкого гражданства (2 декабря 1936 г.).

³² Т. Манн имеет в виду нелегко давшееся ему решение не возвращаться в Германию.

³³ Подразумевается Гитлер. Запись в дневнике сделана в связи с речью Гитлера по вопросам культуры.

³⁴ На выборах в рейхстаг в марте—апреле 1932 г. нацисты получили больше 13 млн. голосов. Пре-

зидентом был вновь избран престарелый маршал Гинденбург. В мае—июне 1932 г. Гинденбург, осуществляя дальнейшую фашизацию страны, назначил главой правительства представителя партии центра фон Папена. В связи с ростом активности антифашистских сил (на выборах в ноябре 1932 г. компартия получила около 6 млн. голосов) на встрече Гитлера с фон Папеном было решено ускорить установление фашистской диктатуры. 30 января 1933 г. Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. 1 февраля Гитлер распустил рейхстаг и объявил новые выборы; на них нацистская партия получила 288 мандатов (43,9 процента голосов). 21 марта был созван новый рейхстаг, а 23 марта Гитлер провел закон о полномочиях правительства устанавливая законы, чем фактически отстранил от власти рейхстаг и президента. В день смерти Гинденбурга, 2 августа 1934 г., Гитлер назначил себя "фюрером".

³⁵ Очевидно, автор имеет в виду газеты и журналы, выходившие в нацистской Германии.

³⁶ В это время Т. Манн работал над романом "Иосиф и его братья".

³⁷ 30 июня 1934 г., опасаясь захвата власти в армии, расстреляли Э. Рёма, начальника штаба штурмовых отрядов. В марте 1934 г. сторонниками аншлюса (присоединения Австрии к Германии) был убит Э. Дольфус, генеральный канцлер и министр иностранных дел Австрии.

³⁸ В результате плебисцита 1935 г. Саарская область, которая по Версальскому договору была на 15 лет передана под управление Лиги Наций, отошла Германии.

³⁹ Хорст Вессель — член нацистского штурмового отряда (СА), убитый в 1930 г. из ревности "хозяйном" проститутки, в которую Вессель влюбился. Нацисты сделали из него героя-мученика, жертву "красных". "Песня о Хорсте Весселе" стала гимном нацистов.

⁴⁰ "Three Ways of Modern Man" ("Три пути современного человека") — глава из книги Г. Слочауэра, посвященная роману Т. Манна "Волшебная гора".

⁴¹ Имеется в виду начало военных действий итальянской армии против Абиссинии 3 октября 1935 г.

⁴² Статья "Внимание, Европа!" была написана для оглашения на заседании "Комите де Кооперасьон Энтеллектюэль" в начале апреля 1935 г. в Ницце. Первая немецкая публикация — в сборнике "Внимание, Европа!" (Стокгольм, изд-во "Берман—Фишер", 1938). Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XII, стр. 766—779.

⁴³ Эвдемонизм — античный принцип жизнепонимания; такое истолкование и обоснование морали, согласно которому счастье является высшей формой человеческой жизни.

⁴⁴ "Дикая утка" — пьеса Ибсена (1884), в которой проповедуется терпимость и гуманность.

⁴⁵ Хтонический — нутряной, сочащийся из глубин земли. Хтонические божества одаряют плодородием и жизнью. В то же время они — боги преисподней и мертвых.

⁴⁶ Мистагогический — возвещающий тайное учение.

⁴⁷ Это письмо впервые было опубликовано 3 февраля 1936 г. в швейцарской газете "Нейе Цюрхер Цейтунг". Вслед за его публикацией Т. Манн был лишен немецкого гражданства.

⁴⁸ Издательство С. Фишера было основано Самуэлем Фишером (1859—1934) в Берлине в 1886 г. Публиковало лучшие произведения немецкой и европейской литературы, открыло многих, ставших затем широко известными, писателей (в том числе Т. Манна, издав в 1901 г. его "Будденброков"). С. Фишер был близким другом Т. Манна, издавал все его произведения. В 1935 г. издательство было закрыто, затем вновь открыто в Вене под руководством зятя С. Фишера, Готфрида Бермана, под

названием "Берман—Фишер"; после аншлюса (на-
сильственного присоединения Австрии к Германии
в марте 1938 г.) — в Стокгольме, Амстердаме
и Нью-Йорке. Публиковало "нежелательных" для
нацистов авторов. С 1950 г. снова действует в Бер-
лине и Франкфурте-на-Майне.

⁴⁹ Далее Т. Манн цитирует Августа Платена
(1796—1835), автора исторических баллад.

⁵⁰ Процесс троцкистов — судебный процесс по
так называемому делу "троцкистско-зиновьевско-
го объединенного центра" проходил в Москве
19—24 августа 1936 г. Все 16 обвиняемых были
расстреляны.

⁵¹ Речь идет о Михаиле Павловиче Томском (на-
стоящая фамилия Ефремов), крупном партийном
работнике, возглавлявшем профсоюзы в СССР.
Он застрелился 22 августа 1936 г., в день, когда в
"Правде" было опубликовано заявление генераль-
ного прокурора Вышинского о начале расследова-
ния по делу Бухарина, Томского и Рыкова.

⁵² Т. Манн был лишен германского гражданства
2 декабря 1936 г. Как объявили нацистские власти
— "на основании его действий, которые противоречили
долгу соблюдать верность империи и народу. Он многократно принимал участие в митингах
международных союзов, находящихся под еврей-
ским влиянием. В последнее время он часто выступил
с нападками на рейх. В связи с дискуссией в
одной известной цюрихской газете об оценке эмигрантской
литературы он открыто стал на сторону враждебных
государству эмигрантов и выступил с тяжелейшими
обвинениями против рейха". "Мне горько было
узнать, — сказал Т. Манн в интервью газете
"Нью-Йоркер Штаатсцейтунг унд Герольд"
13 апреля 1937 г., — что они имели дерзость лишить
меня моей принадлежности к немцам. И хотя я
нахожу смехотворным и абсурдным лишение меня
германского гражданства, мне все же стало гораздо
легче, так как теперь, когда мои книги запрещены,

положение стало ясным. Теперь нет причин для компромисса”.

В письме Герману Гессе от 9 февраля 1936 г. Т.Манн писал: ”Я должен был однажды ясно заявить о своей позиции: ради мира, где распространены неопределенные, двусмысленные представления о моем отношении к Третьей империи, а также ради самого себя, потому что мне душевно давно это было необходимо [...]. Многим страдающим я принес пользу, что доказывает поток писем, многим, стоящим в стороне, я дал пример того, что еще существуют на свете такие вещи, как характер и твердые убеждения”.

⁵³ Это письмо Т.Манна опубликовано в газете ”Нейе Цюрхер Цейтунг” 24 января 1937 г., а также в виде брошюры в издательстве Эмиля Опрехта в том же месяце того же года в Цюрихе. За восемь дней было раскуплено 3000 экземпляров брошюры, за десять — 10000. В Германии она стала нелегальным бестселлером и была издана в количестве 30000 экземпляров под названием ”Письма немецких классиков. Пути к знанию”. Это письмо получило большое распространение во многих странах Европы, имело широкое хождение в Вене, было опубликовано по-польски в журнале ”Вьядомости литерацки”. Готовилось издание письма по-чешски. В течение нескольких лет Т.Манн получал многочисленные отклики на него с выражением благодарности и восхищения.

Письмо ”Господину декану философского факультета Боннского университета” вызвало злобную реакцию нацистской прессы: ”Конечно, ниже достоинства официальных учреждений отвечать на этот пасквиль”, — писал журнал ”Цейтшриффт фюр дейче Бильдунг”.

Перевод выполнен по: Т.Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XII, стр. 785—792.

⁵⁴ В официальном письме от 19 декабря 1936 г. Т.Манну было сообщено о лишении его звания

почетного доктора философии Боннского университета.

⁵⁵ В 1919 г., в связи со столетием Боннского университета, Т. Манну было присвоено звание почетного доктора этого университета. После того, как в 1936 г. Т. Манна лишили этого звания, ему вернули его только в 1947 г. В письме от 28 января 1947 г. Т. Манн благодарит проф. Ертеля: "Если что и может омрачить мою радость и удовлетворение, то только мысль о страшной цене, которая была заплачена, прежде чем Ваш знаменитый университет оказался в состоянии отменить навязанное ему тогда решение".

⁵⁶ Гарвардский университет присудил Т. Манну звание почетного доктора философии в 1935 г.

⁵⁷ Деканом философского факультета Боннского университета был тогда д-р Карл Юстус Обенауэр.

⁵⁸ Американский Еврейский Конгресс — одна из крупнейших еврейских организаций США. В тридцатые годы АЕК активно боролся против немецкого нацизма и прилагал много усилий, чтобы возбудить общественное мнение против проявлений антисемитизма в США. Первый массовый митинг АЕК состоялся в марте 1937 г. в Мэдисонсквере в Нью-Йорке под председательством раввина Стивена Вайза.

⁵⁹ Это выступление Т. Манна состоялось в марте 1937 г. в Цюрихе, в клубе "Кадима". Текст его впервые был опубликован в газете "Альгемейне Цейтунг дер Юден ин Дейчланд" 15 сентября 1959 г.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Семь манифестов по еврейскому вопросу (на нем. яз.). Дармштадт, изд-во Мельцера, 1966, стр. 27—42.

⁶⁰ "Кадима" — объединение студентов-евреев. Основано в 1882 г. в Вене Теодором Герцлем. Организации "Кадимы" были во многих городах Европы.

⁶¹ Речь идет о романе "Иосиф и его братья".

⁶² Речь была произнесена Т. Манном в Мекка-со-

боре в Нью-Йорке 21 апреля 1937 г. Опубликовано в июльском номере журнала на немецком языке "Дас Ворт" за 1937 г., издававшемся в Москве. Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XIII, стр. 641—645.

⁶³ "Гамлет". Акт I, сцена 5. (Перевод М. Лозинского.)

⁶⁴ "Мас унд Верт" ("Мера и ценность") — двухмесячный литературный журнал. Основан в Цюрихе Т. Манном и писателем Конрадом Фальке. Выходил с сентября 1937 г. по ноябрь 1940 г. под редакцией сына Т. Манна Голо и литературоведа Фердинанда Лиона в издательстве Эмиля Опрехта. В нем сотрудничали многие выдающиеся писатели, среди них Андре Жид, Жан-Поль Сартр, Бруно Франк, Аннетта Кольб.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XII, стр. 798—812.

⁶⁵ Автор упоминаемой Т. Манном рецензии на книгу Карла Ясперса о Ницше — немецкий философ и социолог Макс Хоркхеймер (1895—?). Он занимался исследованием расовых и национальных предрассудков. Проводил различие между "тотальным" и "тоталитарным" государствами, характеризуя тоталитарное государство как государство террора. Автор книг "Диалектика просвещения", "Авторитарное государство".

⁶⁶ Конференция состоялась 13—14 ноября 1937 г. в Париже.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1937—1939. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1980, стр. 866—867. (Данный текст находится в примечании к дневниковой записи от 27.10.1937.)

⁶⁷ Доклад "Вагнер и 'Кольцо Нибелунгов'" был прочитан 16 ноября 1937 г. в университете Цюриха в связи с постановкой "Кольца Нибелунгов" в городском театре. Опубликовано в журнале "Мас унд Верт" за январь—февраль 1938 г. Перевод вы-

полнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. X, стр. 502—527.

⁶⁸ Ругон-Маккары — герои серии социальных романов Эмиля Золя.

⁶⁹ Нацисты использовали трактовку Вагнером германского мифа (согласно которой положительные герои мифа являются символом "народности") для спекуляции на лозунге "народной общности"; ненависть Вагнера к евреям (см., например, его статью "Евреи в музыке") нацисты пропагандировали как исконное качество "здорового немецкого духа".

⁷⁰ Текст послания был зачитан Эрикой Манн на митинге в Нью-Йорке, состоявшемся 2 декабря 1937 г. Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1937—1939. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1980, стр. 867—868. См. там же примечание к дневниковой записи от 2.12.1937.

⁷¹ Речь идет о журнале "Мас унд Верт".

⁷² В ночь с 11 на 12 марта 1938 г. гитлеровские войска, приветствуемые австрийскими нацистами, вступили в Австрию. Австрия была присоединена к рейху (так называемый "аншлюс"). Этому предшествовал ультиматум Гитлера канцлеру Австрии Шушнигу от 12 февраля 1938 г. с требованием предоставить австрийским нацистам полную свободу действий.

В апреле из венских библиотек были изъяты и уничтожены все книги Т. Манна. 21 мая в одном из своих писем Т. Манн пишет: "Какое впечатление произвели на меня злодеяния в Австрии, то, что это было возможно, что это стерпели, Вы можете понять из того, что я решил пока не возвращаться в Европу".

⁷³ Германия и Италия выступили на стороне Франко против республиканского правительства Испании.

⁷⁴ Бризантная бомба — фугасный артиллерий-

ский снаряд с взрывателем дистанционного действия.

⁷⁵ Нацисты ворвались в дом Зигмунда Фрейда и разграбили его библиотеку.

⁷⁶ Послесловие к сборнику "Испания" опубликовано в сборнике "Внимание, Европа!" (Стокгольм, изд-во "Берман—Фишер" 1938. Перевод выполнен по этому изданию, стр. 113—120.

⁷⁷ Доклад, прочитанный Т. Манном весной 1938 г. в пятнадцати городах Америки. Опубликовано в 1938 г. в изд-ве Эмиля Опрехта в Цюрихе. Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XI, стр. 910—941.

⁷⁸ "Сердце сынов человеческих исполнено зла" — Экклесиаст, гл. 9, стих. 3.

⁷⁹ Т. Манн имеет в виду Томаса Гаррига Масарика (1850—1937), бывшего с 1918 по 1935 гг. президентом Чехословацкой республики.

⁸⁰ 5 мая 1936 г. итальянские войска вступили в Аддис-Абебу.

⁸¹ От ядовитых газов погибло 275 тысяч абиссинцев.

⁸² Автаркия — политика хозяйственного обособления страны, создание замкнутой самообеспечивающейся экономики.

⁸³ Генерал Франсиско Франко (1892—1975) возглавил в 1936 г. мятеж против республиканского правительства Испании. Гражданская война (1936—39) окончилась поражением республиканцев. В 1939 г. Франко провозгласил себя пожизненным главой государства (каудильо). В 1969 г. он назначил своим преемником Хуана Карлоса, внука низложенного в результате революции 1931 г. короля Альфонса XIII.

⁸⁴ Во Франции в правительство Народного фронта, партии которого победили на выборах в Национальное собрание в апреле 1936 г., входили коммунисты, социалисты и радикалы. Пакт о единстве действий коммунистической и социалистической

партий был подписан в 1934 г., в январе 1936 г. были опубликованы основные положения этого пакта: разоружение и роспуск фашистских лиг, всеобщая амнистия, сохранение твердых цен на продукты питания. Правительство Народного фронта возглавил социалист Леон Блюм.

⁸⁵ Имеется в виду Муссолини.

⁸⁶ Имеются в виду переговоры Гитлера и Чемберлена в Берхтесгадене по судетскому вопросу (15 сентября 1938 г.), когда Гитлер ультимативно потребовал передачи Судетской области Германии.

⁸⁷ Под этим названием в середине октября 1938 г. в изд-ве "Берман—Фишер" в Стокгольме был опубликован сборник политических статей Т. Манна. Перевод выполнен по: "Внимание, Европа!" (Стокгольм, изд-во "Берман—Фишер" 1938, стр. 11—35).

⁸⁸ ...*в чешском кризисе...* — имеется в виду Мюнхенское соглашение между Германией, Италией, Англией и Францией от 29 сентября 1938 г. Т. Манн назвал это соглашение "грязным делом" и откликнулся на него статьей "Этот мир".

⁸⁹ Т. Манн имеет в виду так называемую "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 г., когда Гитлер расстрелял начальника штурмовых отрядов (СА) Эрнста Рёма и 83 главаря штурмовиков, готовивших против него путч.

⁹⁰ Речь идет об убийстве секретаря германского посольства в Париже Эрнста фон Рата еврейским юношей Гершелем Гриншпаном в качестве акта мести за высланных из Германии родителей. Убийство фон Рата послужило поводом к так называемой "Хрустальной ночи", погрому в Берлине в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., когда были уничтожены сотни синагог, убиты десятки евреев, разграблены все еврейские магазины. Погромы прокатились по всей Германии.

⁹¹ Автор статьи "Гибель античной культуры" — Михаил Ростовцев (1870—1952), русский историк и

археолог. С 1925 г. работал в Польше. Автор труда "Общество и экономика в Римской империи".

⁹² Германо-румынское соглашение от 23 марта 1939 г. — кабальный экономический договор, навязанный Германией Румынии; он поставил румынскую экономику в зависимость от военных нужд фашистской Германии. Германия получила право на создание в румынских портах "свободных зон" для строительства складов, право строить в Румынии шоссе, участвовать в эксплуатации ее нефтяных богатств и т.п.

⁹³ Речь на Всемирном конгрессе писателей была произнесена Т. Манном в Нью-Йорке 8 мая 1939 г. Текст ее не сохранился, печаталась по записи, сделанной во время трансляции по радио. Частично она была опубликована по-русски в "Литературной газете" в Москве 10 мая 1939 г.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1937—1939. Франкфурт-на-Майне, изд-во С.Фишера, 1980, стр. 896—898. (См. прим. к дневниковой записи от 9.5.1939.)

⁹⁴ Речь идет о "Хрустальной ночи".

⁹⁵ Письмо аналогичного содержания Т. Манн отправил Г. Манну.

⁹⁶ Советско-германский пакт о ненападении (так наз. пакт Риббентропа—Молотова) был подписан 23 августа 1939 г.

⁹⁷ Т. Манн имеет в виду оккупацию Чехословакии.

⁹⁸ Т. Манн подразумевает свое письмо в ответ на сообщение о лишении его звания почетного доктора философии Боннского университета. См. в наст. сб. письмо декану философского факультета Боннского университета.

⁹⁹ 28 апреля 1939 г. Германия расторгла пакт о ненападении с Польшей. Гитлер был уверен, что Франция и Англия, которые заключили союз с Польшей, не окажут ей помощи. 31 августа 1939 г. немцы инсценировали нападение переодетых поля-

ками эсэсовцев на радиостанцию немецкого пограничного городка Глейвиц (ныне Гливице), что послужило предлогом для агрессии Германии против Польши. 1 сентября 1939 г. нападением на Польшу началась Вторая мировая война.

¹⁰⁰ Эссе "Братец Гитлер" было опубликовано в 1939 г. в журнале "Дас Нейе Тагебух" в Париже. В Германии впервые опубликовано в 1953 г. "В этом эссе, -- писал Т. Манн, — моя боль и презрение". В интервью австрийской газете "Винер Альгемейне Цейтунг" от 17 марта 1932 г. в ответ на вопрос, как он оценивает тот факт, что австрийский провинциал имеет такое влияние на массы, Т. Манн сказал: "Единственное, что есть у Гитлера австрийского, это то, что он воспринял многое от австрийской политической ментальности, я имею в виду прежде всего антисемитизм. Гитлер — жалкая дешевка, но своей агитацией он вызывает опасность новой войны". "Братец Гитлер" был в плане одного московского издательства, но не был опубликован. Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XII, стр. 845—852.

¹⁰¹ Зигфрид — герой средневерхненемецкого эпоса "Песнь о Нибелунгах" (ок. 1200 г.). В нем повествуется о том, как исландская королева-воительница Брунгильда отомстила Зигфриду, который, помогая сватающемуся к ней бургундскому королю Гунтару, победил ее с помощью шапки-невидимки. По приказу Брунгильды Зигфрида убивают.

¹⁰² *Al fresco (итал.)* — стенная живопись водяными красками по сырой штукатурке.

¹⁰³ "Фьоренца" — единственная пьеса Т. Манна. Написана в 1905 г.

¹⁰⁴ Новелла "Смерть в Венеции" написана в 1912 г.

¹⁰⁵ Имеется в виду З. Фрейд, живший в Вене.

¹⁰⁶ Статья "Культура и политика" впервые была опубликована под заголовком "Необходимость заниматься политикой" в журнале "Дас Нейе Таге-

бух”, № 30, 1939 г. в Париже. В Германии впервые издана в сборнике “Альтес унд Нейес аус фюнф Ярцентен” (Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1953).

¹⁰⁷ Священная Римская империя германской нации — существовавшая в средние века империя, включавшая Германию и другие государства. Основана в 962 г. Оттоном I. В XIII в. вела завоевательскую политику. Формально просуществовала до 1806 г., когда ее император Франц II отказался от престола в ходе наполеоновских войн.

¹⁰⁸ В 1848 г. в Европе происходили буржуазные революции.

¹⁰⁹ Тридцатилетняя война (1618—1648) — война между габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии и т.д.) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания и т.д.). Окончилась Вестфальским миром 1648 г. Главной ареной Тридцатилетней войны оказалась Германия.

¹¹⁰ Речь, произнесенная Т. Манном в Нью-Йорке по радио 9 марта 1940 г. на английском языке. Немецкий текст не сохранился. Перевод выполнен с обратного перевода на немецкий по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XIII, стр. 492—494.

¹¹¹ United Jewish Appeal (Объединенный еврейский призыв) — главный финансовый орган Всемирной сионистской организации и Еврейского агентства. Создан в 1920 г. Финансировал деятельность, связанную с репатриацией евреев в Эрец-Исраэль и ее заселением.

¹¹² Ароза — городок в Швейцарии, где Т. Манн жил в феврале — марте 1933 г.

¹¹³ Томас Манн считает, что своей политикой невмешательства в дела Испании — отказом снабжать республиканские войска оружием — Америка способствовала победе франкистов.

¹¹⁴ Имеются в виду практиковавшиеся членами

эсэсовского союза "Лебенсборн" ("Источник жизни") встречи с незамужними девушками в специальных домах с целью "умножения арийской расы". Члены союза брали на себя обязательство зачать не менее четырех "чистокровных арийцев". После рождения ребенка все документы о родителях уничтожались, а младенца усыновляла "арийская семья".

¹¹⁵ Очевидно, подразумевается культурное наследие Гёте, "веймарского мудреца".

¹¹⁶ "Сила через радость" — под этим лозунгом нацистское правительство в пропагандистских целях организовывало различные спортивные мероприятия, народные университеты, поездки на пароходах по сниженным ценам и т.п., симулируя наличие "социальной справедливости". Истинная цель "силы через радость" — ограничение личной свободы, пропаганда расовой исключительности.

¹¹⁷ По предложению британского радио Т. Манн с октября 1940 г. по май 1945 г. выступил около шестидесяти раз по радио с обращениями к немцам в Германии, начинавшимися словами: "Немецкие слушатели!". Поначалу он передавал текст по телеграфу в Лондон. Первые 25 речей были опубликованы в издательстве "Берман—Фишер" в Стокгольме в 1942 г. В предисловии к этому изданию Т. Манн писал: "Их слушают больше людей, чем можно было ожидать, не только в Швейцарии, но и в Голландии, в чешском "протекторате" и в самой Германии. Несомненно, и в этой стране есть люди, чей голод и жажда услышать свободное слово столь велики, что они пренебрегают опасностью, связанной со слушанием вражеских передач". Со временем техника передач изменилась: голос Т. Манна записывался в Лос-Анджелесе на пленку, звукозапись передавали в Лондон, откуда она шла в эфир. Некоторые тексты этих его речей разбрасывались в виде листовок над Германией. Гонорар за выступления Т. Манн передавал в фонд борьбы

с Гитлером. Он первым в 1942 г. заговорил об уничтожении немцами евреев, в то время как официальные учреждения об этом молчали. В 1944 г. в Лондоне вышло второе издание речей "Немецкие слушатели!", а в 1945 г. в Стокгольме, в издательстве "Берман—Фишер", — третье. В 1941—42 гг. отрывки из этих выступлений по радио появились в советской печати по-русски в журнале "Интернациональная литература".

Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XIII, стр. 1025—1027.

¹¹⁸ ...*настоящего зигфридова оружия...* — Т. Манн иронизирует; герой "Песни о Нибелунгах" Зигфрид — благородный рыцарь, поразивший мечом дракона.

¹¹⁹ Перевод выполнен по: Т. Манн. Письма. 1937—1947. Т. 2. Франкфурт-на-Майне, изд-во Фишера, 1963, стр. 300—302.

¹²⁰ ...*и мое диалектическое гусарство 1914 г. ...* — Т. Манн тогда приветствовал войну как поход "культуры" против пошлой цивилизации.

¹²¹ Т. Манн имеет в виду статью Г. Лукача "В поисках гражданина". По-немецки она была опубликована в издательстве "Ауфбау" (Восточный Берлин) в 1949 г.

¹²² "Фредерцианизм" — слово, образованное от имени прусского короля Фридриха II (1712—1786). В эссе "Фридрих и Большая коалиция" (1914 г.) Т. Манн дал высокую оценку его политике.

¹²³ В речи "О немецкой республике" (1922) Т. Манн высказал свое горячее одобрение республике.

¹²⁴ Статья написана по-английски 14 февраля 1944 г. для журнала "Argosy". Перевод выполнен по тексту обратного перевода на немецкий в издании: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1986, стр. 802—804. См. прим. к дневниковой записи от 14.2.1944. О публикации этой статьи сведений нет.

¹²⁵ Т. Манн написал статью "Упорный народ" к семидесятилетию Хаима Вейцмана. См. отрывок из этой статьи во втором разделе настоящего сборника.

¹²⁶ Речь идет о заметке, опубликованной в базельской газете "Национальцейтунг" 10 октября 1944 г. *Эльза Брукман* — жена владельца известного мюнхенского издательства.

¹²⁷ Статья "Конец" написана Т. Манном в феврале 1945 г. по-английски. По-немецки опубликована в цюрихском журнале "Ди Тат" в 1945 г.

¹²⁸ "Германия и немцы" — доклад, прочитанный Т. Манном в Калифорнийском университете в мае 1945 г. Впервые опубликован в журнале "Нейе Рундшау" в октябре 1945 г.

¹²⁹ New Deal (Новый курс) — реформы, проведенные Рузвельтом с целью преодолеть последствия экономического кризиса 1929—33 гг.

¹³⁰ ...*восстание против Наполеона...* — победа России в войне 1812 г. явилась началом освободительной войны против наполеоновского господства в Германии. В 1813 г. прусское правительство заключило мир с Россией.

¹³¹ ...*восстание 1525 г.* ... — Великая Крестьянская война против феодального господства.

¹³² ...*революция 1848 г.* ... — в марте 1848 г. в баррикадных боях немецкий народ одержал победу над правительственными войсками, однако в ноябре 1849 г. в Берлине силы контрреволюции захватили власть в результате компромисса буржуазии с дворянством.

¹³³ ...*революция 1918 г.* ... — 9 ноября 1918 г. в Германии в результате восстаний, распространившихся по всей стране, кайзер был низложен. В декабре 1918 г. съезд рабочих и солдатских депутатов постановил избрать Национальное собрание. На выборах в Национальное собрание представители революционных рабочих потерпели поражение. В августе 1919 г. была принята Веймарская консти-

туция, провозгласившая республику. Президентом Веймарской республики был избран социал-демократ Фридрих Эберт.

¹³⁴ Франкфуртский парламент — общегерманский представительный орган, возникший в период революции 1848—1849 гг. Члены этого парламента ратовали за насильственное удержание в составе германской империи славянских и итальянских областей.

¹³⁵ Оригинал письма не сохранился. Перевод выполнен с обратного перевода с английского по изданию: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Стокгольм, изд-во С. Фишера, 1986, стр. 824—826. См. прим. к дневниковой записи от 4.8.1945.

¹³⁶ В Нюрнберге проходили ежегодные съезды нацистской партии.

¹³⁷ Т. Манн подразумевает подписанное 18 июня 1935 г. англо-германское морское соглашение, по которому Германия имела право в пять раз усилить свой военно-морской флот, строить подводный флот и т. д.

¹³⁸ Имеется в виду доклад "Страдания и величие Рихарда Вагнера", написанный Т. Манном в связи с пятидесятилетием со дня смерти композитора. С чтением этого доклада Т. Манн выехал в феврале 1933 г. за границу. Из этой поездки он в Германию не вернулся. Друзья предупредили его, что после пожара рейхстага 27 февраля его безопасность не гарантирована. "Я в списках тех, кто виновен в "пацифистских эксцессах", "духовном предательстве"... Впрочем, спрашиваешь себя, найдется ли для таких, как я, еще место в Германии, смогу ли я дышать тем воздухом. Я слишком хороший немец, слишком тесно связан с традициями культуры и языком своей страны, чтобы мысль о многолетнем или постоянном, до самой смерти изгнании не имела бы для меня важного, рокового значения" (из письма Лавинии Мацукетти от 13 марта 1933 г.).

В апреле 1933 г. газета "Мюнхнер Нейсте На-

хрихтен” опубликовала “Открытое письмо-протест города Рихарда Вагнера — Мюнхена — против умаляющей заслуги композитора оценки Вагнера, в музыкальных драмах которого выражены глубочайшие чувства немецкого народа”. Это “письмо-протест”, направленный против Т. Манна, подписали 48 деятелей культуры Мюнхена, в том числе Рихард Штраус. Оно передавалось по радио.

10 сентября 1933 г. в интервью газете “Нью-Йорк Таймс” Т. Манн сказал: “Да, пусть немецкий народ угнетен, но это не основание самому стать при первой возможности угнетателем [...]. В этом причина, почему я решил навсегда покинуть Германию, ибо для того, кто всегда считал, что справедливость, терпимость и свобода — самое драгоценное достояние мира, сегодняшняя Германия непереносима”.

¹³⁹ Байрейт — город в Баварии, где в 1876 г. премьерой оперы “Кольцо Нибелунгов” был открыт на средства почитателей Вагнера “Дом торжественных представлений”. Там проходили (и проходят по сей день) ежегодные музыкальные фестивали. В нацистское время там ставились главным образом циклы вагнеровских опер. Творчество Вагнера активно пропагандировалось в нацистской Германии.

¹⁴⁰ Многие знаменитые дирижеры, в их числе директор Берлинской оперы Вильгельм Фуртвенглер (1886—1954), сотрудничали с нацистами; Герберт фон Караян (1908—1989) даже дирижировал в нацистской форме. Швейцарская “Национальцейтунг” 14 октября 1945 г. писала о тех, “кто при Гитлере помогал рассеивать дым крематориев Майданека и Освенцима прелестью менуэтов Моцарта и вальсов Штрауса и надеялся при этом, что миллионы людей, живущие за границами коричневого террора, не услышат криков других миллионов, невинно убиваемых нацистскими палачами”.

¹⁴¹ Криг по-немецки “война”. Эрнст Крикк (1882—1947) — профессор Педагогической акаде-

мии. С 1932 г. в своих лекциях и выступлениях пропагандировал нацистскую теорию воспитания молодежи.

¹⁴² Имеется в виду роман "Лотта в Веймаре".

¹⁴³ "Но я стыжусь часов покоя, стыжусь, что с вами не страдал" — цитата из "Пробуждения Эпименида" Гёте.

В "Послании немецкому народу", опубликованном в июле 1949 г. в мюнхенском журнале "Хойте", Т. Манн писал: "Речь 'Германия и немцы', в особенности же роман 'Доктор Фаустус' должны убедить всех понимающих, что сердце мое осталось в Германии и что я страдал ее судьбой [...]. И как американский гражданин я остался немецким писателем, верным немецкому языку, который я считаю своей настоящей родиной".

¹⁴⁴ Т. Манн имеет в виду свой роман "Доктор Фаустус".

¹⁴⁵ Статья написана 23 февраля 1945 г. В собрание сочинений Т. Манна не вошла. Находится в архиве писателя. Нюрнбергский процесс — процесс над главными нацистскими преступниками — проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1986, стр. 832. См. прим. к дневниковой записи от 23.11.1945.

¹⁴⁶ Послесловие к американской радиопьесе "Кровь моего брата" (авторство установить не удалось) написано 16 декабря 1945 г.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1986, стр. 834—835. См. прим. к дневниковой записи от 16.12.1945.

¹⁴⁷ Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1986, стр. 835—838. См. прим. к дневниковой записи от 26.1.1946.

¹⁴⁸ Выступление перед студентами Цюриха 10

мая 1947 г. Опубликовано в журнале "Цюрхер Штудент", № 3, 1947 г.

Перевод выполнен по: Т.Манн. Собр. соч. на нем. яз., изд-во С.Фишера, Франкфурт-на-Майне, т. X, стр. 578—580.

¹⁴⁹ В декабре 1933 г. Ганс Блунк предложил Т.Манну вступить в Имперскую палату по делам печати. Т.Манн категорически отказался: "Я ни в коем случае не подпишу заявление о вступлении в эту организацию, которая создана под нажимом властей".

II

”УПОРНЫЙ НАРОД”

О РЕШЕНИИ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА¹

Вопреки гипотезе господина Адольфа Бартеляса* — я не еврей, хотя великий германский поэт и историк литературы считает это "весьма вероятным"; у меня есть примесь — не еврейской, а только романской крови². Тем не менее, я не имею ни права, ни охоты проповедовать какой-либо шовинизм и хотя я вообще-то не очень богато наделен непоколебимо твердыми убеждениями, однако я убежденный и непоколебимый "филосемит" и несокрушимо верю, что такой исход, о котором мечтают сионисты бескомпромиссного толка, означал бы, пожалуй, самое большое несчастье, которое могло бы постичь нашу Европу. Оспаривать еще сегодня необходимость этого незаменимого в Европе культурного стимула — имя ему еврейство, — да к тому же в Германии, которая в нем так остро нуждается, дискутировать об этом, придавая дискуссии недоброжелательный, враждебный смысл, я считаю такой бесцеремонностью и безвкусицей, что не чувствую себя подходящим для роли ее участника и не собираюсь в нее вступить.

Да простят писателю, если он в еврейском вопросе усматривает прежде всего лично-человеческий конфликт, чисто психологическую проблему, а именно, одну из тех, которые вызывают у него жгучий интерес.

Считаемый повсюду чужаком, с пафосом своей

исключительности в сердце, еврей являет собой одну из необычных форм существования, отличающуюся в более высоком или в более одиозном смысле от общепринятых норм. Она сохранилась внутри бюргерской жизни вопреки всему гуманно-демократическому нивелированию. Это в душевном отношении решающее. Все контрасты и сложности еврейского характера — вольнодумство и склонность к революции с одной стороны и извращенный снобизм с другой — жажда "ассимилироваться" в среде "таких, как все" и гордость человека обособленного, стойкое чувство общности с себе подобными и индивидуализм отщепенца, дерзость и неуверенность, цинизм и сентиментальность, резкость и меланхолия и мало ли что еще — результат его исключительности; и не в последнюю очередь его часто проявляющееся, раздражающее превосходство при конкуренции профессий, которые для него открыты [...].

Везде, где имеет место конкуренция, в преимущественном, а не в неблагоприятном положении по отношению к корректному, а потому инертному большинству находятся те люди, у которых есть более, чем у большинства, поводов добиваться особых успехов.

Ваши вопросы, господин доктор, Вы направили не только общественным деятелям и политикам, но и писателям и художникам и не должны поэтому удивляться, что на них отвечают Вам иногда *en artiste* /как художник — *фр.*/.

Художник, согласно свойственной ему природе, не может очень честно желать гуманного уравнивания конфликтов и сокращения дистанции, существующей при расхождении мнений; он будет склонен видеть своих братьев во всех тех, о которых народ считает нужным подчеркивать, что они "в конце концов тоже" люди. Во имя этого родства он будет любить их и желать всем им гордости, любви к своей судьбе. Если же Вы уговариваете

меня высказаться по существу дела, то я готов сказать еще следующее: я думаю, что "еврейский вопрос" *не будет* решен, ни немедленно, ни каким-нибудь волшебным словом, называется ли оно ассимиляцией, сионизмом или как-нибудь иначе. он разрешится сам собой — будет меняться, развиваться, ослабляться и в один прекрасный день, в наших краях не обязательно далекий, просто перестанет существовать. Помощь в решении еврейских дел видится мне неразрывно связанной с общим прогрессом культуры, и если этот вопрос в России является нам в гораздо более страшном и кровавом облике³, чем у нас, то мне кажется, это объясняется просто тем, что Россия вообще гораздо ближе к варварству, чем наша западная половина Европы.

Если Вы спрашиваете, какому из существующих предложений о решении еврейской проблемы или помощи в еврейских делах я отдаю предпочтение, то я назову "ассимиляцию", правда, также и в другом, более общем смысле. А именно, я считаю, что дело не столько в *национализации* (растворении в разных нациях), сколько прежде всего в *европеизации* еврейства, что равнозначно облагораживанию, достижению более высокого положения в обществе расы, несомненно выродившейся и обнищавшей в условиях гетто, в возвращении к возвышенному и облагороженному типу еврея: это лишит его всего, что отталкивает цивилизованного европейца, и к этому следует в первую очередь стремиться. Если сегодня с этим обстоит еще очень плохо, если сегодня гетто еще смотрит на нас из глаз еврея, сгибает его шею, жестикулирует его руками и глубоко сидит в его душе, то в этом нет ничего удивительного, ибо очевидная ошибка — постоянно указывать на "две тысячи лет диаспоры" и отсюда делать вывод о недостатке у евреев способности к приспособлению. Две тысячи лет позорной замкнутости ни при чем. *Возможность* европеизации существует не

более ста лет — время, может быть, достаточное, чтобы стать немцем в Германской империи, но недостаточное, чтобы стать европейцем. Нет решительно никакой необходимости в том, чтобы у еврея сохранился жирный затылок, кривые ноги и красные жестикулирующие руки, чтобы он выглядел существом горестным и одновременно беззастенчивым и подтверждал представление о нем как о чем-то чужеродном и нечистоплотном. Напротив, тип такого еврея — чужого, физически антипатичного "чандала" /в Индии представитель самого низкого класса — *пер.*/, по существу стал весьма редким. Среди экономически процветающего еврейства есть уже молодые люди, с детства приученные к английскому спорту, выросшие в условиях во всех отношениях благоприятных, такие стройные, элегантные и привлекательные, что каждой милой немецкой девушке или каждому юноше должна показаться вполне приемлемой мысль о "смешанном браке". В действительности увеличение числа смешанных браков будет зависеть от облагораживания и европеизации еврейского типа, а что касается крещения, то не стоит недооценивать его практической важности. Якоб Фромер* — он является собой блестящий пример развития от хасидского типа, обитателя гетто до европейца — прав, — будем на это надеяться, — когда говорит, что у нас нигде не существует ортодоксального еврейства, строго соблюдающего все предписания религии, а значит, он также прав, советуя образованному еврею вывести с помощью крещения хотя бы своих детей из замкнутой общности, к которой они духовно уже не принадлежат, и ввести их в большее сообщество. Цивилизованные Европы, устранение феодальных предрассудков, — над этим трудятся с таким усердием и умом, — должно сыграть здесь свою роль, а это равнозначно постоянному политическому, гражданскому, общественному, *личному* возвышению евреев, тому, что

они займут более высокое положение. Сегодня уже можно быть дворянином и тем не менее современным человеком, и скоро уже не покажется невозможным быть евреем и все же душой и телом благородным человеком. Равенства, которого нельзя достичь за три поколения, однажды все же можно будет достичь [...].

Возвращаясь к сказанному: еврейский вопрос — это вопрос общего развития культуры. Мы не решим его, не сможем ответить на него, если будем рассматривать его как отдельный вопрос. Мы работаем над его разрешением, служа, каждый по-своему, цивилизации.

О ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ⁴

[...] Самые ранние воспоминания о встречавшихся мне евреях — они были мне симпатичны. Мои школьные товарищи... я был с ними в наилучших отношениях, предпочитал именно их общество, инстинктивно, не задумываясь над этим. В четвертом классе рядом со мной сидел одно время мальчик Карлебах, сынок раввина, маленький, живой, правда, не всегда чистый; мне нравились его большие, умные черные глаза и волосы его казались мне красивее, чем у нас, других. К тому же его звали Эфраим⁵, имя, овеянное поэзией пустыни, так мне представлялось после урока библейской истории, который ему, особенному среди нас, посещать не разрешалось, а может быть, он сам себя от них освободил. "Эфраим" звучало для меня интереснее, звонче, чем Ганс или Юрген. Но чего я не могу забыть, так это невероятную ловкость, с которой маленький Эфраим умел подсказывать мне, читая в книге, которую держал открытой за спиной сидевшего перед ним.

И другое воспоминание из детства: я постоянно держался мальчика по фамилии Фехер, венгерского

еврея, на редкость некрасивого, с приплюснутым носом и рано пробивавшимся темным пушком над верхней губой⁶. У его отца была маленькая портняжная мастерская в районе гавани и так как наш дом был недалеко, то я часто возвращался домой с Францем Фехером; он рассказывал мне по дороге на своем чуждо звучащем для моего уха диалекте — он казался мне интереснее, чем наш прозаический северонемецкий — о цирках в Венгрии, не таких, как цирк Шумана, который недавно давал у нас представления, а о совсем маленьких, странствующих наподобие цыган цирках, где в конце представления все участники, люди и животные, приветствуя публику, выстраивались в пирамиду. Это было забавно, уверяю вас. Кроме того, Фехер изъявил готовность выполнять мои маленькие поручения по части покупок, с которыми я не знал, как справиться, и всего за тридцать врученных ему пфеннигов купил в маленькой лавочке для матросов настоящий перочинный ножик, правда, простой, с одним лезвием, первый, который у меня появился. Однако самым привлекательным для меня было то, что у Фехеров дома устраивались спектакли, самые настоящие; родители и дети и друзья детей, очевидно, тоже "израэлиты", были заняты репетициями "Вольного стрелка"⁷, который они собирались ставить как драматический спектакль; так как я видел оперу, то мечтал участвовать в этом необычном увеселении в роли ловчего; во-первых, потому, что главные роли были уже распределены, а во-вторых, потому, что мне ужасно хотелось стоять так, как хористы в городском театре, с ружьем, держа вытянутую руку на дуле. Правда, охотники-статисты должны были появиться на сцене в обычном платье — старик Фехер смогшить костюмы только для исполнителей главных ролей; но это меня не смущало, лишь бы получить ружье и опираться на него вытянутой рукой... Я забыл или так и не узнал, состоялся ли спектакль,

во всяком случае я в нем не участвовал, при всем моем желании,— робость господского сыночка, социальные предрассудки помешали мне приходить в дом еврейского портного...

Позднее, в пятом классе, у нас был ученик, с которым я на глазах у всех сердечно подружился, — сын еврея-резника, самый веселый парень на свете, без всякого налета меланхоличности, которой наделила этот народ история и которая ясно чувствовалась и у Карлебаха и у Фехера и, наверно, неосознанно привлекала меня, — самый веселый парень, доверчивый, приветливый, беззлобный, к тому же стройный, худощавый, только губы были у него полные и сияющие морщинки в уголках миндалевидных глаз, когда он улыбался. Его образ остался в моей памяти, потому что я впервые встретил всем довольного еврея; потом я часто встречал таких. Я даже склонен думать, что сегодня удовлетворенность и веселость как главная черта характера встречается среди евреев чаще, чем среди исконных европейцев, — завидная способность наслаждаться жизнью, свойственная этой расе, вознаграждающая их за постоянные ущемления, которым они подвергаются. Учитель математики, уже дряхлый старик, упорно называл моего веселого друга "ученик Лисауэр", хотя у него была совсем другая фамилия — Гослар. Никогда не забуду его сияющую снисходительную улыбку, с которой он спокойно разрешал старику-христианину два раза в неделю называть его Лисауэром. "Если у ученика Лисауэра есть ответ, — крихтел старик, — пусть скажет нам". И с быстротой, невероятной для моей туго соображающей головы, Гослар тотчас же сообщал ответ. Первоклассный математик, он считал быстрее и точнее всех, кого я знал. При таком направлении ума, столь соответствующем ясности и веселости его характера, он отнюдь не был обойден пониманием и других, менее точных, духовных предметов,

занятий более мечтательных и несистематичных, таких как сочинение стихов, которому я предавался. Он с интересом слушал и высказывал умное и беспристрастное, хотя не без иронии суждение о плодах моего вдохновения. Я вполне ему доверял и по секрету читал свои высокопарные неуклюжие баллады; одна из них начиналась строкой: "Глубоко в мрачной темнице Рима". [...]

Ример*, упоминая о том, как относятся евреи к творчеству Гёте, пишет: "Образованные среди них, как правило, проявляют больше доброжелательного внимания и более постоянны в своем почитании его, чем многие люди его веры. Их острая восприимчивость, их быстрый ум, свойственное только им остроумие делают их более чуткой публикой, чем, к сожалению, зачастую несколько медлительный и тяжеловесный ум исконных немцев".

Тысячу раз прошу извинить меня, но это в точности совпадает с моим опытом; можно ли найти более или менее крупного писателя и художника, который не был бы со мной согласен? Я не забываю, что в жизни встречается и нечто противоположное. За годы моей жизни между мной, моей натурой и еврейской возникали жестокие конфликты, и, пожалуй, это естественно. Мы часто портили друг другу кровь. Самые злобные характеристики моих произведений принадлежали евреям; самое остроумно-ядовитое отрицание моего писательского существования шло с той стороны [...]. И тем не менее остается верным то, о чем писал Ример, это подтверждается в мелочах и в крупном, также и в моем случае. Евреи меня "открыли", евреи меня издавали и пропагандировали, они поставили мою невозможную пьесу⁸; еврей, бедный Люблинский* обещал моим "Будденброкам", которые вначале были приняты с кислой миной, в одном лево-либеральном журнале: "Эта книга будет расти вместе со временем, ее будут читать и будущие поколения".

И когда я езжу по свету, бываю в разных городах, не только в Вене и Берлине, то именно евреи, почти все без исключения, принимают меня, оказывают гостеприимство, кормят и балуют. Разве я могу это изменить?

И далее, я спрашиваю себя: доброжелательное внимание — не более, чем ничего не значащая любезность? Не означает ли оно нечто гораздо более существенное, не является ли истинной гарантией моей ценности? Считается, что то, что в Германии нравится только исконным немцам, евреи с пренебрежением отвергают, они признают только своих, они в первую очередь хвалят и поддерживают только то, что им близко. Однако это отнюдь не так. Керр* никогда не будет любить и восхвалять Штернгейма* так, как он любит и восхваляет Гауптмана, и национальный пьедестал, на котором сегодня стоит Гауптман, воздвигнут евреями. Поэтому нет более глупого заблуждения, чем считать, что то, что нравится евреям, должно быть еврейским, как то упорно утверждает поборник народности, профессор Бартельс.

[...] Сказанным выше я намекаю на трудное среднее положение между немецким духом и европейским интеллектуализмом, которое я осознал во время войны как свою судьбу [...].

Также в моем отношении к еврейству с давних пор было нечто авантюристически-мирское: я видел в нем живописный факт, подходящий, чтобы внести в мир больше красочности. Если это звучит по-эстетски безответственно, то смею добавить, что я видел в нем также и этический символ, один из тех символов необычности и возвышенных трудностей, которые я как художник часто искал. Понимание еврейства как факта артистически-романтического, сходного с немецким духом, уже с ранней поры было в моем вкусе, и менее всего были мне приятны те из евреев, искусники по части утаивания этого факта, кто уже в том, что кто-то не оставляет

без внимания такой яркий феномен как еврейство и не отрицает его существования в мире, видят антисемитизм.

Сердце мое отдано молодежи, которая сегодня решительно ищет немецкое, не считая истиной ни "Рим", ни "Москву"; но если правда, что мюнхенские студенты сорвали лекцию великого ученого, "нового Ньютона", как его назвала либеральная Англия⁹, потому что этот человек, во-первых, еврей, а во-вторых, живет в сферах высочайшей и чистейшей абстракции и с пацифистских позиций ратует за уравнивание народов, то это отвратительный позор, и я желаю, как сказано у старого Клаудиса, "не быть в этом виновным".

Народ, который страдает от несправедливости¹⁰, должен быть в глубине души особенно приверженным справедливости. Но в антисемитских выступлениях и в обвинениях в адрес евреев нет и следа справедливости. Кто в годы войны бойчее всех наживался, как не крепкий крестьянин? Разве это гнусное использование конъюнктуры, предательская спекуляция и яростное обогащение были и есть преимущественное право инородцев? Устыдимся! Кто возьмется определить время, с какого начались беды мира, кто берется сказать, когда мы шагнули в тупик, в темном конце которого двигаемся ощупью и громко стенаем? Религиозный раскол Европы, революция, демократия, национализм, интернационализм, милитаризм, паровая машина, индустрия, прогресс, капитализм, социализм, материализм, империализм — евреи были только попутчиками, совиновниками, жертвами, как и другие... Нет, часто они были руководителями благодаря дарованным им способностям, благодаря, в частности, тому обстоятельству, что они должны были всегда и безусловно считать новое благом, ибо новое, революция принесла им свободу. История козла отпущения — древняя мудрая история, которую немцы должны принять к сведению. Когда

в мир приносят грех и во что бы то ни стало хотят опять послать в далекую пустыню кого-то другого, то это отнюдь не основание для гордости [...].

ЭРИКЕ МАНН

Мюнхен, 23.12.1926

[...] Я рад, что снова пишу. Только тогда чувствуешь удовлетворение и знаешь кое-что о себе, когда что-то делаешь. Время, когда не пишешь, — ужасно. "Иосиф" подвигается страница за страницей¹, хотя пока я закладываю своего рода эссеистический или юмористический — псевдонаучный фундамент, и это забавляет меня, ибо такое занятие доставляет мне большее удовольствие, чем когда-либо что-либо другое. Это нечто новое, а также духовно примечательное: значить и существовать, миф и действительность у этих людей постоянно переходят одно в другое, и Иосиф — своего рода авантюрист из мифа [...].

ЭРНСТУ БЕРТРАМУ

Мюнхен, 28.12.26

[...] Генеалогия сказаний пришла как нельзя кстати и очень ценна. Я уже много чего в ней искал и нашел. Она еще раз подтверждает мне, что Иосиф — это тифоническая форма² Таммуза — Озириса — Адониса — Диониса, из чего, однако, вовсе не следует, что он не жил на самом деле. В жизнь Иисуса тоже привнесли задним числом все наличное культурно-религиозное добро, и его жизнь тоже кажется всего лишь солнечным мифом. Я, наверно, поступлю правильно, сделав Иосифа таким мифическим авантюристом, который рано начинает "отождествлять" себя, находя в этом поддержку у своего окружения, которое в общем не

очень склонно различать между бытием и значением. Для того, чтобы спорить об этом различии, "созрели" только через 3000 лет. Что меня привлекает и что я хотел бы выразить — это обретаемая сиюминутность, превращение его в не связанное ни с каким временем таинство, способность человека относиться к самому себе как к мифу. Но сделать это нужно легко, юмористически-рассудочно; на пафос и религиозную горячность я не пойду. Впрочем, то, что я покамест пишу, — это лишь некое псевдонаучное обоснование данной истории; начал я вряд ли правильно, хотя об Иосифе все время уже идет речь. Настоящий и тайный мой текст есть в Библии, в самом конце истории. Это благословение, которое оставляет Иосифу умирающий Иаков: *"От Всемогущего благословен ты благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу"*¹³. Чтобы решиться на произведение, в материале которого должна быть точка, при прикосновении к которой душа твоя непременно наполняется радостью: вот она, эта продуктивная точка... [...]

(Печатается по: Т. Манн. Письма. М., "Наука". 1975, стр. 43. Перевод С. Анта.)

ИНТЕРВЬЮ ПОЛЬСКОЙ ГАЗЕТЕ "ЦИОНИСТИШЕ ВЕЛЬТ"¹⁴

Известный немецкий писатель Томас Манн, который недавно был гостем варшавского отделения ПЕН-клуба¹⁵, заявил редактору органа центрального комитета сионистской организации Польши, газеты "Ционистише Вельт":

Некоторое время тому назад ко мне обратились члены Немецкого Палестинского комитета¹⁶ с просьбой подписать воззвание этого комитета. Я охотно выполнил их просьбу, но был очень удивлен,

когда прочел вскоре после этого во "Франкфуртер Цейтунг" и в "Берлинер Тагеблатт" статьи против сионизма, написанные евреями из либеральных кругов¹⁷. Я впервые узнал, что сами евреи так резко выступают против сионизма. Мне совершенно непонятно, как могут евреи выступать против еврейских национальных идеалов.

Я вижу в сионизме важный исторический процесс национального возрождения одного из древнейших и культурнейших народов мира. Палестина, которая по праву считается колыбелью современного человечества, должна превратиться в еврейский национальный дом, — чтобы еврейский народ мог жить свободно и беспрепятственно создавать для себя и для всего мира великие культурные и человеческие ценности. Я вижу в сионизме культурный фактор большого гуманистического значения. В мире существуют две господствующие тенденции: стремление к универсальному и к национальному. Евреи до сих пор много сделали для универсализма, и пришло время, чтобы они занялись также своим собственным национализмом, ибо только через национализм, через свои собственные национальные формы еврейский гений сможет лучше всего служить универсализму. Мировая культура — мозаика, в которой каждый народ должен иметь свою собственную краску.

Сионизм имеет большое значение для человечества также и вследствие своей ярко выраженной пацифистской природы. Сионисты хотят создать еврейскому народу дом только силой своих идеалов, силой своей великой веры в общечеловеческую справедливость и своим собственным самоотверженным трудом. Если народ достигнет мирными средствами того, что сегодня удается достичь другим народам лишь насильем и кровопролитием, тогда это будет прекрасным, утешительным примером для человечества.

Культурный мир должен поддержать сиони-

стские устремления. Интеллигенция всего мира, писатели и поэты должны заявить о своей симпатии к сионизму. Сионизм заслуживает поддержки такой организации, как международное объединение писателей ПЕН-клуб.

Я слежу за всем, что делают евреи в Палестине, с большим вниманием. Особенно интересует меня Еврейский университет в Иерусалиме¹⁸. К сожалению, должно быть сделано еще многое, чтобы создать из него то, чем он должен стать для Востока и Запада, а именно, должна быть создана духовная атмосфера, в которой сольются обе культуры — древняя обновленная культура Востока и новая культура Запада.

Я интересуюсь теперь Палестиной также и потому, что готовлю произведение, в основе которого легенда о Иосифе и его братьях. Разрешите мне в заключение выразить мое желание: пусть эта страна с таким богатым прошлым как можно скорее превратится в страну богатой современности и обеспеченного будущего.

ЯКОБУ ГОРОВИЦУ*

Мюнхен, 11.6.1927

Высокопочтимый господин раввин,
сердечно благодарю Вас за любезность и внимание. Я читаю Вашу книгу¹⁹ с особенным, жгучим интересом, с которым в моем положении воспринимается все, что относится "к делу", и вижу в ней в высшей степени желанное и важное дополнение к научному материалу, который я сумел привлечь до сих пор для нозеллистического оформления милой мне прекрасной древней истории. Ваши исследования продвигают меня в работе, и я часто буду использовать их. Правда, удастся ли мне преодолеть себя и сломать, как Вы сами пишете, вошедшее в плоть и кровь и стократно укреплен-

ное произведениями изобразительного искусства представление, что братья сами продали юношу и посылают отцу вымаранную кровью одежду, чтобы он подумал, будто Иосифа растерзал хищный зверь, но сами знают правду, — в этом я сомневаюсь. Я всегда считал, что "мидианиты" — то же самое, что "исмаильтяне"²⁰, и всегда думал, что "исмаильтяне" — лишь обозначение племени: группа состоит из сынов Исмаила, то есть наполовину египтян. Что касается "украли", то можно предположить, что Иосифа подлым образом увели от любящего старика, и, кроме того, я действительно склоняюсь к тому, чтобы видеть вместе со слишком, правда, одержимым мифологией Иеремиасом*, в слове "украден" мотив, связанный с преисподней; я вообще не совсем понимаю последовательную настойчивость, с которой Вы пытаетесь отвергнуть всякую возможность подобного влияния на рассказ и представить его *вне всякой связи с литературой*. Принимаем мы такой ход событий в рассказе как исторический или как легендарный — во всяком случае форма, в которой он предстает перед нами, является поздней редакцией, автор которой следовал древней восточной традиции, и, если бы он и украсил ее всяческими намеками на мифы и преобразил господствовавшие в древности идеи в нечто таинственное, это не должно было бы удивлять. Интерес к истории религии в значительной степени определяет мое желание и удовольствие заниматься этой историей, побуждает меня охотно верить этому, но я давно решил, что называется, повернуть острие штыка в другую сторону и заставить действующих лиц самих намекать на это. Мальчик из Аммуру²¹, знакомый с вавилонско-египетской мифологией, знает, конечно, о Гильгамеше, Озирисе, Таммузе²² и подражает им. Можно допустить глубоко зашедшее и своеобразно авантюристическое отождествление своего "я" с "я" этих героев. Возрождение мифа

в новом обличье, мифа, который в значительной степени не связан со временем, есть главная черта психологии, которую я склонен приписывать всему этому миру. Вы будете качать головой, но в моей голове это выглядит очень привлекательным и, надеюсь, на пути к бумаге не слишком потеряет в своей привлекательности.

Желание развить перед Вами полностью мои намерения завело бы меня слишком далеко, но могу ли я в дальнейшем, высокочтимый господин раввин, рассчитывать на благосклонное участие в моем причудливом предприятии такого опытного и знающего человека, как Вы? Могу ли я обратиться к Вам с вопросами, если застряну из-за незнания каких-то реалий? [...]

Также неопровержимо, что Иосиф в Египте носил другое имя или свое, но в до неузнаваемости египтизированной форме, ибо и без того потребуется много вуалирующего факты хитроумия, чтобы у читателя не возникло протестующего недоумения по поводу того обстоятельства, что старый Иаков в Хевроне ничего не узнает о жизни и славном восхождении своего сына там, на юге. Это должно каким-то образом оказаться желанием Иосифа, иначе, при тех средствах связи, даже если перенести эту историю в более раннее время, чем делаю я, относя ее к Новому царству²³, в эпоху, когда азиаты в Египте вновь стали весьма почитаемыми, это совершенно немыслимо. Иосиф должен был всего лишь написать в Хеврон. То, что он этого не сделал, требует мотивировки, это будет уже мое дело. [...] Моя история начинается весной, в марте, а продажу Иосифа я переношу на май. О каких древневосточных названиях месяцев может идти речь? У Эрмана Ранке²⁴ приводятся многие египетские названия месяцев, но создается впечатление, что авторам самим неясно их значение, то есть соотношение с нашими названиями. [...]

Вот у Вас и целый ворох моих вопросов. Не-

сомненно, я вспомню еще, если Вы не покажете, что досадуете на меня. Это все настолько чужая, далекая и затруднительная область для того, кто всегда привык находиться в сфере житейского, что потребность, пользуясь поддержкой ученого, укрепить почву под ногами, кажется понятной. На сегодня еще раз сердечно благодарю Вас за интерес к моей работе и прошу извинить за безмерную длину этого послания, оно — выражение увлеченности моей задачей.

Преданный Вам Томас Манн.

ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ "ПАЛЕСТИНСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ"²⁵

Обстоятельства, при которых мне удалось побеседовать со знаменитым немецким романистом — он отдыхает в Немецком госпитале в Иерусалиме после кишечной инфекции, — подтверждают старую поговорку: чем более велик человек, тем он доступнее.

Томас Манн сердечно принял меня, попросил сесть и, чтобы дать мне время побороть смущение, начал рассказывать о своей поездке. Как только он замечал, что я хочу что-то сказать, он останавливался и превращался в терпеливого и благожелательного слушателя.

— Да, моя жена заболела еще в Каире, а я с кишечным заражением добрался до Иерусалима и тоже вынужден был провести две недели в постели. Но завтра, когда жена приедет сюда, мы отправимся в Хайфу, а оттуда до Триеста. Триест — это уже почти дома.

— Остановитесь ли Вы в еврейских поселениях в Эмеке?²⁶ — спросил я.

— Я уже был в Тель-Авиве и заезжал в один из киббуцов возле Иерусалима. Как он называется? Кажется, что-то связанное с виноградом?

— Кирьят-Анавим?

— Да, именно так. Киббуц произвел на меня сильное впечатление, но особенно мне понравился Тель-Авив. Мне показалось, что евреи там совершенно другие, чем в Европе и вообще где-либо в мире. Они выглядят свободнее и, я бы сказал, счастливее. Да, мне показалось, что эти люди действительно счастливы. И город, так сказочно расцветающий среди желтых дюн. Я действительно думаю, что у Тель-Авива есть будущее. Живой, чуткий город, и в нем так сильно чувствуется интеллектуальная атмосфера.

Он повторил, желая придать особое значение своим словам: "Я действительно верю, что у Тель-Авива есть будущее".

— И вообще, прогресс, который я здесь вижу, великолепен. Работа евреев заслуживает самой высокой оценки, но им не следует лезть на рожон, они должны быть более осмотрительны, проявлять больше такта. В конце концов, араб живет здесь более тысячи лет, и у него есть исторические связи и права на эту землю. Однако еврей пришел не как завоеватель. Он пришел, чтобы найти себя. Освободить свою душу, если позволено так сказать.

— Вы думаете, что арабы и евреи смогут вместе работать и жить?

— Ну, конечно. Я не вижу причины, почему они не должны жить в полной дружбе. Сионизм, правда, принес с собой большие трудности в этом отношении, и горячность и недостаток терпения у евреев их увеличивают.

— Вы должны учесть, — вставил я, — что в голове у евреев сложилось готовое представление об их будущем и им трудно быть терпимыми к тем, кто чинит препятствия в его осуществлении.

— Конечно, я это понимаю; именно эта мечта об осуществлении, об утверждении себя, своей культуры, своих идеалов, которые еврейский народ видит в сионизме, вызывает мои к нему симпатии.

— Значит, Вы решительно за сионизм?

— Совершенно определенно. Я уже высказал свою точку зрения в немецкой прессе, и, к моему удивлению, это вызвало нападки на меня со стороны некоторых еврейских журналов. Конечно, они боятся, что, если выскажутся за сионизм, их обвинят в недостатке патриотизма. Я сравниваю сионизм, некоторые его цели и идеалы с немецким романтизмом, воодушевлявшим немцев в девятнадцатом веке.

Мы вернулись к беседе о поселениях в долине Эмек. Я посоветовал господину Манну посетить их — они представляют собой самое большое достижение сионизма в Палестине. Я рассказал ему о разных типах поселений, господин Манн был весьма заинтересован. Он обещал по пути в Хайфу туда заехать.

— Цель моей поездки — познакомиться с местами, где происходит действие романа, над которым я работаю. Я потратил некоторое время в Египте для сбора материала и с этим же намерением езжу по Палестине. Роман основан на Библии, это история Иакова и Иосифа.

Я упомянул, что "Огель"²⁷, рабочий театр Палестины, поставил интересный спектакль об Иакове и Рахили; готовя его, актеры прожили некоторое время с бедуинами.

— Очень жаль, — сказал господин Манн, — что я не смог увидеть этой пьесы. Я был в "Габиме"²⁸, — продолжал он, — и ее спектакли мне очень понравились.

Мы вернулись к проблеме сионизма, и господин Манн рассказал, что провел многие часы в разговорах с доктором Магнесом*.

— Я нахожу, что это честный, прямой и твердо придерживающийся своих убеждений человек.

Я согласился с господином Манном, но заметил, что, очевидно, именно из-за твердости своих убеждений д-р Магнес считает правым только себя, как

видно из его памфлета²⁹, а всех прочих он обвиняет в безнадежной неправоте.

Пожимая мне руку на прощанье, господин Манн повторил: "Вы можете считать меня решительным сторонником духовного сионизма".

ТОМАС МАНН О ПЕРСПЕКТИВАХ СИОНИЗМА³⁰

Что касается внутренних и внешних трудностей сионизма, то возрастающий радикализм еврейской молодежи кажется мне своего рода панической реакцией. С тех пор, как начались арабские нападения на еврейские поселения в прошлом году и была запрещена иммиграция, молодежь видит, как понемногу исчезают надежды на облегчение испытываемых евреями трудностей — поскольку не будет широкого притока репатриантов. Этот страх порождает стремление к национальному утверждению; оно походит на условия, сложившиеся в Германии. Вообще я уже часто отмечал большое сходство между евреями и немцами. Оба народа политически незрелы, оба романтичны и материалистичны одновременно.

Несмотря на все, я расцениваю перспективы сионизма на будущее *положительно*. Я рассматриваю успех этого эксперимента как культурную необходимость для обеих частей — евреев и неевреев.

Б. ФУЧИКУ*

Мюнхен, 15.4.1932

[...] Новая работа, которая занимает меня уже несколько лет и потребует еще значительного времени — библейско-мифологический роман "Иосиф и его братья". Никогда раньше не подумал бы, что предмет историко-религиозный и даже теоло-

гический может вызвать у меня такой интерес. Эта склонность — результат возраста, так мне кажется, и я отдаюсь ей с готовностью, которой заслуживает все, что органически приносит с собой жизнь... [письмо не окончено].

ЖИВАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ³¹

Друзья — евреи в Палестине и Америке — знают, что я своими глазами видел родину их народа и что интересуюсь всем, что касается духовной и художественной жизни, и они просили меня при помощи замечательного изобретения — радио — обратиться через океан и настоятельнейшим образом призвать еврейских граждан Америки и всех американцев, которые чувствуют свою духовную связь со Святой землей, такую же, как у меня, нееврея, самым энергичным образом содействовать делу еврейского народа в Палестине. Такая поддержка нужна, ибо и эта большая и важная инициатива нуждается в поддержке в нынешние кризисные времена.

Когда я в прошлом году посетил Палестину, я видел еврейские поселения на севере страны и в Иудее и познакомился с президентом Еврейского университета, д-ром Иехудой Магнесом. Он любезно показал мне это высшее учебное заведение, научные учреждения которого произвели на меня самое прекрасное впечатление. Я видел также молодой город Тель-Авив на берегу Средиземного моря, основанный только евреями, где еврейство живет, как нигде в другом месте, счастливо осознавая свое национальное существование; и хотя я ступил на эту землю с известным скепсисом касательно идей сионизма, на меня тем не менее произвели глубочайшее впечатление достижения тех, кто вернулся на свою историческую родину, чтобы своим еврей-

ским предпринимательским духом превратить ее в цветущую страну.

Было бы ошибочным недоразумением полагать, что сионизм требует массового возвращения еврейского народа на землю, овеянную национальной традицией. Такое требование противоречило бы здравому смыслу, ибо большинство евреев слишком укоренено в западной цивилизации и культуре тех стран, где они проживают, чтобы легко оторваться от них и суметь прижиться в стране своих праотцев. Но в целом эта идея волнующа — идея возрождения древней страны из запустения и разрухи, страны, которая играла такую громадную роль в истории человечества, начиная с заселения ее халдеями и до смерти на кресте того еврея, что подарил Западу свою веру. Для еврея, даже если он не соглашается отказаться от своей современной западной формы существования, национальная основа, которую предоставляет ему сионистское возрождение Палестины, должна быть благословением, должна укреплять и развивать его самосознание.

Тот, кто видел эту страну, знает, что это не романтическая мечта, а живая человеческая реальность. Эксперимент возрождения языка иврит превзошел все ожидания; и молодые люди, которые говорят на иврите, как французы по-французски и англосаксы по-английски, — сильное, деятельное, прекрасное поколение, и, как сам собой разумеющийся факт, они чувствуют себя дома и на земле, которую обрабатывают, и в университетских клиниках, где приобретают знания.

Об университете в Иерусалиме следует отозваться с самой большой похвалой; он проникнут деятельным научным духом, который соединяет в себе научные исследования во многих областях и познание иудаизма.

Пусть мои слова — это мое страстное желание — способствуют тому, чтобы вы почувствовали

симпатию к этой стране и готовность помочь задаче евреев и, в особенности, оказали поддержку Еврейскому университету.

ЮЛИУСУ БАБУ

Кюснахт-Цюрих, 25.3.34

Дорогой господин Баб,

сердечное спасибо за Ваше письмо от 20. Я особенно рад тому, что и этот второй том увлек Вас³². Он идет поначалу несколько тяжело, но зато потом в нем, как и мне кажется, много любопытного и занимательного. Кстати, его никак в общем-то нельзя считать вполне самостоятельным томом. Позднее он должен составить одно целое с первым, и весь роман будет двухтомным³³.

Ваш вопрос насчет Лии, конечно, вполне оправдан. Первой обратила мое внимание на этот пробел, производящий впечатление забывчивости, и потребовала, чтобы я заполнил его, моя жена. Последовать ее совету помешала мне какая-то смесь безразличия и убежденности. Молчание относительно Лии основано в сущности на некоем художественном намерении; она просто-напросто должна быть забыта. Если же этого не происходит, как в случае с Вами, и возникает вопрос насчет нее, то я, конечно, обязан ответить. У меня было такое чувство, что после того как эта "неправедная" сыграла свою роль полностью и было к тому же упомянуто, что она "с красными своими глазами, отвергнутая, всегда сидела в шатре", повествование может умалчивать о ней и не касаться ее дальнейшей, уже не имеющей значения судьбы. Сообщать о ее смерти просто не было, чисто повествовательски, никакого интереса, и если читатель воспринимает это как недостаток, то я должен принять этот упрек и могу выдвинуть лишь тот довод, что холодный отчет о смерти Лии показался бы на фоне отчета о

кончине Рахили, может быть, более бессердечным, чем полное молчание. [...]

*(Печатается по: Т. Манн. Письма.
М., "Наука", 1975, стр. 63.
Перевод С. Анта.)*

ИЗ ДНЕВНИКОВ

15.7.34

[...] Думал о нелепости того, что евреи, которых в Германии лишают прав и изгоняют из страны, принимают большое участие в событиях духовной жизни, находящих свое выражение, в известной мере, — разумеется, очень искаженно, — в политической системе; можно считать, что евреи в значительной степени подготовили антилиберальный поворот: не только принадлежащие к кругу Георге*, такие, как Вольфскель*, который, если бы его допустили, очень хорошо прижился бы в сегодняшней Германии. А Гольдберг* явно принадлежит господствующему духу времени своей книгой "Действительность евреев": антигуманистическая, антиуниверсалистская, националистическая, в религиозных выражениях восхваляющая технику, — Давид и Соломон для него либеральные вырожденцы. Внутреннее отношение этого писателя к новому государству должно представлять для него большую трудность: теоретически ему следует приветствовать то, что его топчут ногами. Вообще я думаю, что многие евреи в самой глубине души согласны со своей новой ролью терпимых гостей, которые, кроме, конечно, налогов, ни в чем не принимают участия [...].

ТОМАС МАНН И ЕВРЕЙСТВО³⁴

[...] Известный писатель Томас Манн любезно

согласился сказать несколько слов для "Зельбствер" о своей позиции по отношению к еврейству. Он рад, подчеркнул писатель, что имеет возможность обратиться к нашим читателям и высказать свое мнение именно нашему журналу, так как принимает близко к сердцу судьбу немецких евреев и глубоко им сочувствует. Несправедливости, которым они подвергаются, — это и его боль. Конечно, — сказал писатель, — среди моих врагов есть и евреи, и они, может быть, выступают против меня резче, чем другие мои противники. Но разве это о чем-либо говорит? Именно евреям, особенно в начале моей писательской работы, я благодарен за признание и тем самым за поддержку моего творчества. Антисемитизм — самая глупая позиция, какую может занимать разумный человек. Антисемитизм — это позор для каждого образованного и культурного человека. Ведь невозможно отрицать и объявить несуществующим тот факт, что евреи, а потом греки составляют духовную основу западно-европейской цивилизации. Чем является христианство, как не духовным плодом иудаизма? Иудаизм с точки зрения цивилизации — культурная основа бытия, ибо он защищает позитивные ценности.

То, что именно мне как писателю еврейство в высшей степени симпатично, должен понять каждый, ибо благодаря религиозной основе евреи испытывают глубокий интерес и тяготение ко всему духовному. Отношение евреев к литературе не может не подкупать каждого пишущего. Я хотел бы в этой связи сказать, что подобную любовь к поэтическому можно найти только у французов, для которых это искусство считается почти национальным.

Не так давно писатель побывал в Палестине³⁵. По его словам, он ехал с намерением смотреть страну "с перспективой в прошлое". Однако пионерская деятельность молодых евреев произвела на него неизгладимое впечатление и привела в вос-

торг. "Я чувствовал, что нахожусь среди народа, мысли и чувства которого воодушевлены национальной идеей, народа, который с небывалым мужеством оторвался от цивилизации, чтобы начать с самого начала и создать себе мир, где мечты и идеалы должны стать действительностью. Когда я видел этих молодых евреев, свободных, полных осознанной решимости выполнить национальную задачу, этих спортивных, мускулистых юношей, восхищался их напором, то чувствовал, что страна будет построена так, как они того хотят, и что у этой страны есть будущее. Я был также в некоторых киббуцах. Храбрость и деятельный, а потому истинный идеализм потрясли меня. Новый народ, который сохранил свою духовность и тем не менее умеет работать руками, строит себе новую жизнь. Эта жизнь укоренена в земле и устремлена в будущее, и потому — это прочная жизнь".

ЭРИХУ фон КАЛЕРУ

Кюснахт близ Цюриха, 19.3.1935

[...]Вашу рукопись³⁶ я прочел еще позавчера и тронут до глубины души. Ваша книга намного превосходит все самое достойное и глубокое, что попадалось мне на глаза по этой проблеме; читая, испытываешь чувство, что именно Вы, в котором соединяется сущность еврейства и немецкий дух Георге, призваны с полным правом говорить обо всем этом. Под "всем этим" я понимаю не только немецко-еврейский вопрос, но и саму еврейскую проблему. Большая глава о немецком духе и еврействе — несомненно, самое истинное и познанное душой, что когда-либо было высказано по этому поводу — это говорю я, немец с заокеанско-латинской кровью, которому со временем стало все противнее жить среди немцев и который не может до конца простить Вам известного великодушного

приукрашивания в оценке немецкого духа. [...]

Ближе всего были мне те места Вашей книги, где Вы говорите про своего рода трагическую веселость, про "напрасное знание" о необходимом разочаровании в "огромной вере". Мучительность симбиоза древней крови, изначального ироничного хитроумия и веры грубой плотской души объяснены в нескольких строчках поистине поэтическим образом. [...]

ПОЧЕМУ ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ НЕ НАДО ОТЧАИВАТЬСЯ³⁷

[...] Мое личное отношение к еврейству определяется тем фактом, что в течение всей моей жизни у меня были среди евреев самые лучшие друзья и самые злые враги, поэтому я предпочитаю не давать определения этому народу — хорош он или плох. Евреи слишком разные, чтобы я мог назвать себя филосемитом³⁸. Но немецкий антисемитизм — продукт и инструмент расистского мифа для черни — мне отвратителен; я презираю его до глубины души. Антисемитизм — это псевдоаристократизм маленьких, очень маленьких людей: "Я хоть и никто, но я не еврей". К этому сводится его сущность. Не "либералистская" космополитическая филантропия, а самое обыкновенное религиозное чувство никогда не позволяло мне делать хоть малейшие уступки этому отвратительному явлению.

Мы все из одной и той же материальной и духовной субстанции. Оспаривать право на жизнь одной части всемирного человечества, к тому же той, которая внесла такой большой вклад в основы нашей западной цивилизации, как еврейская, — значит забыть Бога. Кроме того, это смешно, потому что дело идет не о праве на жизнь, а о жизненной силе, а этого евреям не занимать...

Они, говорит Гёте, самый упорный народ на земле, они есть, они были, и они будут, чтобы прославлять имя Иеговы во все времена...

Я убежден, что еврейской энергии в земных делах предназначена значительная часть в строительстве и становлении нового социального мира. Ум, опыт страданий этого древнего народа, его духовность и упорство — гарантия того, что его сломать нельзя. Евреи пережили многие бури, и можно не беспокоиться — они переживут также и несправедливости, перед которыми склоняют головы сегодня.

ИЗ СТАТЬИ "ПАМЯТИ МАКСА ЛИБЕРМАНА"³⁹

[...] Умирающему старому кавалеру, одному из самых больших художников, каких породила Германия, нынешние господа страны послали бумажонку, в которой ему запрещается "всякая художественная деятельность". Это не самый гнусный поступок, но тем не менее из таких, которые не следует забывать. История искусств и человечества сохранит в памяти на долгие времена этот акт ядовитой жестокости. Выставка высокого искусства Либермана, которую должны были открыть в Берлине, не была разрешена и в конце концов она состоялась в Еврейском музее, где была показана только часть его картин.

ГЕНРИХУ РОТМУНДУ*

*Гранд-отель Нордвик, Ван-Зее (Голландия),
28.7.1939*

[...] Не первый раз, многоуважаемый господин доктор Ротмунд, я обращаюсь к Вашим гуманным чувствам с просьбой оказать помощь моему сооте-

чественнику... речь идет о заслуженном писателе, Альберте Эренштейне*, еврее, конечно, с чешским паспортом. С 1932 года он живет в Бриссаго в одной и той же квартире, со времени, когда еще не существовало Третьей империи. Теперь же, в результате чешской катастрофы⁴⁰, ему грозит высылка из Швейцарии. Он мог бы получить французскую визу, если бы швейцарская сторона разрешила ему пребывание в стране еще на полгода с правом вновь туда въехать. Я думаю, Швейцария не повредит себе, продлив право на пребывание этому уже, можно сказать, старожилу. Такой уступкой она дала бы ему возможность выехать во Францию; за длительное время жизни в Швейцарии проситель проявил себя безукоризненным, политически незапятнанным жителем этой страны. Я ценю Эренштейна как способного поэта и тонкого эссеиста. Беспросветная беда столь многих не миновала и этого человека. Я испытал бы удовлетворение от мысли, что моя просьба, может быть, поможет ему избежать катастрофы, которую означает для него высылка из страны. [...]

ЗИГФРИДУ ГУГГЕНГЕЙМУ*

Лос-Анджелес—Брентвуд, 31.8.40

[...] Я чрезвычайно обрадовался и продолжаю радоваться драгоценному изданию "Оффенбахской агады"⁴¹. Она будет украшением библиотеки, которая собралась у меня за эти семь лет, после того, как я лишился своей мюнхенской. Именно сейчас, когда я начал писать заключительный том истории Иосифа, эта книга мне особенно дорога и ценна. Примите мою искреннюю благодарность за этот прекрасный подарок, он имеет непосредственное отношение к кругу моих интересов.

ДЖЕЙМСУ ЛАФЛИНУ*

Принстон, 4.11.1940

[...] Известие, что Ваше издательство собирается выпустить на английском языке роман Кафки* об Америке, доставило мне большую радость и удовлетворение. Убедительным свидетельством идеализма американских издателей и их чувства ответственности служит тот факт, что почти одновременно выходят два главных произведения вопиюще непопулярного писателя — Кнопф* переиздает "Замок", а Вы — детски-гениальную фантастическую картину Нового Света⁴².

Для меня произведения, написанные этим богемским евреем за его короткую страдальческую жизнь, давно принадлежат к самым захватывающим явлениям в области художественной прозы. Действительно, их невозможно ни с чем сравнивать. Запутанное и удручающе Комическое этих подражающих снам произведений с их религиозными обертонами, их смешением гротескного и самой глубокой нравственной серьезности должно показаться вначале читающей публике, привыкшей к более легкому развлечению, пожалуй, странным и недоступным пониманию. Но авторитет Кафки как художника в Европе уже очень высок и признан духовной элитой всех стран. Швейцарский писатель Герман Гессе назвал его "тайным королем немецкой прозы". В поздних произведениях Жюльена Грина*, например в "Minuit" / "Полночь" — *фр.* /, явно ощущается его влияние. Я слышал, что такой автор, как Олдос Хаксли* отзывался о книгах Кафки с восхищением. Американской элите — я говорю о литературном вкусе — и тем, кто движим любопытством к явлениям высшего порядка, он, конечно, уже не неизвестная величина. Они будут первыми благодарны Вам за то, что Вы дерзнули издать его книгу об Америке. Но со временем найдется больше любителей необычно-

венного, и если мои поздравления Вам с заслугой перед культурой — публикацией Кафки — смогут увеличить число тех, кто захочет познакомиться с его неповторимым искусством, я приношу их с особенным удовольствием. [...]

ЭМИЛЮ БЕРНГАРДУ КОНУ*

Пасифик Пэлисейдз, 21.1.1942

[...] Особенное полемическое удовольствие всегда доставляло мне сопоставление немецкой судьбы с еврейской. Немцами восхищаются и их ненавидят по причинам, очень похожим на те, по каким восхищаются и ненавидят евреев, и немецкий антисемитизм основан, конечно, в значительной степени на родственности ситуаций. То, что высказывают, рассматривая феномен еврейства в общих чертах, в применении к среднему еврею выглядит сомнительно и даже смешно. Но тем не менее и средний человек всегда причастен к величию и поэтической примечательности общего явления; я всегда находил, что в самом маленьком еврейском литераторе присутствует нечто от духа пророков. [...]

”ИОСИФ И ЕГО БРАТЬЯ”⁴³

Меня часто спрашивают, почему я, собственно говоря, решил обратиться к этому ни на что не похожему, далекому от современности сюжету и что меня побудило построить на основе библейской легенды об Иосифе Египетском эпически обстоятельный, монументальный цикл романов, которому я отдал так много лет труда. Задающие этот вопрос вряд ли будут удовлетворены, если, отвечая на него, я остановлюсь на внешней, так сказать, анекдотической стороне дела и расскажу о том, как однажды вечером, в Мюнхене, — с

того времени прошло целых пятнадцать лет, — меня почему-то потянуло раскрыть мою старую фамильную Библию, чтобы перечитать в ней эту легенду. Достаточно сказать, что я был восхищен и сразу же начал нащупывать пути и взвешивать возможности, — а нельзя ли преподнести эту захватывающую историю совершенно по-иному, рассказать ее заново, воспользовавшись для этого средствами современной литературы, *всеми* средствами, которыми она располагает, — начиная с арсенала идей и кончая техническими приемами повествования? Экспериментируя в уме, я почти с самого начала связывал мои поиски с известной традицией: мне вспомнился Гёте и то место в его мемуарах "Поэзия и правда", где он рассказывает, как однажды, еще в детстве, он развил историю об Иосифе в пространную импровизированную повесть, которую он продиктовал одному из своих товарищей, но вскоре предал сожжению, так как, на взгляд самого автора, она была еще слишком "бессодержательной". Поясняя, почему он взялся за эту явно преждевременную для подростка задачу, шестидесятилетний Гёте говорит: "Как много свежести в этом безыскусственном рассказе; только он кажется чересчур коротким, и появляется искушение изложить его подробнее, дорисовав все детали".

Удивительно! Отдавшись моим мечтаниям, я тотчас же вспомнил об этой фразе из "Поэзии и правды": я знал ее наизусть, мне не надо было ее перечитывать. Она и в самом деле как будто создана для того, чтобы служить эпиграфом к произведению, которое я тогда задумал, — ведь она дает самое простое и самое убедительное объяснение мотивов, побудивших меня взяться за эту задачу. Искушение, которому наивно поддался юный Гёте, вознамерившись изложить "во всех подробностях" скупую, как репортаж, легенду из Книги Бытия, — это искушение суждено было испытать

и мне, но ко мне оно пришло в том возрасте, когда я мог надеяться, что, разрабатывая сюжет, я сумею извлечь из него и нечто нужное людям, какое-то внутреннее содержание. Но что значит разработать до мелочей изложенное вкратце? Это значит точно описать, претворить в плоть и кровь, придвинуть поближе нечто очень далекое и смутное, так что создается впечатление, будто теперь все это можно видеть воочию и потрогать руками, будто ты наконец раз и навсегда узнал всю правду о том, о чем так долго имел лишь очень приблизительные представления. Я до сих пор помню, как меня позабавили и каким лестным комплиментом мне показались слова моей мюнхенской машинистки, с которыми эта простая женщина вручила мне перепечатанную рукопись "Истории об Иакове", первого романа из цикла об Иосифе. "Ну вот, теперь хоть знаешь, как все было на самом деле!" — сказала она. Это была трогательная фраза, — ведь на самом деле ничего этого не было. Точность и конкретность деталей являются здесь лишь обманчивой иллюзией, игрой, созданной искусством, видимостью; здесь пущены в ход все средства языка, психологизации, драматизации действия и даже приемы исторического комментирования, чтобы добиться впечатления реальности и достоверности происходящего, но, несмотря на вполне серьезный подход к героям и их страстям, подоплекой всего этого кажущегося правдоподобия является юмор. Юмором пронизаны, в частности, те места книги, где проглядывают элементы анализирующей эссеистики, комментирования, литературной критики, научности, которые, точно так же, как и элементы эпоса и наглядно-драматического изображения событий, служат средством для того, чтобы добиться ощущения реальности, так что справедливый для всех других случаев афоризм "Изображай, художник, слов не трать!" на этот раз оказывается неприменимым. Здесь перед

нами встает эстетическая проблема, которая часто занимала меня. Поясняющая и анализирующая авторская речь, прямое вмешательство писателя отнюдь не всегда противопоказаны искусству, — все это может быть элементом искусства, самостоятельным художественным приемом. Книга высказывает эту истину как нечто уже известное и руководствуется ею, комментируя даже самый комментарий. Книга комментирует и самое себя, — она говорит, что эта легенда, пережившая на своем веку столько разных переложений и преломлений, на этот раз преломляется в особой среде, где она как бы обретает самосознание и по ходу действия поясняет самое себя. Пояснения входят здесь "в правила игры", они представляют собой по сути дела не авторскую речь, а язык самой книги, в сферу которого они включены, это речь косвенная, стилизованная и шутливая, способствующая мнимой достоверности, очень близкая к пародии или, во всяком случае, иронизирующая, ибо применять научные методы к материалу совсем не научному, сказочному — значит заведомо иронизировать над ним.

Вполне возможно, что эти тайные соблазны играли для меня известную роль уже в то время, когда замысел произведения был еще в самом зародыше. Однако это отнюдь не ответ на вопрос о том, почему я остановился в своем выборе на столь архаичном материале. Выбор этот определялся целым рядом обстоятельств, как личных, так и более общих, касавшихся всех, кто жил в то время, причем на обстоятельствах личных тоже лежал отпечаток времени, они были связаны с прожитыми годами, с достижением известного жизненного этапа. *The readiness is all* /Самое важное — это готовность — *англ.*/⁴⁴.

По всей вероятности, я находился тогда, — как человек и как художник, — в состоянии какой-то внутренней *готовности*, был предрасположен

к тому, чтобы воспринять такого рода тему как нечто созвучное моим творческим интересам, и мне не случайно захотелось почитать Библию. У каждой жизненной поры есть свои склонности, свои притязания и вкусы, а может быть, и свои особые способности и преимущества. По-видимому, существует какая-то закономерность в том, что в известном возрасте начинаешь постепенно терять вкус ко всему чисто индивидуальному и частному, к отдельным конкретным случаям, к бургерскому, то есть житейскому и повседневному в самом широком смысле слова. Вместо этого на передний план выходит интерес к типичному, вечно-человеческому, вечно повторяющемуся, вневременному, короче говоря — к области мифического. Ведь в типичном всегда есть очень много мифического, мифического в том смысле, что типичное, как и всякий миф, — это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы. Можно смело сказать, что та пора, когда эпический художник начинает смотреть на вещи с точки зрения типичного и мифического, составляет важный рубеж в его жизни, этот шаг одухотворяет его творческое самосознание, несет ему новые радости познания и созидания, которые, как я уже говорил, обычно являются уделом более позднего возраста: ибо если в жизни человечества мифическое представляет собой раннюю и примитивную ступень, то в жизни отдельного индивида это ступень поздняя и зрелая.

В моем изложении появилось слово "человечество". Речь шла о вневременных категориях типичного и мифического, и в этой связи оно всплыло само собой. Моя внутренняя готовность воспринять материал вроде легенды об Иосифе как нечто созвучное моим творческим интересам определя-

лась намечавшимся тогда переворотом в моих вкусах: отходом от всего бургерского, житейски-повседневного и обращением к мифическому. Но эта готовность определялась также и тем, что я был предрасположен чувствовать и мыслить в общечеловеческом плане, — я хочу сказать: чувствовать и мыслить как частичка человечества, — а эта предрасположенность была, в свою очередь, продуктом времени, — не только в смысле отмеренного лично мне срока, не только в смысле жизненной поры, в которую я вступил, но времени в более широком и общем смысле слова, продуктом *нашего* времени, эпохи исторических потрясений, причудливых поворотов личной жизни и страданий, поставивших перед нами вопрос о человеке, проблему гуманизма во всей ее широте и возложивших на нашу совесть столь тяжкое бремя, какого, наверно, не знало ни одно из прежних поколений. Книги вроде "Волшебной горы", которая была предшественницей "Иосифа" и представляла собой попытку пересмотреть всю совокупность проблем, волновавших Европу на заре нового века, уже можно считать порождением этой моральной обеспокоенности, криком смятенной и потрясенной совести. Психология сновидений отмечает любопытное явление: восприняв внешний толчок, вызывающий то или иное сновидение, например услышанный во сне звук выстрела, сознание спящего выворачивает причинно-следственную связь наизнанку и подыскивает обоснование этого толчка в долгом и запутанном сне, который кончается выстрелом (и пробуждением), тогда как на самом деле нервный шок был исходной точкой во всей мотивировке сна. Так и в романе о Волшебной горе: по внутренней хронологии произведения раскаты грянувшей в 1914 году военной грозы раздаются в конце книги, а в действительности они раздались в начале ее возникновения и были толчком, вызвавшим все ее мечтания и сны. То был сокрушающий, пробуждающий ото

сна, преобразующий мир удар грома, — он завершил целую эпоху — взрастившую нас бюргерскую эпоху, когда прекрасное могло еще представляться самоценным, и открыл нам глаза на то, что отныне мы не сможем жить и творить по-старому. И вовсе не Ганс Касторп, приятный молодой человек, плутоватый простачок, на которого обрушивается вся воспитующая диалектика жизни и смерти, болезни и здоровья, свободы и смирения, был героем этого романа о времени, — так кажется лишь с первого взгляда, подлинным же его героем был Homo Dei /человек Божий — лат./ — человек, с религиозным пылом ищущий самого себя, вопрошающий, откуда он пришел и куда идет, что он такое и в чем его назначение, где его место во вселенной, жаждущий проникнуть в тайну своего бытия, разгадать вечную, вновь и вновь встающую перед нами загадку: "Что есть человек?"

Но в этом свете и возрождение легенды об Иосифе в форме романа уже не покажется нам нарочито непривычным, расходящимся с общепринятым, уводящим от современности произведением, теперь мы увидим в нем произведение, внушенное той заинтересованностью в человеке, которая не замыкается в рамках индивидуального, а распространяется на общечеловеческое, — окрашенную юмором, смягченную в своем звучании иронией, я сказал бы даже: стесняющуюся заговорить во весь голос поэму о человечестве.

Разумеется, такая характеристика уже сама по себе говорит за то, что свойственная этой книге трактовка мифа по самой своей сокровенной сути отлична от небезызвестных современных приемов его использования, приемов человеконенавистнических и антигуманистических, — мы все хорошо знаем, как они называются на языке политики. Ведь слово "миф" пользуется в наши дни дурной славой, — достаточно вспомнить о заглавии, которым снабдил свой зловещий учебник присяжный

”философ” германского фашизма Розенберг, этот идейный наставник Гитлера⁴⁵. За последние десятилетия миф так часто служил мракобесам-контрреволюционерам средством для достижения их грязных целей, что такой мифологический роман, как ”Иосиф”, в первое время после своего выхода в свет не мог не вызвать подозрения, что его автор плывет вместе с другими в этом мутном потоке. Подозрение это вскоре рассеялось: приглядевшись к роману поближе, читатели обнаружили, что миф изменил в нем свои функции, причем настолько радикально, что до появления книги никто не считал бы это возможным. С ним произошло нечто вроде того, что происходит с захваченным в бою орудием, которое разворачивают и наводят на врага. В этой книге миф был выбит из рук фашизма, здесь он весь, — вплоть до мельчайшей клеточки языка, — пронизан идеями *гуманизма*, и если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа.

Начинать всегда невероятно трудно: сколько всяких подходов нужно перепробовать, сколько вложить труда, как долго надо свыкаться с предметом и вживаться в него, прежде чем почувствуешь, что ты им овладел, усвоил его язык и сам можешь говорить на нем. А тогдашний мой замысел был столь нов и непривычен, что на этот раз я особенно долго напоминал того кота из поговорки, который ходит, облизываясь, вокруг блюда с горячим молоком. Мне предстояло установить контакт с неведомым миром, миром мифическим, первозданным, а ”установление контакта” означает для художника весьма сложный и интимный процесс, — проникновение в материал, достигающее до растворения в нем, до самозабвенного отождествления себя с ним, — проникновение, из которого рождается то, что называют ”стилем” и что всегда представляет собой неповторимое и

полное слияние личности художника с изображаемым предметом.

Насколько авантюристичной казалась мне моя затея с мифологическим романом, видно уже из введения к "Историям об Иакове" — первому тому цикла об Иосифе, — которое является антропософским⁴⁶ прологом ко всей тетралогии и носит название "Нисхождение в ад"; это фантастическое эссе напоминает тщательную подготовку перед отправкой в рискованную экспедицию, — путешествие в глубины прошлого, к праmaterям всего сущего. Пролог занял шестьдесят четыре страницы; это могло бы мне внушить — да и действительно внушило — опасения относительно пропорционального объема всего произведения, особенно после того как я решил, что одним только жизнеописанием Иосифа здесь не обойдешься и что тема требует от меня, чтобы я включил в книгу, хотя бы в общих чертах, всю предысторию легенды, историю отцов и праотцев Иосифа вплоть до Авраама и далее в глубь времен вплоть до сотворения мира. "Истории об Иакове" заполнили целый толстый том; не придерживаясь естественной хронологии, то предвосхищая последующее, то возвращаясь к предыдущему, повествовал я о событиях его жизни и находил своеобразную прелесть в новизне общения с людьми, которые еще как следует не знали, кто они такие, или же судили о себе более скромно и смиренно, но зато глубже и вернее, чем современный индивид, с людьми, не опиравшимися на опыт себе подобных, не имевшими корней в прошлом, и в то же время бывшими его частицей, отождествлявшими себя с ним и шедшими по следам прошлого, которое вновь оживало в них. "Novarum rerum cupidus" / алчущий нового, бунтарь — лат./, — никто не оправдывает эту характеристику лучше, чем художник. Никому другому не может так наскучить все старое и избитое, как ему, и нет никого, кто так нетерпеливо стремится к новому, как он,

хотя в то же время он более, чем кто-либо другой, скован традициями. Смелость вопреки скованности, наполнение традиции волнующей новизной — вот в чем видит он свою цель и свою первейшую задачу, и мысль о том, что "этого еще никто и никогда не делал", неизменно служит двигателем всех его творческих усилий. Я никогда не смог бы ничего сделать, не смог бы даже взяться за какое-нибудь дело, если бы эта будоражащая мысль не сопутствовала моим начинаниям, а на этот раз ее благотворное присутствие казалось мне более ощутительным, чем когда-либо.

"Истории об Иакове" и последовавший за ними "Юный Иосиф" возникли от начала до конца еще в Германии. Работа над третьим томом, "Иосиф в Египте", совпала с тем временем, когда мой внешний жизненный уклад претерпел резкую ломку: я отправился тогда в путешествие, но не смог вернуться на родину и внезапно лишился всякой материальной опоры; остальную, большую часть романа мне суждено было дописать уже в изгнании. Моя старшая дочь, у которой хватило смелости заехать в Мюнхен еще раз, уже после переворота, и проникнуть в наш дом, — он был тем временем конфискован, — привезла мне рукопись на юг Франции⁴⁷, и там, оправившись от растерянности, охватившей меня на первых порах, когда все было мне внове и я чувствовал себя вырванным из родной почвы, я постепенно возобновил работу над романом, а продолжать и завершить ее мне пришлось на Цюрихском озере в Швейцарии, стране, которая целых пять лет гостеприимно предоставляла нам убежище.

Здесь-то передо мной и раскрылась высокая культура древнего царства на Ниле, чем-то полюбившаяся мне еще с отроческих лет и уже тогда довольно хорошо знакомая мне по книгам, так что я разбирался в этих вещах, пожалуй, лучше, чем наш гимназический законоучитель, который

однажды на уроке спросил нас, двенадцатилетних юнцов, как древние египтяне называли своего священного быка. Я рвался ответить на его вопрос, и он вызвал меня. "Хапи", — сказал я. По мнению учителя, это было неправильно. Он пожурил меня за то, что я вызываюсь отвечать, хотя ничего толком не знаю. "Не "Хапи", а "Апис", — сердито поправил он меня. Но "Апис" — это лишь латинский или греческий вариант подлинного египетского имени, которое я назвал. Люди из Кеме говорили "Хапи". Я разбирался в этом лучше, чем незадачливый учитель, но моя дисциплинированность не позволила мне разъяснить ему его ошибку. Я промолчал, — и всю свою жизнь не мог простить себе этой молчаливой капитуляции перед ложным авторитетом. Американский школьник уж наверно не дал бы заткнуть себе рот.

Работая над "Иосифом в Египте", я порой вспоминал об этом маленьком происшествии из моих отроческих лет. Произведение, которое я пишу, должно глубоко уходить корнями в мою жизнь, тайные связующие нити должны тянуться от него к мечтаниям самой ранней поры моего детства, — лишь тогда я смогу признать за собой внутреннее право на него, лишь тогда уверую в то, что мое желание заниматься им имеет свое законное основание. Хвататься за какой-либо материал произвольно, не обладая давним, освященным любовью и знанием предмета правом на него, значит, на мой взгляд, подходить к делу несерьезно и по-дилетантски.

Третья книга об Иосифе благодаря своему эротическому содержанию похожа на роман больше, чем все другие части произведения, которое, если брать его как целое, в силу обстоятельств превратилось в нечто довольно сильно расходящееся с общепринятыми представлениями о романе. Этот литературный жанр всегда был очень гибким и изменчивым. В наши же дни дело, кажется, идет

к тому, что скоро романом будет считаться все что угодно, но только не сам роман. Впрочем, может быть, это всегда так и было. Что касается "Иосифа в Египте", то читатель обнаружит, что его эротика и вообще все идущее от романа, несмотря на всю психологичность, тоже стилизованы здесь под миф; в частности, это относится к облеченной в сказочную форму сатире на сексуальные проблемы, скрытой в образах двух карликов: бесполого, приветливого, но никчемного, и Дуду — злобного, но исполненного мужского достоинства крошечного самца. Здесь юмористически изображается связь половой сферы с изначальным злом, — сцены, призванные сделать более правдоподобной "целомудренность" Иосифа, объяснить то заданное мне моим библейским первоисточником сопротивление, на которое наталкиваются желания его несчастной повелительницы⁴⁸.

Этот третий роман об Иосифе был написан в пору прощания с Германией; четвертый был создан в пору прощания с Европой. "Иосиф-кормилец", завершивший всю тетралогия, объем которой перевалил за 2000 страниц, возник от начала до конца под небом Америки, главным образом под ясным небосводом Калифорнии, который чем-то сродни египетским небесам.

И вот отверженный фаворит Потифара познал тяжкий труд раба в крепости на Ниле, комендант которой оказался добрым малым и так полюбился Иосифу, что впоследствии тот производит его в управляющие, делает его в качестве своего верного друга и советчика одним из действующих лиц драматической повести своей жизни. Вот Иосифу поручают прислуживать знатным придворным — кравчому и начальнику пекарни, которых в один прекрасный день заточают в крепость на время следствия над ними. Вот Иосиф толкует сны знатных узников и сам видит вещие сны, и настает день, когда его поспешно освобождают из тем-

ницы, и он предстает перед фараоном. К тому времени ему исполнилось тридцать лет, а фараону — семнадцать. Этот глубоко одухотворенный и нежный отрок, богоискатель, как и отец Иосифа, влюбленный в мечтательную религию любви, взшел на трон, пока Иосиф томился в заточении. Он один из тех, кто предвосхищает будущее, христианин, родившийся до христианства, мифический прообраз человека, который "хоть и стоит на правильном пути, да только не ему дано тот путь пройти". Далее следует целая серия глав с многочисленными сюжетными ответвлениями, на протяжении которой Иосиф завоевывает полное доверие юного властителя и наконец принимает из рук фараона символизирующий власть перстень.

Теперь он стал министром, отдает известные из Библии дальновидные распоряжения, чтобы предотвратить голод, и вступает в продиктованный интересами государства брак с юной Аснат, дочерью жреца Солнца. Но тут повествование покидает пределы Египта, возвращается на место действия первого и второго тома, в землю Ханаанскую⁴⁹, затем в него вклинивается самостоятельная, внутренне замкнутая новелла, и с ней в роман приходит его самый примечательный женский образ, который является для него тем, чем была прелестная Рахиль для первой, страдальца Мутеменет — для третьей книги. Это Фамарь, сноха Иуды, страстная натура, женский прототип людей решительных и честолюбивых; сделавшись жрицей, эта язычница и дочь Ваала не гнушается ни одним средством для достижения своей цели: стать благовестницей и одной из прародительниц Мессии.

Но вот голод наступил; перед нами разворачивается цепь драматических событий, которые так хорошо знакомы каждому, ибо все они взяты прямо из той шкатулки, где хранятся воспоминания детства, и для того чтобы держать читателя в напряжении, теперь остается только одно: самым

тщательным образом выписывать каждую деталь, чтобы он увидел воочию, как было дело и почему все случилось именно так. Появление братьев Иосифа, его свидание с Вениамином, которого уже осенила догадка, серебряный кубок, подложенный в мешок с пшеницей, и как наделенный даром песен отрок поет под звуки лютни старцу Иакову, что сын его Иосиф жив и царствует в стране египетской, — обо всем этом рассказано в мельчайших подробностях, так что читатель узнаёт (и, наверное, моя мюнхенская машинистка тоже когда-нибудь узнаёт), как все это "произошло на самом деле". Роман доведен до тех скорбно-величавых эпизодов библейской легенды, где повествуется о кончине Иакова, отца героя, в стране Гошен, и Великое Шествие его соотечественников, несущих в родные края набальзамированное тело патриарха, чтобы дать ему вкусить вечный покой в двойной пещере рядом с прахом его отцов, завершает всю эпопею, которая была спутницей моей жизни на протяжении пятнадцати бурных, полных событиями лет.

Многие склонны были видеть в "Иосифе и его братьях" роман о евреях или даже всего лишь роман для евреев. Да, обращение к материалу из Ветхого завета, конечно, не было случайностью. Мой выбор, несомненно, стоял в скрытой связи с современностью, полемизировал с ней, шел наперекор известным тенденциям, внушавшим мне глубочайшее отвращение и особенно непозволительным для немцев: я имею в виду бредовые идеи расового превосходства, которые являются главной составной частью созданного на потребу черни фашистского мифа. Написать роман о духовном мире иудейства было задачей весьма своевременной, — именно потому, что она казалась несвоевременной. Верно и то, что в изложении событий мой роман придерживается Книги Бытия, с неизменно шуточной серьезностью стараясь оставаться верным этому первоисточнику, и многие его места

весьма напоминают толкование и комментарий Пятикнижия Моисеева, написанный каким-нибудь ученым раввином мидраш. Но тем не менее все "еврейское" составляет в романе лишь его передний план, точно так же, как древнееврейская интонация повествования является лишь передним планом, лишь одним из равноправных элементов стиля, лишь *одним* из слоев его языка, в котором так странно смешаны архаичное и современное, эпическое и аналитическое. В последнем, четвертом томе есть стихотворение — та самая пророческая песнь, которую сладкогласный отрок поет перед престарелым Иаковом и в которой столь причудливо переплетаются рифмованные реминисценции псалмов и строки с поэтической интонацией немецкого романтизма. Этот пример характеризует одну из главных особенностей всего романа — произведения, которое пытается объединить в себе очень многое и заимствует свои мотивы, рассыпанные в нем намеки, смысловые отзвуки и параллели, а также и самое звучание своего языка из самых разных сфер, ибо он ощущает и представляет себе все человеческое как нечто единое. Подобно тому, как сфера иудейских преданий и легенд повсюду покоится на подведенных под нее опорах в виде элементов других, взятых безотносительно ко времени мифологий, так что они видны сквозь эту прозрачную среду, — так и образ главного героя романа, Иосифа, прозрачен и обманчиво изменяет свои черты в зависимости от освещения; в нем есть — и это отнюдь не случайно — нечто от Адониса и Таммуза, но затем он явственно оборачивается Гермесом и начинает играть роль по-светски ловкого посредника в делах, мудро пекущегося о выгоде, — роль, отведенную Гермесу в сонме богов⁵⁰, а во время его долгой и важной беседы с фараоном все мифологии мира — еврейская, вавилонская, египетская, греческая — сплетаются в такой пестрый клубок, что читатель, полагавший до сих пор,

что он держит в руках книгу библейских легенд о народе Иудеи, теперь уже вряд ли вспомнит об этом.

Есть признак, позволяющий определить природу того или иного произведения, установить, в какую категорию оно стремится попасть, узнать его мнение о самом себе; этот признак — книги, которые его автор особенно охотно читает во время работы над ним, так как ощущает пользу от их чтения, причем, говоря о книгах и чтении, я подразумеваю не источники нужных автору сведений о предмете, не изучение материалов, а произведения мировой литературы, в которых он видит старших сородичей своих собственных планов и замыслов, высокие образцы, созерцание которых поддерживает в нем творческий дух и которым он стремится подражать. Все, что не может сослужить ему эту службу, не может пригодиться, не относится к делу, — устраняется из соображений умственной гигиены: сейчас все это не показано, а значит, подлежит запрету. В годы работы над "Иосифом" в круг такого подкрепляющего чтения входили две книги: "Тристрам Шенди" Лоренса Стерна и "Фауст" Гёте. Видеть их по соседству несколько странно, но каждое из этих столь разнородных произведений имело в качестве стимулирующего средства свою особую функцию, причем мне было приятно вспоминать о том, что Гёте ставил Стерна очень высоко и однажды назвал его "одним из самых блистательных умов", которые знает человечество. Разумеется, чтение Стерна шло на пользу прежде всего юмористической стороне "Иосифа". Удивительная изобретательность Стерна по части юмористических оборотов, его щедрая выдумка, безукоризненное владение техникой комического — вот что влекло меня к нему; ведь все это было нужно и мне, чтобы оживить мой роман. А гётевский "Фауст", этот гигант, выросший из хрупкого

лирического ростка и ставший делом жизни его творца и монументальным языковым памятником, этот потрясающе дерзкий эксперимент скрещивания волшебной оперы с трагедией о человечестве, пьесы для кукольного театра с поэмой о вселенной! Вновь и вновь возвращался я к этому неиссякаемому кладезю языка, особенно ко второй его части, к эпизодам с Еленой, к классической Вальпургиевой ночи; и эта одержимость, это ненасытное восхищение проливали свет на тайную нескромность моих собственных помыслов, невольно выдавали, на что направлены честолюбивые стремления эпопеи об Иосифе, — ее собственные честолюбивые стремления, ибо на первых порах сам автор был, как это обычно случается, совершенно неповинен в этом честолюбии.

“Фауст” — это символический образ человечества, и чем-то вроде такого символа стремилась стать под моим пером история об Иосифе. Я рассказывал о начале всех начал, о времени, когда все, что ни происходило, происходило впервые. В том-то и заключалась прелесть новизны, по-своему забавлявшая меня необычность этой сюжетной задачи, что все происходило впервые, что на каждом шагу приходилось иметь дело с каким-нибудь возникновением, — возникновением любви, зависти, ненависти, убийства и многого другого. Но эта всеобъемлющая первичность и небывалость является в то же время повторением, отражением, воспроизведением образца; она — результат круговращения сфер, которое перемещает уходящие в звездный мир высоты вниз, на землю, и возносит все земное ввысь, в область божественного, так что боги становятся людьми, люди — богами, земное находит свой прообраз в звездном мире, а человек ищет уготованный ему высокий жребий, выводя свой индивидуальный характер из вневременной, первобытной схемы мифа, которую он делает осязаемой и зримой.

Я рассказывал о рождении "я" из первобытного коллектива, Авраамова "я", которое не довольствуется малым и полагает, что человек вправе служить лишь высшим целям, — стремление, приводящее его к открытию Бога. Притязания человеческого "я" на роль центра мироздания является предпосылкой открытия Бога, и пафос высокого назначения "я" с самого начала связан с пафосом высокого назначения человечества.

И все-таки какая-то немаловажная сторона индивидуальности этих людей еще находится в плену нерасчлененности коллективного бытия, свойственной мифу. То, что они называют духовностью и просвещенностью, — это как раз сознание того, что их жизнь есть претворение мифа в плоть и кровь, и их "я" выделяется из коллектива примерно так, как некоторые изваяния Родена*, с трудом выби-рающиеся, как бы пробуждающиеся из толщи камня. Окутанный покровом преданий Иаков — тоже такая лишь наполовину обрисованная фигура: в его величавости есть нечто идущее еще от мифа, и в то же время она уже индивидуальна; культ, которым он окружает свои чувства, — за что его карает ревнивый Вседержитель, — это мягкое по форме, но горделивое утверждение "я", которое с полным сознанием своего достоинства видит в себе главное лицо, подлинного героя драматической повести своей жизни. Это — пока еще патриархально-благотворная форма обособления и эмансипации человеческой личности; с Иосифом, сыном Иакова, дело обстоит сложнее, его личность утверждает себя гораздо более дерзко и более рискованным путем. Он не из тех, кто открыл Бога, но знает, как с Ним надо "обращаться"; не из тех, кто довольствуется ролью героя своей жизненной драмы, — он еще и ее режиссер, более того — ее автор и сам "расцветивает и приукрашивает" ее; в нем, правда, еще есть нечто от первобытно-коллективных форм существования личности, но это

причастность одухотворенная, целеустремленная, его острый ум постигает ее и тешится ею. Короче говоря, мы видим, что освобождающаяся человеческая индивидуальность очень скоро становится индивидуальностью художнического типа, — восприимчивой, непостоянной и легко ранимой, предметом забот и тревог для нежно пекущихся о своем потомстве благолепно-патриархальных отцов, но наделенной от рождения такими задатками к развитию и созреванию, каких доселе не знал род людской. Смолоду это художническое "я" преступно эгоцентрично, оно живет на свете, нимало не сомневаясь в том, что все должны и будут любить его больше самих себя, и даже не подозревая, какие беды может навлечь на него эта уверенность. Но благодаря своей доброжелательной и сочувственной натуре, от которой оно все же никогда не отрекается, оно находит, вступая в пору зрелости, свой путь к общественному, становится благодетелем и кормильцем чужого народа и своих близких: в лице Иосифа человеческое "я" возвращается от высокомерного возведения самого себя в абсолют назад к коллективным началам, вливаясь в сообщество людей, так что эта сказка разрешает противоречие между служением прекрасному и служением согражданам, между обособленностью личности и ее принадлежностью к обществу, между индивидом и коллективом, подобно тому, как это противоречие должно быть разрешено и будет разрешено, — ибо мы верим в это и хотим этого, — демократией Грядущего, путем сотрудничества свободных и не утративших своеобразие наций под эгидой несущей равенство справедливости.

Символический образ человечества, — что ж, пожалуй, мое произведение имело известное право вполголоса называть себя этим именем. Ведь оно вело от начала всех начал, от простейших образов, от канонических схем к сложности и запутанности позднейших времен. Путь из земли

Ханаанской в Новое Египетское Царство — это путь от благочестивой примитивности, от праотцев, идиллически создававших и созерцавших Бога, к высокой ступени цивилизации с ее приманками и доходящим до абсурда снобизмом, в страну внуков, где Иосифу именно потому так хорошо и дышится, что он сам — один из внуков, и душа его открыта для будущего.

Ведущий вдаль путь, продвижение вперед, изменение, развитие очень сильно ощущаются в этой книге, вся ее теология связана с развитием и выводится из него, точнее из ее трактовки присущей Ветхому завету идеи *союза* между Богом и человеком, то есть мысли о том, что Богу не обойтись без человека, человеку — без Бога и что стремления того и другого к высшим целям переплетаются между собой. Ведь и Богу свойственно развитие, он тоже изменяется и идет вперед: от демонизма властителя пустынного космоса к одухотворенности и святости; и подобно тому, как он не может пройти этот путь без помощи человеческого разума, так и разум человека не может развиваться без Бога. Если бы меня попросили определить, что лично я понимаю под религиозностью, я сказал бы: религиозность — это *вдумчивость и послушание*; вдумчивое внимание к внутренним изменениям, которые претерпевает мир, к изменчивой картине представлений об истине и справедливости; послушание, которое немедля приспособливает жизнь и действительность к этим изменениям, к этим новым представлениям и следует таким образом велениям разума. Жить во грехе — значит жить не так, как этого хочет разум, по невнимательности и из непослушания цепляться за устаревшее и отсталое и продолжать жить в этом заблуждении. И каждый раз, когда в книге заходит речь о том, что надо "помнить Бога", речь идет о праведном страхе перед этим грехом и безрассудством. Эта "забота о Боге" живет в моем романе повсюду: на

пастбищах Ханаанских и на престоле Египетского царства. "Думать о Боге" — значит не только стараться "выдумать" его, определить, что он такое, познать его, это прежде всего значит думать о том, чтобы выполнить его волю, с которой должны гармонировать наши помыслы, не упустить сделать то, чему пришла пора свершиться, чему уже пробил срок на часах истории, чего требует эон⁵¹. Кто "заботится о Боге", тот озабочен мыслью: не продолжает ли он считать правильным и справедливым то, что некогда действительно было истиной, но перестало быть ею, не живет ли он по этим, ставшим анахронизмом канонам; "забота о Боге" — это благочестивое смирение, умение распознать дурное, устаревшее, все то, из чего человек уже внутренне вырос, что стало нестерпимым, невыносимым, или, на языке Израиля, "скверной". "Заботиться о Боге" — значит всеми силами нашей души внимать велениям мирового разума, прислушиваться к новой истине и необходимости, и отсюда вытекает особое, религиозное понятие о *глупости*: глупости перед Богом, которая не ведает этой заботы или же пытается отдать ей дань, но делает это так неуклюже, как родители Потифара, ставшие супругами брат и сестра, приносящие в жертву Свету детородную способность своего сына. Глупцом перед Богом оказывается и Лаван, все еще верящий в то, что долг повелевает ему заколоть своего маленького сына и похоронить его под фундаментом своего дома, что некогда считалось делом весьма благочестивым, но теперь уже не считается признаком благочестия. Первоначально люди знали только один вид жертвоприношения — приношение в жертву человека. Когда же наступил момент, в который человеческие жертвы стали считаться "скверной" и глупостью? Книга Бытия фиксирует этот момент в рассказе об Аврааме, который отказался заклать сына своего Исаака, заменив человеческую жертву

животным. Здесь мы видим человека, уже настолько далеко ушедшего в познании Бога, что он расстается с отжившим обычаем, выполняя волю Божества, которое стремится приподнять — и уже приподняло нас — над подобными предрассудками. Благочестие — это своего рода мудрость: мудрость перед Богом.

Нужно ли добавлять, что страдания, бремя которых мы сейчас несем, катастрофу, которая на нас обрушилась, мы навлекли на себя тем, что в нашем легкомыслии, которое давно уже стало преступным, растеряли последние остатки этой мудрости перед Богом? В Европе, во всем мире было столько пережитков, столько явных и уже кощунственных анахронизмов и заскорузлых остатков прошлого, через которые мировой разум перешагнул, недвусмысленно повелел предать их забвению, а мы, глухие к его воле, все еще упорно сохраняли их. Дух всегда опережает действительность, косная материя следует за ним лишь с трудом, — все это вполне понятно. Но столь болезненной, столь очевидно зловещей напряженности соотношения между истиной и действительностью в политической, социальной и экономической жизни народов, между тем, что давно уже постиг и свершил разум, и тем, что еще смело называть себя действительностью, — такой напряженности до сих пор, пожалуй, еще никогда не было; так где же, если не в нашем безрассудном непослушании разуму, или, выражаясь языком религии, в нашем непослушании воле Божией, следует нам искать подлинную причину той разразившейся наконец грозы, что оглушительно грохочет над нами? Но всякая разрядка — это восстановление утраченного равновесия, и, быть может, мы не так уж тщетно тешим себя надеждой, что после этой войны нам — или нашим детям и внукам — доведется жить в мире, где разум и действительность будут более счастливо гармонировать друг с другом, что мы

”выиграем мир”. В звучании слова ”мир” всегда есть нечто религиозное, и люди обозначают этим словом один из даров мудрости перед Богом.

*(Печатается по: Т. Манн. Собр. соч.
на русск. яз., т. 9, 1960,
стр. 172—191. Перевод Ю. Афонькина)*

БИЛЛИКОПФУ*52

Пасифик Пэлисейдз, 25.5.1942

Дорогой мистер Билликопф,

я очень благодарен Вам за интересное письмо и возможность прочесть интересную брошюру д-ра Хаима Вейцмана. Многие характеризовали мне Вейцмана как личность необыкновенную, как чрезвычайно умного человека с сильной волей, со страстной любовью к своей нации; я ясно увидел это в присланной Вами брошюре.

Я всегда придерживался немного негативного отношения к сионизму, поскольку его цель — создание еврейского государства по образцу более или менее организованных государств. Я же убежден, что евреи — народ-космополит, его присутствие как стимулирующего фактора может сыграть огромную роль в построении нового, социально лучше организованного послевоенного мира.

Мне кажется, что создание национального государства уже настоящей задачи еврейства, особенно в тот исторический период, когда значение национальных государств уменьшается.

Конечно, это мое мнение не мешает мне искренне разделять Вашу точку зрения на то, как можно помочь массам репатриировавшихся евреев, поэтому брошюра Вейцмана так меня заинтересовала. Основной задачей будет, разумеется, создание новой, более гуманной атмосферы с тем, чтобы окончательно победить силы антисемитизма, ко-

торые вызывают расовую ненависть, чувство расового превосходства и расовые преследования, и содействовать торжеству гуманных взглядов, которые принесут пользу также и еврейству. Я не специалист по Палестине и не могу судить, возможна ли иммиграция в эту страну двух миллионов евреев, но я искренне желаю всем тем евреям, которые стремятся на свою историческую родину, там обосноваться и поэтому могу только приветствовать действия, направленные на сбор средств для этой цели.

Примите мою благодарность и сердечный привет.

Искренне Ваш

Томас Манн

НЕМЕЦКИЕ СЛУШАТЕЛИ!⁵³

27 сентября 1942 г.

Немецкие слушатели!

Хотелось бы мне знать, что вы думаете о действиях тех, кто выступает в мире от вашего имени, — например, о преследовании евреев в Европе, — и как вы себя при этом чувствуете, вот о чем я хочу вас спросить. Вы все еще поддерживаете войну Гитлера и переносите бесконечные трудности из страха перед тем, что может принести вам поражение: перед местью поруганных наций Европы. Но как раз от евреев такой мести ожидать не следует. Они — самые беззащитные, менее всего склонны к насилию и кровавым делам из всех ваших жертв. Даже сегодня они не враги вам. Только вы — их враги...

Их лишили власти, прав, имущества, их бесконечно унизили — разве этого недостаточно? Что же это за люди, что за чудовища, которые никогда не насыщаются унижением других, для которых каждое причиненное евреям страдание — повод тол-

кать их навстречу еще более страшному несчастью. Раньше в отношении к этому сохранившемуся с древности народу, который, однако, везде тесно сросся с современной жизнью, была еще видимость меры и разумности. Евреи, говорилось тогда, должны быть отделены от народов, которые приняли их в свою страну, удалены из учреждений и лишены влияния на общество; пусть они живут в стране, но как терпимые гости, со своей верой и своей культурой. Это время давно прошло. Стремление мучить нельзя остановить. Сегодня дошли до уничтожения, до маниакального решения полностью стереть с лица земли европейское еврейство. В своей речи по радио Геббельс сказал: "Наша цель — уничтожить евреев. Победим ли мы или будем побеждены — мы должны достичь нашей цели, и мы ее достигнем. Если же германские войска будут вынуждены отступить, то они уничтожат на своем пути всех евреев до последнего".

Разумное существо не может понять хода мыслей этого источающего зловоние мозга. Зачем? — спрашиваешь себя. Кому это нужно? Кто от этого выиграет? Станет кому-нибудь лучше, если евреи будут уничтожены?..

Гетто Варшавы, куда на два десятка нищих улиц согнаны пятьсот тысяч евреев из Польши, Австрии, Чехословакии и Германии, где свирепствуют голод, болезни, смерть... Шестьдесят пять тысяч человек умерли там за один прошлый год. По сведениям польского правительства в изгнании, гестапо убило или замучило там до смерти семьсот тысяч евреев, из одного только Минска — семьдесят тысяч. Знаете ли вы об этом, немцы? И как вы это находите? В неоккупированной зоне Франции были собраны недавно из различных концлагерей три тысячи шестьсот евреев и отправлены на Восток. До того, как поезд двинулся, триста человек покончили жизнь самоубийством. Только дети старше пяти лет были оставлены родителям, оста-

льных бросили на произвол судьбы. Это вызвало большое возмущение французов. А как у вас с возмущением, немцы?

В Париже в течение нескольких дней согнали шестнадцать тысяч евреев, погрузили в вагоны для скота и увезли. Куда? Это знает немецкий машинист, о котором рассказывают в Швейцарии. Он убежал туда, потому что должен был много раз водить поезда с евреями; поезд останавливался в поле, вагоны герметически закрывали, евреев умерщвляли газом. Этот человек больше не выдержал. Но то, что он видел, — не чрезвычайный, не единичный случай. Существует точный и подробный отчет об умерщвлении ядовитым газом не менее одиннадцати тысяч польских евреев. Их отправили в специальное место казни, город Конин, в районе Варшавы, заперли в вагонах без доступа воздуха и в течение четверти часа превратили в трупы. Существует подробное описание всего процесса: крики и молитвы жертв и добродушный смех готтентотов-эсэсовцев, которые эту шутку провернули.

И вы, немцы, еще удивляетесь, даже возмущаетесь тем, что цивилизованный мир обсуждает, какими воспитательными методами сделать из поколений немцев, чьи мозги сформированы национал-социализмом, из тупых и морально совершенно изуродованных убийц сделать людей?

АГНЕС МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз, 17.2.1943

[...] В то время, как Вы носитесь по свету, учась и уча, я живу однообразно, и дни мои отличаются один от другого разве что переменами в самочувствии. Во время самума, допекавшего нас почти неделю, я вечером, после дневного зноя, простудился и был временами довольно плох, да и сейчас еще

кашляю, но уже дело идет на лад, а работу мне удалось вообще не прерывать, так что "Моисей"⁵⁴ продвигался все время. Я на 52 странице довел людей до оазиса Кадеш, близ вулканического Хорева и приступаю теперь к главному, к законодательству, которое я представляю как некий микеланджеловский труд скульптора над необработанной глыбой — народом. [...]

КЛАУСУ МАННУ

Пасифик Пэлисейдз, 9.3.1943

[...] В последние недели меня занимал главным образом рассказ о Моисее, который был заказан как вступление в книге рассказов о Десяти заповедях⁵⁵; не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого плана. Во всяком случае меня очень позабавила реалистически-гротескная история, в которой, конечно же, по существу речь идет о человеческой цивилизации (золотой телец — комически-грустный возврат к старому), и я так быстро справился со ста страницами, что, право же, у меня нет причин завидовать твоей скорости. Окончив что-то большое, я всегда разрешаю себе написать то, что не составляет особого труда.[...]

ИЗ ДНЕВНИКОВ

20.4.1943

[...] Кровавая расправа с евреями вызывает всеобщее одобрение, в лучшем случае наталкивается на равнодушие.

НЕМЕЦКИЕ СЛУШАТЕЛИ!⁵⁶

25.4.1943

Сегодня я хочу рассказать вам об одной книге, что должна выйти этой осенью; вы ее тоже когда-

нибудь прочтете, только позднее, чем народы, которые могут читать то, что хотят. Это всего лишь книга рассказов, но особенная. Велик спрос на нее в мире. Издатели на пяти языках заинтересовались ею, переводчики уже работают и кинорежиссеры обратили на нее внимание. Она будет опубликована по-английски в издательстве "Симон и Шустер" в Нью-Йорке, а затем в Лондоне, по-французски в Канаде, по-испански в Южной Америке, по-немецки и по-шведски в Стокгольме. Это сборник рассказов, но не одного автора, а десяти, среди них такие имена как Сигрид Унсет*, Жюль Ромен*, Франц Верфель, англичанка Ребекка Уэст* и американец Бромфилд*. Однако тема ее одна и подходящая для нашего времени: Десять заповедей. Каждый из десяти авторов, давая волю своей фантазии, свободно интерпретирует одну из заповедей применительно к событиям сегодняшнего времени — один из законов, которые были даны человечеству в древнейшие времена в качестве основ нравственности. Более того, писатели пункт за пунктом показывают в разных вариантах кощунственное осквернение, ко- ему подвергся этот основной закон человеческой порядочности со стороны сил, против которых после долгого промедления поднялся с оружием в руках мир, еще приверженный религии и гуманности. Другими словами: в книге речь идет о войне и о том, во имя чего она ведется; потому велик спрос на нее.

Тот, кто говорит сейчас перед вами, написал ее первую часть, вступление. Это тоже рассказ, но действие его происходит не в наши дни, а в глубокой древности; это история Моисея, который получил Декалог — кратко изложенный закон гуманности — и принес его людям с горы Хорев, или Синай.

[...] Число погибших — частью непосредственно от рук убийц, частью в результате запланированного голода — в конце прошлого года исчислялось миллионами, а с тех пор, поскольку эти страшные акции проводятся во всем большем объеме, значительно возросло. Из них более всего евреев из Восточной Европы, то есть тех людей, кого изобретатели германской расы господ считают вредными насекомыми и потому заявляют, что призваны очистить от них землю. В действительности же восточноевропейское еврейство — резервуар скрытых культурных сил и почва, на которой выросли гении и таланты, проявившие себя в западном искусстве и науке.

Еврейская раса, как известно, отличается особыми талантами в двух областях: медицине и музыке. Еще в средние века охотнее всего обращались к еврейскому врачу и более всего ему доверяли. По моим собственным наблюдениям, еврейский врач и сегодня самый мудрый, самый мягкий, самый понимающий и более всего заслуживающий доверия, не говоря уже о великих еврейских исследователях в области медицины, благодетелях человечества, таких, как Эрлих*, Август фон Вассерман*, чей метод анализа крови завоевал весь мир, и великий исследователь глубин человеческой души Зигмунд Фрейд. Что касается музыки, то здесь, в Америке, живут выдающиеся мастера концертной эстрады, такие художники, как Менухин*, Горовиц*, Хейфец*, Мильштейн*, Шнабель*, дирижеры Вальтер и Кусевицкий*, Орманди* и Штейнберг*. Их генеалогические корни — в восточноевропейском еврействе. И если говорят, что все они — исполнители, только виртуозы, то я назову творческих представителей современной музыки — Густава Малера и Арнольда Шенберга* [...].

Самый великий исследователь в области теоретической физики нашего века, Альберт Эйнштейн, — представитель того человеческого рода, который по мнению психически неполноценного дурака должен быть уничтожен. [...]

Дела изменятся, и Израиль переживет это время, как он всегда переживал тяжелые времена. Но те страдания, которые он терпит сегодня, вопиют к небу, и мы, которые хвастливо считаем себя борцами за гуманизм и человеческое достоинство, должны спросить себя, делаем ли мы хотя бы все, что в нашей власти, чтобы смягчить неопишуемые страдания, которые обесценивают всякий гуманизм, если уж не можем им воспрепятствовать. Наверно, слишком просто ограничиться объяснением: "Нельзя сделать ничего другого, кроме как вести войну с нацистами". Мало что можно сделать, потому что многое было упущено до войны, когда еще существовали бóльшие возможности действовать. Мы со стыдом вспоминаем те прошлые времена. Я хочу напомнить лишь о корабле с еврейскими беженцами, который в 1939 году как призрак блуждал по морям, и ни один порт его не принимал, пока, наконец, эмигрантов не приютили маленькие страны, Голландия и Бельгия. Мир в лености сердца своего разрешил Гитлеру насмеяться над этим. Гитлер бросил вызов миру: "Если вы такие гуманисты, почему же вы не принимаете евреев? Но вы не готовы это сделать, ни одна страна не готова". Почему евреям не было предоставлено убежище, когда еще было на это время, в странах, где было достаточно места и где могли пригодиться рабочие руки, хотя бы временное убежище, без обязательства оставить их там навсегда? Заслуживает уважения маленькая Швейцария, она, несмотря на свою небольшую территорию и трудное положение, приняла многих; и приняла бы гораздо больше, если б могла служить транзитным пунктом и если б ей была дана гарантия, что евреи найдут

безопасную гавань. Возможность спастись была бы тогда значительно большей.

Но и сегодня еще не поздно. Иммиграционные законы в крупных демократических государствах установлены для нормального времени, когда не было такой потребности в эмиграции из Европы, они не приспособлены к чудовищным условиям, которые существуют там сейчас. С бюрократическим равнодушием придерживаться их в сегодняшних условиях — негуманно, недемократично, это значит показать фашистским врагам ахиллесову пяту вместо того, чтобы, изменив на время эти законы, доказать, что война действительно ведется во имя гуманности и человеческого достоинства. Вспомним слова Черчилля*: "Каждый друг Гитлера — наш враг" — слова, которые, конечно же, заключают в себе и ту истину, что каждый враг и каждая жертва нацистов — наш единственный друг и союзник и имеет право претендовать на нашу помощь.

О "БЕЛОЙ КНИГЕ"⁵⁸

Господа, вы спрашиваете меня о моем мнении по поводу "Белой книги". Охотно отвечаю вам, ибо это дело весьма меня занимает, как оно должно занимать каждого, чью совесть пробудили события нашего времени или сделали более чувствительной к вопросу прав человека, и кто осознает связь "Белой книги" с общими проблемами.

Нельзя было думать, что сокращение иммиграции в Палестину, предусмотренное "Белой книгой", будет применяться сегодня, ведь это Уинстон Черчилль назвал его в своей исторической речи во время дебатов в палате общин 22—23 мая 1929 г. "a plain breach of pledge, a repudiation and a default" / "простое отречение и невыполнение обязательств" — *англ.* /.

Но сегодня Черчилль обладает всей полнотой власти⁵⁹ и не может изменить своих взглядов. Как бы то ни было, чаша весов, кажется, колеблется и поэтому каждый со своей стороны должен способствовать тому, чтобы она решительно склонилась в сторону права.

Решение британского правительства закреплено в заявлении от 2 ноября 1917 г., в так называемой Декларации Бальфура⁶⁰: "That it would use its best endeavors to facilitate the establishment of a Jewish National Home in Palestine" / "Британское правительство сделает все необходимое, использует все свое влияние для создания еврейского национального очага в Палестине" — *англ.* /.

Это заверение было дано с известной исторической торжественностью, с подчеркнутым чувством того, что при этом решении речь идет об исполнении тысячелетней мечты, что оно есть выражение сочувствия к судьбе, к душевным лишениям племени, на которое именно англосаксы всегда смотрели с религиозным почтением. Не напрасно еще сегодня родители, англичане и американцы, любят давать своим детям библейские имена.

Может быть, связь англосаксонского христианства с Ветхим заветом более тесная, благоговейное понимание иудаизма как источника и почвы, на которой выросло христианство как существующее наряду с предшествующей ему формой, более глубокое, чем в других формах христианства — латинской, немецкой. Теплоту и энтузиазм, с которыми была сформулирована, приветствуема и предложена Декларация Бальфура, я приписываю этому особому пониманию общности между Ветхим и Новым заветом.

Уже в самой формуле "National Home" / Национальный дом (или очаг) — *англ.* / звучит эта теплота, она выбрана, дабы подчеркнуть, что тем самым исполняется мечта евреев о доме, в ней выражено сочувствие их тоске по *дому*, тоске,

которую хотят утолить. Сознание, что где-то на земле есть дом, есть убежище, открытое для него, — утешение для путника, но этот дом должен быть ему действительно открыт, только тогда он будет иметь душевную и в нужный момент практическую ценность, ибо какой же это дом, если однажды он окажется запертым, если он будет убежищем только до определенного времени и его готовность принять путника завтра угаснет?

Английская "Белая книга" от мая 1939 г. превращает обещанный в 1917 году Национальный очаг в Палестине в такое ограниченное сроком убежище и тем самым уничтожает его смысл и ценность. Она определяет, что "after the period of five years no further Jewish immigration will be permitted unless the Arabs of Palestine are prepared to acquiesce in it" / "после пятилетнего периода не будет разрешена еврейская иммиграция, если только арабы не будут готовы принять это" — *англ.*/. Другими словами, предписывает total stopage of all immigration into Palestine after March / "полное прекращение иммиграции в Палестину после марта 1944 г." -- *англ.*/.

Что я скажу по этому поводу? То же, что еще пять лет назад говорили многие выдающиеся англичане: это установление равнозначно измене, отказу от данного слова, оно несовместимо с условиями, на которых Англия приняла мандат на Палестину. Хорошо говорить, что Лига Наций больше не существует, тот мандат недействителен и Англия обладает в Палестине еще "только" реальной властью.

Я не считаю это причиной, по которой Англия может быть освобождена от торжественного и безусловно принятого на себя обязательства.

Ограничение, определенное "Белой книгой" и снижающее ценность данного ею слова, было плохо уже тогда, когда было принято. Сегодня, когда оно должно вступить в силу, когда наступил срок запрещения еврейской иммиграции, оно стало еще

значительно хуже, оно действительно так плохо, что я не могу себе представить, — неужели хватит мужества проводить его на практике.

Оно было плохим до начала войны и стало явно несправедливым, принимая во внимание заслуги евреев в деле подъема заброшенной страны за прошедшие двадцать два года. Мне нет надобности перечислять их, они известны каждому и никто не может их отрицать, в том числе и арабы, они менее всех, ибо более всего выиграли от созданных там евреями новых промышленных, сельскохозяйственных, агрокультурных, гигиенических условий, их численность увеличилась с 600000 до более чем миллиона. Это настоящая правда — вопреки утверждениям, будто евреи угнетают и вытесняют арабов. Арабы — народ с большими культурными традициями, но никак нельзя назвать их приспособление к техническому веку полным, оно значительно отстает от того, чего достигли евреи, а если арабы другого мнения, то в их распоряжении территория в сто раз большая, чем Палестина, гораздо менее освоенная и с более редким населением, где они могут проявить свою энергию в области мелиорации.

Так, говорю я, обстояло дело с моральной ценностью "Белой книги" уже в 1939 году. А сегодня? Спустя пять лет после гитлеровской войны против евреев Европы? После освобождения из-под нацистского ига от семи-восьми миллионов евреев, которые там жили, останется еще кое-кто, кто не "ликвидирован", не погиб от голода, не отравлен газом, — все-таки кто-нибудь еще останется. Они будут лишены корней, имущества и крова, и разгромленная, обедневшая после этой войны Европа вряд ли будет для них подходящим местом, в особенности для молодых, чтобы строить себе новое существование. Настоящим местом для этого будет Палестина, древняя и, согласно Декларации Бальфура, новая обетованная земля. Но как раз в

этот момент установления "Белой книги" должны свести на нет это обетование.

Наша страна, Америка, обязана сказать здесь свое слово. В Америке живут пять миллионов евреев, они морально и в конце концов материально заинтересованы в будущем Jewish National Home в Палестине. За последние двадцать пять лет они отправили туда значительные суммы в качестве пожертвований, а также в виде инвестиций. Они сделали это, доверяя Декларации Бальфура, и голосование их делегатов на Американском Еврейском Конгрессе в 1943 году показало, что подавляющему большинству американского еврейства дорога идея восстановления Jewish Commonwealth /еврейского объединения — *англ.*/ в Палестине. Но не только они, сама Америка как государство заинтересована в этом деле. Она была в числе гарантов Декларации Бальфура и принадлежала к Allied Supreme Council /Верховный Союзнический Совет — *англ.*/, который с совершенно определенной целью передал Англии мандат на Палестину. В интересах Jewish National Home Соединенные Штаты отказались от некоторых экономических прав, которыми они обладали в Палестине. И когда в 1924 году the terms of the Palestine Mandate were ratified by the treaty between Great Britain and the United States /условия мандата на Палестину были ратифицированы договором между Великобританией и США — *англ.*/, было оговорено, что "nothing in the treaty shall be affected by any modifications... unless shall have first been assented to by United States" /"ничто в договоре не будет подвергнуто изменениям, если они не будут предварительно санкционированы США" — *англ.*/.

Трудно представить себе, что Соединенные Штаты, президенты которых от Вильсона⁶¹ до Рузвельта⁶² подтверждали свою постоянную заинтересованность в мандате на Палестину и в развитии Jewish National Home, согласятся с такой

искажающей ее смысл, более того, уничтожающей ее "модификацией" как stop-immigration /запрещение иммиграции — *англ.* /.

В начале я сказал, что мы более зорко стали всматриваться в общие для всех нас вопросы прав человека. И там, где это, казалось бы, касается только одной группы, одного народа, в действительности страдает целое. Густая тень сомнения падет на способность и назначение Организации Объединенных Наций создать после этой войны лучшее, достойное человека общество, если она окажется виновной в несправедливости и в измене достойному уважению людскому племени, которое под властью общего врага, его презренной одержимости творить зло с самого начала испытывало страшнейшие страдания. В отношении к еврейству держав, обладающих решающим правом, можно усматривать своего рода пробный камень — честно ли они воевали, по праву ли победили, действительно ли представляли лучшую часть человечества против плохой, дано ли им выиграть мир.

ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ВЕНГЕРСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ — ЕВРЕЕВ⁶³

Как немецкий писатель и американский гражданин я присоединяю свой протест к протесту всего цивилизованного мира против уничтожения в Венгрии книг еврейских писателей и исключения из венгерских союзов всех композиторов и музыкальных издателей — евреев.

Совершенно ясно, что все эти факты болезненного варварства совершаются не по венгерской инициативе, а по принуждению со стороны нацистов. Меры эти долго не просуществуют, однако вызовут много бед, отчаянья, принесут с собой гибель людей. До самого конца их инициаторы будут распространять вокруг себя ужасы, унижать чело-

века везде, где им будет дана такая возможность, не задумываясь над тем, что покрывают стыдом народ, которому, как они заявляют, служат, что усиливают ненависть ко всему немецкому и омрачают перспективы Германии на сносный мир.

УПОРНЫЙ НАРОД⁶⁴

Я не знаю лучшего способа выразить свое глубочайшее уважение Хаиму Вейцману, мудрому и влиятельному руководителю еврейского народа, которому посвящены эти страницы, чем рассказать о тех чувствах, том ужасе и безграничном отвращении, которые переполняют меня, когда я думаю о неопишуемых страданиях евреев Европы — о зверских преследованиях древнего высокоталантливого и необходимого миру народа на всех территориях, где властвует проклятый национал-социализм.

Я не упустил случая высказывать свои чувства. Я участвовал во всех митингах протеста культурного мира против этих постыдных преступлений [...].

Другие народы также испытали на себе безжалостность нацистов, страдали от унижений, организованной деморализации и рабства, но только евреи были приговорены к истреблению; в Германии и по всему континенту эта политика начала осуществляться в широких масштабах и успехи ее вызывают ужас. [...]

Казалось бы, нацистская власть вынуждена сейчас заниматься гораздо более срочными делами, чем жизнь и смерть евреев. Поражение Германии приближается гигантскими шагами. И тем не менее у Гитлера и его сообщников находится время и желание продолжать выполнение своей бессмысленной программы. Они навязывают Венгрии антиеврейские законы, депортируют евреев Голландии и так далее. Эта кампания уничтожения идет

своим безжалостным порядком, в то время как приближается катастрофа, которая должна разбить фашистский рейх. Число тех, кто погиб от рук нацистов или от голода, — миллионы [...].

Более других склонных к мимикрии носителей иных культур восточноевропейские евреи являлись живым продолжением исконно западной духовной культуры. Из их среды вышли такие государственные деятели, как Хаим Вейцман, которому посвящен этот том. Наш современник Хаим Вейцман, естествоиспытатель высочайшего ранга, проявил, защищая дело своего народа, такие способности, такое воодушевление, продемонстрировал такой характер, что его можно считать звеном в неразрывной цепи — от Амоса до Иезекиила⁶⁵ [...].

Что ж, преследования и страдания укрепляют чувство принадлежности к своему народу, они придают новую силу также и чувству солидарности. Не удивительно, а всего лишь справедливо, что благодаря событиям последних лет национальное самосознание еврейского народа необычайно возросло и что сионистская идея крепнет и приобретает все большую убеждающую силу.

Идея национального объединения евреев в одном месте — не в рассеянии — более не оспаривается. Это факт духовной жизни, с которым надо считаться, и идея эта преодолет любое сопротивление, стоящее на пути ее осуществления. Сопротивление существует главным образом из-за ошибочного представления, будто сионизм намеревается репатриировать всех евреев в Палестину. Независимо от того факта, что практически это было бы, вероятно, невозможно, репатриация в Палестину не отвечает желаниям многих евреев, в течение столетий укоренившихся в западном мире. И еще меньше — интересам народов тех стран, в которых живут евреи: они обязаны своим еврейским согражданам, так много сделавшим для расцвета цивилизации. Я не сомневаюсь, что если

после войны евреи не вернутся в Германию, она очень пострадает от отсутствия своих еврейских граждан, как ранее Испания веками страдала от последствий изгнания евреев и арабов.

Мир нуждается в еврейской нации и ее своеобразии так же, как он нуждается для своего существования и прогресса во всяком другом варианте и оттенке человеческого и национального характера. Определенные черты и способности еврейского народа, которые я хотел бы назвать интенсивностью их религиозного сознания в нашем земном плане, его склонность к социальному оправданию людей перед Богом, его живое внимание к новому, несущему в себе будущее, короче — прогрессу на Земле — эти качества кажутся мне необходимыми и обязательными в наше время, время больших социальных изменений и того необходимого улучшения социальных условий, которые стали долгом человечества.

Я уверен, что евреи будут играть важную и полезную роль в выполнении этой задачи.

Вопреки нашему возмущению убийственной несправедливостью, которой подвергается сегодня еврейский народ, нам не следует сомневаться в том, что он переживет это время, как он переживал ранее тяжелые времена. "Перед нравственным судом Бога, — говорит Гёте, — перед судом, которым будут судимы народы, не будет спрошено, самая ли лучшая, самая ли превосходная это нация, а только продолжает ли она существовать, сохранилась ли она..." Нет равного еврейскому народу в самостоятельности, твердости, храбрости, а если сегодня эти качества более не могут проявляться, — в стойкости. Он самый упорный народ на земле, он есть, он был, он будет, чтобы прославлять имя Иеговы на все времена.

[1944 г.]

Дорогие господа,

разрешите сказать вам, что я отношусь с самым живым участием к открываемой вами выставке в связи с памятным днем 19 апреля, годовщиной незабываемого героического восстания евреев Варшавского гетто против их мучителей. Пусть эта выставка документов, свидетельствующая об ошеломительной жестокости, жертвой которой пали более пяти миллионов евреев, будет предостережением всем, будет доказательством того, до каких бездн преступления может опуститься человек, если он пренебрегает сдерживающим его разумом, или, выражаясь религиозным языком, не боится Бога и действует, следуя лишь своим гнусным инстинктам.

Евреи дали миру универсального Бога и в Десяти заповедях — основы человеческой нравственности. Это самое всеобъемлющее, что можно сказать об их вкладе в культуру, в особенности в философию, искусство и науку, ибо они все должны быть освящены нравственной идеей. История еврейского народа полна страданий и испытаний, и есть отрезки на его пути, которые в известной степени сходны с историей народа, причинившего ему в наши дни неслыханное зло. Но евреи выжили, они переживут и нынешний кризис, и можно быть уверенным, что еврейскому духу и его освященному религией пониманию действительности уготована еще важная роль при созидании социального мира, черты которого постепенно начинают обозначаться.

АГНЕС МЕЙЕР

Пасифик Пэлисейдз, 7.1.45

[...] Бургомистру-католику она /Эрика Манн —

пер. / в виде исключения назвала себя, сказала, что она моя дочь. На что он с некоторым ужасом: "О да... Ну что ж, "Будденброки", несмотря ни на что, остаются хорошей книгой!" Ах, Германия, Германия! Каждый звук оттуда, даже сколько-нибудь дружеский, кажется мне *жутким*, гротескным и жутким. Вчера вечером я читал в эмигрантском клубе перед пятьюстами слушателями, которые заплатили за вход билетами Бонда (среди них были и американцы), вторую часть рассказа о Моисее. Когда я вошел, публика встала; слушали, как дети, а когда я кончил, опять встали и несколько минут аплодировали. А в Германии "несмотря ни на что" все еще "Будденброки" [...].

ИОНАСУ ЛЕССЕРУ*

Пасифик Пэлисейдз, 23.1.1945

[...] Я всегда поражаюсь огромной признательности евреев за эти книги / "Иосиф и его братья" — *пер.* / . Вот и сегодня я получил письмо от супружеской пары Манассе из Дургема. "Он" пишет: "Мне кажется, здесь после усилий последних десятилетий реализовать все потенции романического жанра продолжена центральная "гётевская" традиция, которая, поскольку ни одно из этих усилий не отброшено, означает не сужение, а наоборот, новое дерзание. Все кажется гётевским и одновременно совершенно новым — ритм, стиль, воззрения, смещение дистанции и близости. "Она" пишет: "После всего страшного, что испытали немецкие евреи от немецкого народа, мне кажется несказанно загадочным и многозначительным, что эта Ваша книга написана сегодня немецким неевреем. В Вашей книге говорит также Германия, такая великолепная и божественная, что у того, кто видит, чувствует и осознает и то и другое, нет слов — это потрясает. Ваше "возвещение" символично..."

голос немца, который в глубочайшем смирении берет на себя долг смыть то, что совершили над ним и над нами его братья. Нет слов, чтобы выразить благодарность — это грандиозно и слишком много. И у нас нет преимущества Иосифа управлять игрой Бога и направлять ее". Не правда ли, очень хорошо и почти значительно. [...]

БЕРТОЛЬДУ ФИРТЕЛЮ*

Пасифик Пэлисейдз, 2.4.45

[...] В одном из Ваших прекрасных стихотворений, "В аду", Вы нашли потрясающе наивное и классическое определение: "Что ты делал в жизни?" — спрашивают. "Ах, я писал". — "А зачем ты писал?" — "Я только хотел, чтобы не закрывалась рана". Было ли дано более простое, более верное, более прекрасное определение всякого писательства? Да, писать — это постоянно испытывать страх перед тем, что Вы называете "адом" — перед утомлением, охлаждением, умиранием чувства и совести, перед равнодушием к любви и ненависти...

Дорогой господин Фиртель, через ненависть, ненависть к дурному, подлому, отвратительно грязному, горячую, бескомпромиссную, непримиримую ненависть, которая вспыхнула в нас почти неожиданно, всем нам было дано узнать нашу любовь, которую мы тоже как следует не знали — любовь к добру, к праву, к тому, что достойно человека. Я не еврей, я не принадлежу, как Вы, к праздничному племени, по отношению к которому на глазах равнодушного мира подлецы совершили гнуснейшую несправедливость. Но я ваш брат по ненависти, которая есть любовь, ваш брат по клятве не позволить закрыться ране, по этой любви и этой ненависти и тогда, когда наглому требованию, которое Зло когда-либо предъявляло жизни, дадут отпор. [...]

Пасифик Пэлисейзд, 10.8.1945

Глубокоуважаемый господин Бен-Хорин, всего через несколько дней после получения бандероли от 4 июня пришла Ваша открытка, датированная 20 июня. Благодарю Вас за то и другое, и в особенности, конечно, за трогательную, приведшую меня в смущение статью ко дню рождения, которая в человеческом и литературном отношении принадлежит к лучшему из дружеских одобрений моей жизни, полученных за эти недели. Поверьте мне в одном: моя жизнь вовсе не была легкой, менее всего легкой. Терпение стало для меня горько-необходимой добродетелью так же, как известная способность, которую я все больше склонен приписывать высшей милости — воздействовать на события так, чтобы они, по возможности, развивались в сторону Добра.

[...] Как хорошо я понимаю, что у Вас внутренне есть возражения по поводу тона, в котором я позволил себе рассказать историю Моисея. Туда вторгся, неожиданно для меня самого, вольтеровский элемент, которого еще нет в книгах об Иосифе, хотя и они — нечто вроде юмористической песни о человечестве. Не случайно я перечитывал "Кандида", когда писал "Закон", что, учитывая традиционную еврейскую чувствительность, может произвести плохое впечатление⁶⁸. Но специфически еврейское не было в моем сознании на первом плане, точно так же, как "Моисей" внешне совершенно не похож на еврея, скорее он выглядит как Микеланджело (не как его "Моисей", а как он сам). Важна была для меня идея цивилизации, человеческой нравственности, символ которых — Десять заповедей Закона, полученного с горы Синай. Именно это было для меня серьезно, а не все шутки, которые я себе позволил, что видно из отнюдь не юмористического проклятия в конце рассказа.

Несмотря на это, я очень нуждаюсь в снисхождении еврейского форума. Это я знаю. То, что было разрешено мне при мифологически-психологической стилизации генезиса, продиктовало, очевидно, мое озорство.

Еще раз благодарю Вас и сердечный привет.

Преданный Вам Томас Манн

СПАСИТЕ ЕВРЕЕВ ЕВРОПЫ!⁶⁹

День сожжения синагог и погромных выступлений против еврейского населения в Германии был первым проявлением нацистского варварства, не сдерживаемого более оглядкой на мнение других стран; после мюнхенского триумфа нацизм считал, что может себе позволить все, а это неизбежно должно было привести к войне с цивилизованным миром. Конечно, утешительно, что седьмую годовщину этого дня мы отмечаем после военного краха европейского фашизма, в мире, который, еще не получив мира, надеется на него. Надежда на настоящий мир, который должен быть основан на справедливости и человеческом достоинстве, может быть осуществлена лишь при условии решения также и еврейского вопроса, который, конечно, не есть единственная проблема нашего времени, но он более, чем его реальное значение, может быть пробным камнем зрелости нашей цивилизации и ее желания служить Добру. Казалось бы, после позорного краха европейского фашизма главное средство его демагогической пропаганды — антисемитизм — должен быть отвергнут всем миром и исчезнуть как идеология. Но этого отнюдь не случилось. Ядовитые семена, посеянные Гитлером, глубоко запали в сбитые с толку европейские умы, и мы являемся свидетелями убийственного факта: народ, который без всякой вины с его стороны был обречен принести во время катастрофы самые

страшные жертвы, вынужден еще и сегодня вести в Европе жизнь парий и терпеть тяжелейшую нужду. Мы знаем, что предпринимается немало усилий, чтобы положить конец этому позору, но сегодня их еще недостаточно.

ИЗ СТАТЬИ "ПРИЗРАКИ 1938 ГОДА"⁷⁰

[...] Маленькое еврейское государство в Палестине будет демократией людей, которые полны желания работать и строить свою культуру. Конечно же, это государство должно пользоваться симпатией страны с американскими традициями. Почему же мы осуждены поддерживать везде отвратительную, грязную реакцию, ненавистную народам, — в данном случае — арабских шейхов, — и разрушать демократию, изображая дело так, будто мы ее защищаем?

Д-РУ И.-Л. МАГНЕСУ⁷¹

Пасифик Пэлсейдз, 1 апреля 1948

Уважаемый д-р Магнес,

я был очень обескуражен Вашим письмом от 1 марта и сразу же написал мисс Фреде Киршвей, редактору "Нейшн"⁷², и попросил ее объяснений. Теперь я получил ее ответ и, как всегда, мы едины в уважительном отношении к Вам и в оценке Ваших убеждений. Далее, мисс Киршвей признала, что, может быть, не очень правильно — подавать это заявление, не спрашивая согласия каждого из членов ООН. С другой стороны, я должен сказать, что я безоговорочно согласился с документом, озаглавленным: "В состоянии ли арабы оказать вооруженное сопротивление Объединенным Нациям?". Я вспоминаю теперь, что этот документ привлек мое внимание на следующий день после его пред-

ставления. Но, должен признать, я не узнал его. В этом документе важны факты, а не то, как они изложены. Факты, о которых там сообщается, были собраны мисс Шульц, представлявшей "Нейшн", когда та была на Ближнем Востоке прошлым летом. Точность данных не подлежит сомнению. Генерал Хилдринг рассказал мисс Шульц на сессии Генеральной Ассамблеи, что факты точны, что арабы сами не в состоянии поднять вооруженное восстание. Кроме того, секретарь Форрестол, ответственный за инспекцию американской политики в отношении раздела, говорил одному из руководителей демократической партии, что восстание такого характера, которое арабы в состоянии поднять, может быть подавлено меньше, чем одной дивизией любой современной армии.

19 марта, в день, когда американская делегация объявила о своем плане пересмотра⁷³, помощник сенатора Остина сказал сразу же после заседания Совета Безопасности, что США знают: арабы неспособны выдержать восстание. Из тех фактов, которые мне известны, мне совершенно ясно, что большинство событий в Палестине контролируется Арабской лигой⁷⁴ и "войну" ведут около семи тысяч так называемых добровольцев из арабских государств. Меня уверяют, что большинство палестинских арабов миролюбиво. Арабская лига, которая несет ответственность за начало революции, является креатурой британцев. Бригадный генерал Клейстон, британский представитель в Каире, присутствовал на их собраниях и руководил их стратегией. Восстание — просто форма шантажа с целью добиться отмены резолюции о разделе Палестины.

Безусловно, это восстание разжигается англичанами, которые дошли до того, что позволяют военнопленным-нацистам войти в Палестину, чтобы обучать арабов. Последний факт особенно отвратителен и характерен для всей ситуации. В настоящее время еще 110 тысяч обученных англий-

ских военнослужащих дислоцированы в Палестине. Можно ли сомневаться, что эти военные могли бы предотвратить убийства, если бы английское правительство хотело, чтобы они это сделали. И безусловно, они не должны были бы стрелять в население, чтобы предотвратить убийства. Арабы очень хорошо знают, когда англичане намерены предотвратить беспорядки.

Последнее решение США не связано с Палестиной, а только с военными планами против СССР.

По моему мнению, это решение — самое возмутительное и унижительное политическое событие с тех пор, как имела место измена по отношению к Чехословакии в 1938 году. Это способствует деморализации мира, что раньше или позже приведет ко всеобъемлющей катастрофе. Я высказал это открыто по-немецки и по-английски, и Вы, уважаемый д-р Магнес, должны понять мою позицию с точки зрения общей ситуации в мире.

Я убежден, что этот раздел, создание еврейского государства в крайне скромных границах могло бы быть осуществлено без особых конфликтов, если бы эта маленькая территория не стала бы очагом борьбы великих держав за нефть и базы. Твердое слово США, могло бы, несомненно, покончить с этой войной, слово, обращенное как к англичанам, так и к арабским государствам. Вместо этого они забрали назад свое согласие на раздел Палестины, не обращая никакого внимания на удар, который они нанесли этим престижу ООН и ее возможности сохранять мир. Не забывайте, уважаемый д-р Магнес, что мы, либералы, живем тут в условиях, при которых нас называют коммунистами, и что мы ведем трудную борьбу против тенденций, которые, как мы опасаемся, могли бы морально и физически уничтожить эту безусловно порядочную страну.

Примите мои уверения

Сердечно Ваш Томас Манн

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ II

¹ Статья "О решении еврейского вопроса" была опубликована в газете "Мюнхнер Нейсте Нахрихтен" 14.9.1907 г. В 1907 г. берлинский врач д-р Юлиус Мозес (1868—1944, погиб в концлагере Терезиенштадт), издатель газеты "Генераланцейгер фюр ди Гезамтен Интерессен дер Юден", выходящей в свет с 1902 по 1905 гг., депутат рейхстага от социал-демократической партии в период Веймарской республики, распространил среди общественных деятелей и писателей анкету с просьбой ответить на вопрос о возможных путях решения еврейского вопроса. В результате была издана книга "Решение еврейского вопроса", включающая в себя более чем сто высказываний на эту тему, в том числе — высказывания Горького, Томаса Манна, Райнера Марии Рильке, Адольфа Бартеляса, Гуго Салюса и др.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, т. XIII, 1974, стр. 459—462.

² Мать Т. Манна Юлия да Сильва-Брунс по матери была бразильянской.

³ Т. Манн имеет в виду дискриминационную практику, применявшуюся тогда в России по отношению к евреям: черта оседлости, процентная норма, кровавые наветы, погромы, притеснения и т. д.

⁴ Статья "О еврейском вопросе" была впервые опубликована 15 января 1966 г. в газете "Франкфуртер Альгемейне Цейтунг" (после смерти Т. Манна,

с разрешения его жены Кати Манн).

В связи с ростом антисемитских настроений в Баварии издатель журнала "Дер Нейе Меркур" Эфраим Фриш (1873—1942) решил выпустить специальный номер, анализирующий антисемитские выступления в печати. Он обратился в июле 1921 г. к Т. Манну с предложением написать статью для этого номера. Из ответа Т. Манна: "Евреи решающим образом помогли пробиться такому человеку, как я, и поддержка антисемитских мнений была бы с моей стороны чудовищной неблагодарностью, она подошла бы Вагнеру, но не мне. Поэтому я считаю только порядочным, когда меня спрашивают о еврейской проблеме; не пускаясь в рассмотрение ее с точки зрения духовных поворотов, не занимаясь ответственными рассуждениями философского, политического, расово-биологического или другого характера, я буду придерживаться фактов моей жизни, в которой относился к евреям с большой симпатией".

Однако затем Т. Манн решил забрать свою статью из редакции и так объяснил свое решение в письме Э. Фришу: "Мою статью я читал с сильнейшим неудовольствием. С одной стороны, она легковесна, с другой — в ней сделан слишком большой упор на автобиографические факты — я к этому склонен и, возможно, это моя сильная сторона, но в такой статье она неуместна и может вызвать раздражение. Не сердитесь на меня за то, что я забираю статью, она кажется мне неудавшейся [...] хочу надеяться, что вскоре я смогу написать другую, если Вы этого захотите".

Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XIII, 1974, стр. 466—475.

⁵ Т. Манн ошибается, называя своего соученика Карлебаха Эфраимом. Того звали Шимшон. Эфраим — младший брат Шимшона, банковского служащего. Впоследствии он был депортирован нацистами в Ригу и умер по дороге в лагерь.

⁶ Франц Фехер был впоследствии адвокатом в Берлине, затем в Вене.

⁷ "Вольный стрелок" — опера Карла Марии Вебера (1786—1826), крупного немецкого композитора раннеромантической школы.

⁸ Т. Манн имеет в виду свою пьесу "Фьоренца", написанную в 1905 г. Она ставилась на нескольких сценах, но особенного успеха не имела.

⁹ Речь идет об Альберте Эйнштейне.

¹⁰ Подразумеваются немцы, потерпевшие поражение в Первой мировой войне.

¹¹ Речь идет о первой части тетралогии "Иосиф и его братья" (1926—1942). В 1923 г. график Герман Эберс показал Т. Манну серию своих рисунков к Ветхому завету и попросил написать введение к папке с рисунками, посвященными Иосифу. Так родился замысел произведения, "продукта не только моего личного времени и стадии моей личной жизни, но "большого", всеобщего времени, нашего времени, с его историческими авантюрами и страданиями, благодаря которым вопрос о человеке, проблема самой гуманности и их целостности представляла перед нашими глазами и стала долгом нашей совести", — писал Т. Манн в журнале "Нейе Штудиен" в 1928 г. "Рассказывая об иудейских папушеских царях, — писал он там же далее, — я рассказывал в действительности о человеке и обо всем, что типично для его судьбы".

¹² ...*тифоническая форма* — Тифон (Титон) в древнегреческой мифологии чудовище, боровшееся в глубокой древности за власть над землей и сброшенное Зевсом в преисподнюю.

¹³ ...*благословениями бездны, лежащей долу...* — Бытие, 49:25.

¹⁴ Опубликовано 22 апреля 1927 г. в органе сионистской федерации Германии газете "Юдише Рундшау". Выходила в свет с 1895 по 1938 гг. Была закрыта после "Хрустальной ночи". Некоторое время издавалась нелегально. Данный текст

представляет собой интервью, которое Т. Манн дал польской газете "Ционистише Вельт".

Перевод выполнен по: "Вопрос и ответ. Интервью с Т. Манном 1909—1955". Гамбург, изд-во Альбрехта Кнауца, 1983, стр. 106—107.

¹⁵ ПЕН-клуб — международное объединение писателей, основанное в 1921 г. английским писателем Джоном Голсуорси. Отделения ПЕН-клуба существуют во многих странах. Т. Манн был членом ПЕН-клуба.

¹⁶ Немецкий Палестинский комитет — объединение, в которое входили как правые, так и левые политики, общественные деятели, публицисты — немцы и евреи. Комитет пропагандировал переселение евреев в Палестину, "поскольку это способствует развитию Востока и примирению народов". Т. Манн был членом Палестинского комитета. После поражения Германии в Первой мировой войне Немецкий Палестинский комитет прекратил свое существование. После вступления Германии в Лигу Наций он вновь начал функционировать в 1926 г.

¹⁷ Имеются в виду, главным образом, члены "Центрального союза немецких граждан Моисеевой веры" (основан в 1893 г.), который, подчеркивая "свою глубокую связь с немецким народом", выступал за полную ассимиляцию евреев.

¹⁸ Еврейский университет в Иерусалиме был открыт на горе Скопус в Иерусалиме в апреле 1925 г. при содействии М. Бубера, А. Эйнштейна, Х. Вейцмана. В июле 1918 г. Хаимом Вейцманом были заложены на том же месте первые 12 камней. Первую лекцию прочитал Альберт Эйнштейн, начав ее несколькими фразами на иврите, на котором в дальнейшем должно было вестись и ведется по сей день преподавание в этом университете.

¹⁹ Имеется в виду книга раввина Якоба Горовица "Рассказ об Иосифе".

²⁰ Мидианиты — потомки Мидиана, сына Авра-

ама от рабыни Хеттуры. Исмаильтяне — потомки Исмаила, сына Авраама от рабыни Агари. В некоторых местах Библия отождествляет исмаильтян с мидианитами.

²¹ Аммуру — встречается как географический термин, обозначающий "запад", — так именуются Сирия и Палестина, и как название кочевых племен погонщиков ослов, которые расселились в Сирии, Палестине и Месопотамии.

²² Гильгамеш — герой древнеавилонского эпоса III тысячелетия до н.э. Озирис — в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы; Таммуз — в древневосточных религиях умирающий и воскресающий бог плодородия и скотоводства.

²³ Новое царство — XVI—XI вв. до н.э.

²⁴ Речь идет о книге Адольфа Эрмана "Египет и египетская жизнь в древности", обработанной Германом Ранке (Тюбинген, изд-во И. Ц. Мора, 1923).

²⁵ Интервью было опубликовано в издававшемся в Иерусалиме "Палестинском бюллетене" от 10.4.1930 г. Ежедневная газета "Палестинский бюллетень" была основана в 1925 г., в 1930 г. переименована в "Palestine Post", в 1948 г. стала называться "Jerusalem Post"; выходит поныне.

Перевод выполнен по: "Вопрос и ответ. Интервью с Т. Манном 1909—1955". Гамбург, изд-во Альбрехта Кнауца, 1983, стр. 159—161.

²⁶ Эмек (Эмек Изреель — *ивр.*) — Изреельская долина, вторая по величине долина Израиля. Здесь имеются в виду киббуцы и мошавы, расположенные в этой долине.

²⁷ "Огель" ("Палатка") — израильская театральная группа, основана в 1925 г. как театр с яркой социальной направленностью. В репертуаре были произведения мировой драматургии, пьесы на библейские и современные темы. "Огель" с успехом гастролировал по Европе в 1934 г. Закрылся в 1969 г.

²⁸ "Габима" ("Сцена") — первый в мире профессиональный театр на иврите. Основан в 1927 г. в Москве Давидом Цемахом, Менахемом Гнесиным и актрисой Ханой Ровиной. Идея создателей — выразить революционные изменения в положении еврейского народа, содействовать возрождению иврита. Несмотря на сопротивление Евсекции, был открыт при поддержке Горького и Луначарского как студия при Художественном театре. Первое представление состоялось в 1918 г. В 1920 г. постановка пьесы С. Ан-ского (Раппопорта) "Диббук", переведенной на иврит Бяликом (гл. постановщик Вахтангов), принесла театру широкую известность. В 1926 г. труппа уехала на гастроли в Европу. В 1927 г. в коллективе театра произошел раскол, часть его во главе с Д. Цемахом осталась в США, а с 1931 г. обосновалась в Палестине. В 1958 г. театр "Габима" получил звание Национального театра Израиля.

²⁹ Т. Манн имеет в виду статью д-ра Магнеса "Как все народы?", в которой автор — сторонник духовного сионизма — выступает против создания еврейского государства. Статья И. Магнеса опубликована в: Y. Magnes. "Aufsätze zur zionistischen Politik". Jerusalem, Selbstverlag, 1930.

³⁰ Интервью под заголовком "Томас Манн о перспективах сионизма" впервые было опубликовано в венской газете "Фрейе Прессе" 26 октября 1930 г. Перепечатано в газете "Юдише Рундшау" 31 октября 1930 г.

Перевод выполнен по: Бюллетень института им. Лео Бека*, Иерусалим, 1967, № 10, стр. 55.

³¹ Речь, произнесенная Т. Манном по-английски в Нюрнберге по радио. Опубликована в "Палестинском бюллетене" 22 февраля 1932 г. Немецкий оригинал не сохранился.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XIII, стр. 477—479.

³² Речь идет о втором томе романа "Иосиф и его

братья” — “Юный Иосиф”.

³³ Начиная работать над романом “Иосиф и его братья”, Т.Манн предполагал, что роман будет двухтомным. Впоследствии книга так разрослась, что стала тетралогией.

³⁴ Интервью под заголовком “Томас Манн и еврейство” было опубликовано 25 января 1935 г. в еженедельной газете “Зельбствер”, органе сионистского движения Чехословакии (выходила с 1907 г. по 1938 г. в Праге). Это интервью, перепечатанное газетой “Паризер Тагеблатт” 28 января 1935 г. под заголовком “Томас Манн против антисемитизма”, послужило одним из поводов для лишения Т.Манна немецкого гражданства.

Перевод выполнен по: “Вопрос и ответ. Интервью с Т.Манном 1909—1955”. Гамбург, изд-во Альбрехта Кнауца, 1983, стр. 206—207.

³⁵ Т.Манн был в Палестине в феврале—апреле 1930 г.

³⁶ Речь идет о книге “Израиль среди народов”, оконченной Эрихом Калером в 1932 г. Т.Манн рекомендовал ее издательству С.Фишера. Набор книги был рассыпан нацистами. Ее первое издание состоялось в 1936 г. в Цюрихе. В Германии книга впервые вышла в свет в 1946 г.

³⁷ Ответ на анкету, составленную издателем журнала “Юдише Ревю” Манфредом Георге (1893—1966). Журнал выходил в издательстве “Некуда” в гор. Мукачево. Манфред Георге был впоследствии главным редактором журнала “Ауфбау” в Нью-Йорке. Опубликовано 19 ноября 1936 г.

Перевод выполнен по: Т.Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XII, стр. 783—784.

³⁸ *...чтобы я мог назвать себя филосемитом...* — это высказывание Т.Манна вряд ли находится в противоречии со статьей “О решении еврейского вопроса” 1907 г. (см. в наст. сб.), в которой он называет себя филосемитом. Там речь шла о доброжелательном отношении к евреям вообще, здесь

же для него важно подчеркнуть, что, хотя его отношение к отдельным евреям может быть разным, антисемитизм как систему взглядов он категорически отвергает.

³⁹ Статья написана в 1937 г. для каталога выставки Макса Либермана в венской галерее Отто Каллира; из-за напряженных отношений с Германией выставка в Вене не состоялась. В Берлине, где предполагалось ее открыть, она была запрещена нацистами. В результате выставка была открыта в галерее Отто Каллира в Нью-Йорке в июне 1944 г. Статья опубликована в журнале "Ауфбау" 9.6.1944 г.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Франкфурт-на-Майне, изд-во С.Фишера, 1986, стр. 817 (см. прим. к дневниковой записи от 9.12.1944 г.).

⁴⁰ Имеется в виду оккупация Чехословакии Германией в сентябре 1938 г.

⁴¹ "Аггада", присланная З.Гуггенгеймом Т. Манну, была иллюстрирована художниками из города Оффенбаха. *Аггада* — традиционный свод притч, легенд, нравоучительных историй и т.д.

⁴² ...*детски-гениальную фантастическую картину Нового Света...* — роман Ф.Кафки "Америка", написанный им в 1914 г.

⁴³ Доклад, прочитанный в Вашингтоне в Библиотеке Конгресса США 17 ноября 1942 г. Впервые опубликован по-английски в журнале "Атлантик Мансли", Нью-Йорк, № 2, 1943.

⁴⁴ "Гамлет", акт V, сцена 2.

⁴⁵ Речь идет о книге А. Розенберга "Миф XX века" (1930 г.). В ее названии демагогически используется пропагандируемое нацистами обращение к "исконно народному", к мифу. Розенберг, казненный в 1946 г. по приговору Нюрнбергского международного военного трибунала, в этой книге сформулировал идеологию "расы господ" и "теоретически" обосновал необходимость захватнических войн.

⁴⁶ Антропософия — мистическая доктрина, разновидность философии, созданная Рудольфом Штейнером (1861—1925). Представляет собой попытку заменить традиционную религию. Содержит фантастическое толкование различных областей знания, а также методику развития предполагаемых "тайных способностей" человека к духовному господству над природой. Получила особое распространение среди германской интеллигенции после Первой мировой войны.

⁴⁷ В конце июня 1933 г. Т. Манн жил в городке Санари-сюр-Мер на юге Франции.

⁴⁸ Мутаменет, жена египетского вельможи Потифара, у которого служил Иосиф, влюбилась в Иосифа, но он отверг ее. Тогда Мутаменет обвинила его в насилии над ней. По ее ложному обвинению Иосиф был заточен в темницу.

⁴⁹ ... в землю Ханаанскую — в Палестину.

⁵⁰ Гермес — в древнегреческой мифологии сын Зевса, вестник олимпийских богов, покровитель пастухов и путников, бог торговли и прибыли.

⁵¹ Эон — отрезок времени геологической истории. Здесь в смысле "новая эпоха".

⁵² Перевод выполнен по английскому оригиналу письма, находящегося в Центральном сионистском архиве в Иерусалиме (№ Z 5/1432).

⁵³ Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1960, т. XI, стр. 1050—1053.

⁵⁴ Рассказ "Моисей" впоследствии стал называться "Закон".

⁵⁵ Сборник рассказов "Десять заповедей" со вступительным рассказом Т. Манна "Закон" вышел на английском языке отдельным изданием в Лондоне и Торонто в издательстве Касселя в 1945 г. Предисловие написал бывший федеральный канцлер Австрии Артур Шушниг. Фильм "Десять заповедей" был поставлен в США по сценарию жены

Бруно Франка Лизль Франк режиссером Армином Робинсоном.

⁵⁶ Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XI, стр. 1070—1072.

⁵⁷ Т. Манн произнес доклад "Гибель евреев Европы" на митинге в Сан-Франциско 18 июня 1943 г. Немецкий оригинал текста не сохранился. Обратный перевод с английского был опубликован в журнале "Ауфбау" 9.7.1943 г.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., 1974, т. XIII, стр. 498—502.

⁵⁸ Статья "О "Белой книге" была написана Т. Манном по просьбе раввина Голливуда Макса Нуссбаума. "Белая книга" — отчет о политических мероприятиях британского правительства, представляемый парламенту. С 1922 по 1939 гг. было выпущено шесть "Белых книг". В "Белой книге" 1922 г. Черчилля признавалась необходимость иммиграции евреев в Палестину "с учетом экономической емкости страны в каждый данный момент". В "Белой книге" Пасфилда 1930 г. было записано, что "иммиграция должна быть приостановлена, если она препятствует получению работы арабами". В результате протеста Х. Вейцмана этот пункт был снят. "Белая книга" Макдональда 1939 г. ограничивала еврейскую иммиграцию: "При неограниченном расширении Еврейского очага в стране воцарится "право сильного", поэтому в течение последующих пяти лет число иммигрантов не должно превышать 75 тыс. в год, а по истечении пятилетнего срока въезд в страну должен быть запрещен, если арабы будут возражать против иммиграции". Эти установления были восприняты как отказ Британии от принятых ею на себя обязательств.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1986, стр. 798—801. (См. прим. к дневниковой записи от 3.1.1944).

⁵⁹ В 1940 г. У. Черчилль стал премьер-министром Англии.

⁶⁰ Декларация Бальфура — документ, в котором правительство Великобритании впервые официально выразило свое благожелательное отношение к сионистским устремлениям евреев всего мира. Была направлена в виде письма британским министром иностранных дел Артуром Джеймсом Бальфуром на имя лорда Лайонела Уолтера Ротшильда 2 ноября 1917 г.

⁶¹ Вильсон Вудро Томас — президент США с 1913 по 1921 гг.

⁶² Рузвельт Франклин Делано — президент США с 1933 по 1945 гг.

⁶³ Эта статья-протест против преследования венгерских деятелей культуры — евреев была написана 26 июня 1944 г. Немецкий оригинал статьи не найден.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1986, стр. 811—812 (см. прим. к дневниковой записи от 26.6.1944).

⁶⁴ Статья “Упорный народ” была опубликована в сборнике к семидесятилетию Хаима Вейцмана. Немецкий оригинал не сохранился. Перевод выполнен по обратному переводу с английского по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XIII, стр. 509—512.

⁶⁵ Амос — библейский пророк, живший в Израильском царстве в 8 веке до н.э. Направлял свой гнев против социальных и моральных пороков, проповедовал идеал простой и праведной жизни. Подчеркивал важность социальной этики.

Иезекиил — библейский пророк. Уведен в плен в 597 г. до н.э. в Вавилон и там умер. Первый пророк диаспоры и духовный вождь иудейских изгнанников в Вавилонии, пророчествовал о наказании Израиля за нарушение Завета, а также о будущем возрождении.

⁶⁶ Рукопись этого обращения находится в част-

ных руках. Точная дата выступления неизвестна.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XIII, стр. 513.

⁶⁷ Это письмо отсутствует в немецком собрании писем Т. Манна. Находится у адресата.

⁶⁸ Ф. Вольтер (1694—1778) был антисемитом, что отразилось в его творчестве, в частности, в "Философском словаре" в статьях об Аврааме, Иакове, Талмуде и др. Томас Манн подчеркивает, что его вдохновляли юмористические стороны творчества Вольтера, но отнюдь не антисемитская направленность произведений последнего.

⁶⁹ Речь на митинге в Нью-Йорке 29 октября 1945 г. На митинге присутствовали Трумэн, Альберт Эйнштейн и многие политические и общественные деятели Америки. Опубликована в журнале "Ауфбау" 16 ноября 1945 г.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Собр. соч. на нем. яз., т. XIII, стр. 514.

⁷⁰ Статья опубликована в журнале "Ауфбау" 26 марта 1948 г.

Перевод выполнен по: Т. Манн. Дневники 1944—1946. Франкфурт-на-Майне, изд-во С. Фишера, 1986, стр. 834 (см. прим. к дневниковой записи от 16.12.45).

После принятия Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 г. решения о разделе Палестины госдепартамент США предпринимал попытки предотвратить создание Еврейского государства. Название статьи должно напомнить читателям о Мюнхенском соглашении — предательстве европейских держав по отношению к Чехословакии.

⁷¹ Письмо д-ру Иехуде-Леону Магнесу в оригинале написано по-английски. В настоящее время находится в архиве И.-Л. Магнеса при Иерусалимском университете (№ P3/222). (*Перевод с английского выполнен С. Векслер.*)

⁷² "Нейшн" — журнал американской общественной группы "Нейшн Ассошиэйтед", члены которой,

евреи и неевреи, придерживались тогда просионистской ориентации.

⁷³ 19 марта 1948 г. на заседании Совета Безопасности ООН США заявили, что отменяют свое согласие на создание Еврейского государства.

⁷⁴ Арабская Лига — объединенная организация, возникшая для координации действий арабских государств. Основана 22 марта 1945 г. по инициативе министра иностранных дел Англии Идена на состоявшейся в Каире конференции представителей арабских стран. Главное в работе Арабской Лиги на протяжении почти всех лет ее существования — антиизраильская деятельность, разработка планов уничтожения Израиля.

АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ИМЕН

Анджелл Джозеф (р. 1908) — американский литературовед, инициатор создания архива Т. Манна при Йельском университете. В статье "О создании архива документов" (журн. "Мас унд Верт", ноябрь-декабрь 1938 г.) Т. Манн благодарит его основателей и пишет о важности подобных архивов.

Баб Юлиус (1880—1955) — драматург, театральный критик. Автор книг "Человек на сцене", "Хроника немецкой драмы" и др. Возглавил "Еврейский культурбунд" (1933—1941), который объединял писателей, театральных деятелей, музыкантов; в рамках этого союза были созданы драматический театр, опера, два симфонических оркестра, хоры. "Культурбунд" давал представления во многих городах Германии. Юлиус Баб эмигрировал в 1933 г. в США.

Бартельс Адольф (1862—1945) — писатель и литературовед. Автор "Истории немецкой литературы". Пропагандист идеи расовой исключительности. Его антисемитские концепции оказали влияние на нацистскую литературу.

Баутелл Кларус (р. 1908) — американский журналист, сотрудник газеты "Нью-Йорк Пост".

Бауэр Вилли (р. 1907) — обвинитель на процессе по денацификации в округе Ойтен. (Процесс по денацификации — судебное разбирательство о причаст-

ности к нацистским преступлениям. В случае неподтверждения активной нацистской деятельности суд выдавал свидетельство о денацификации.)

Бек Лео (1873—1956) — немецкий реформистский раввин и религиозный мыслитель. Был главным раввином Берлина, председателем объединения раввинов Германии, председателем немецкой ложи "Бней-Брит". Автор фундаментального труда "Сущность еврейства". Преподавал в Высшей школе иудаизма в Берлине до ее закрытия в 1942 г. С 1943 г. узник концлагеря Терезиенштадт. После освобождения поселился в Лондоне. В 1955 г. в Иерусалиме был создан Институт им. Лео Бека в целях сбора материалов и исследований по истории еврейских общин Германии. Филиалы института находятся в Лондоне и Нью-Йорке. Бюллетень института издается в Тель-Авиве.

Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ-интуитивист, один из крупнейших философов XX века.

Бен-Хорин Шалом (р. 1913) — уроженец Мюнхена, изучал германистику и сравнительную теологию в Мюнхенском университете. Теолог, писатель, активный деятель многочисленных обществ по установлению контактов между израильянами и немцами и между христианами и евреями. В 1935 г. эмигрировал в Эрец-Исраэль. Автор книг "Моя вера — моя судьба" (1984), "Еврейская вера" (1983), "Еврейская этика" (1975) и др. Профессор теологии Мюнхенского университета. Сотрудник многих газет и журналов в Израиле и за границей. Переписывался с Т. Манном. Живет в Иерусалиме.

Берто Феликс (1881—1948) — французский германист и переводчик некоторых произведений Т. Манна. С 1924 г. публиковал статьи о нем и его твор-

честве. Автор "Истории немецкой литературы начиная с Гауптмана". Составитель антологии французской поэзии, в рецензии на которую Т.Манн писал: "Берто четко и тонко анализирует то общее, что присуще как немецкой, так и французской молодежи, — новое восприятие жизни, которое находит свое выражение в поэзии молодых как на этой, так и на той стороне Рейна". (Журнал "Дейч-францёзише Рундшау", 1931 г.)

Бертрам Эрнст (1884—1957) — литературовед и поэт, автор трудов о Ницше. Принадлежал к кругу поэта-символиста Стефана Георге. Долгое время был одним из самых близких друзей Т.Манна. Реакционно-националистические взгляды Бертрама — он приветствовал установление нацистской диктатуры — стали причиной разрыва между ними. Призывал Т.Манна вернуться в нацистскую Германию. Томас Манн в письме к нему от 30 июля 1934 г. писал: "Слишком многое стоит между нами. Вы одобряете то, что мне до глубины души отвратительно, и одновременно приглашаете служить этому делу вместе с Вами".

Бехер Иоганнес Роберт (1891—1955) — крупный поэт и романист. В юности отдал дань экспрессионизму. Автор поэтических сборников "Труп на троне" (1925), "Искатель счастья и семь пороков" (1938), романа "Прощание" (1940) и др. О его сборнике "Искатель счастья и семь пороков" Т.Манн писал: "Великая книга, поэзия, которая, может быть, вернее всего воплощает наше время и наши тяжелые переживания. Для меня ее особенность, ее красота и привлекательность в соединении традиции и будущего, которое она изображает".

В 1933 г. Бехер эмигрировал в Париж, затем в СССР. Редактор немецкого издания советского журнала "Интернациональная литература" (ныне "Иностранная литература"). В 1945 г. вернулся в

Восточную Германию. С 1954 г. и до своей смерти был министром культуры ГДР.

Билликопф Якоб (1883—1950) — американский общественный деятель, директор Еврейского филантропического общества.

Бисмарк Отто (1815—1898) — немецкий государственный деятель. С 1862 г. премьер-министр и министр иностранных дел Пруссии. В 1871 г. осуществил объединение Германии под главенством Пруссии. В 1871—1890 гг. — рейхсканцлер Германской империи.

Блунк Ганс Фридрих (1888—1961) — поэт, романист, драматург. Представитель нацистской литературы "крови и почвы". С 1933 г. председатель имперской палаты по делам печати. Часто выезжал за границу с пропагандистскими целями. В декабре 1933 г. предложил Т.Манну вступить в Имперскую палату по делам печати, но Т.Манн решительно отказался.

Блюм Леон (1872—1950) — французский социалист. В 1936—37 гг. премьер-министр правительства Народного фронта. Входил в состав Еврейского агентства, членами которого с 1929 г. были как сионисты, так и несионисты. В 1942 г. арестован правительством Виши. С 1943 по 1945 гг. узник нацистского концлагеря. Автор доктрины "гуманистического социализма".

Блюме — берлинский врач-невропатолог.

Бой-Эд Ида (1852—1928) — немецкая писательница, автор романов и рассказов, действие которых происходит главным образом в Любеке, родном городе Т.Манна ("История ганзейского города", "Королевский купец" и др.). "Большой успех, ко-

того она добилась, объясняется не уступками публике, а ее приверженностью правде, богатством жизненного опыта, ее реализмом". (Т. Манн. "К семидесятипятилетию Иды Бой-Эд", 1927 г.).

Борджиа Чезаре (ок. 1475—1507) — герцог, представитель итальянского аристократического рода испанского происхождения, пользовался абсолютной властью, стремился создать мощное государство. (Прототип Государя в книге Никколо Макиавелли "Князь").

Брентано Бернгард фон (1901—1964) — немецкий писатель; принадлежал к роду известного писателя-романтика Клеменса Брентано. В 1933 г. эмигрировал в Швейцарию. Автор книги "Начало варварства в Германии".

Брехт Бертольд (1898—1956) — писатель, поэт, драматург, реформатор театра, автор теории "эпического театра". С 1933 г. в эмиграции, с 1941 г. в США. В 1947 г. вернулся в Восточную Германию; в 1949 г. основал там театр "Берлинер Ансамбль". Т. Манн относился к его творчеству весьма сдержанно.

Бромфилд Луис (1896—1956) — американский писатель, автор популярных романов "Ранняя осень", "Пошли дожди" и др. Автор одной из новелл изданного по инициативе Т. Манна сборника "Десять заповедей".

Бубер Мартин (1878—1965) — философ, религиозный мыслитель, теоретик сионизма, один из духовных лидеров своего поколения. С 1901 г. редактор центрального органа сионистского движения еженедельника "Ди Вельт", в котором отстаивал необходимость обновления еврейской культуры. В 1903 г. ушел из редакции "Ди Вельт" и основал в

Берлине издательство "Юдишер Ферлаг".

Занимался исследованием хасидизма, написал книги "Гог и Магог", "Свет сокровенный", "Сад хасидизма", "Я и Ты". Перевел на немецкий язык рассказы р. Нахмана из Брацлава. В 1916 г. основал в Берлине ежемесячный журнал "Дер Юде", который стал важнейшей трибуной еврейского духовного возрождения в Центральной Европе. Перевел на немецкий (совместно с Ф. Розенцвейгом, до его смерти в 1929 г.) Библию. В 1933 г. — директор Центра еврейского образования для взрослых в Берлине — после того, как евреям было запрещено учиться в немецких университетах. С 1938 г. жил в Иерусалиме; профессор социальной философии в Еврейском университете. Первый президент Израильской Академии наук.

Вагнер Рихард (1813—1883) — крупнейший немецкий композитор, создатель музыкальных драм, в которых стремился к органическому слиянию музыки, слова и жеста. Оказал огромное влияние на позднеромантическую и послеромантическую музыку. В жизни Т. Манна музыка Вагнера играла большую роль. Он посвятил его творчеству доклад: "Величие и страдания Рихарда Вагнера", статью "Вагнер и 'Кольцо Нибелунгов'" и др. Постоянно упоминал о нем в своих дневниках и письмах.

Вагнер — автор брошюр "Искусство и народ" (1848), "Искусство и революция" (1849), "Опера и драма" (1852). Вагнер часто обращался к германским мифам в качестве сюжетов для своих музыкальных драм, что было причиной его особой популярности в нацистское время. Спекулируя на вагнеровской трактовке германского мифа как "олицетворения бесклассовой народности", нацисты ввели в обиход удобный для прикрытия их истинных целей термин "народная общность".

Вагнер был ярким антисемитом. Например, в своей брошюре "Еврейство в музыке" (1850) он

утверждал, что у евреев отсутствует творческое начало: "У еврея никогда не было собственной музыки, жизнь его лишена содержания, способного породить искусство... чуждым и безучастным остается образованный еврей в обществе, которое он не понимает, склонностям и стремлениям которого не симпатизирует, история и развитие которого ему безразличны". Актер, исполнявший роль отвратительного похотливого гнома Альбериха, жаждущего овладеть золотом (опера "Золото Рейна"), по указанию Вагнера должен был обладать еврейской внешностью и петь с еврейским акцентом.

"Романтическое обращение Вагнера к народу это и есть идеал национал-социализма", — писал Т. Манн. В статье "Письма Рихарда Вагнера" (1940) — ответе на присланную Т. Манну статью Петера Фирэка "Гитлер и Рихард Вагнер" Т. Манн пишет: "Я нахожу нацистский элемент не только в сомнительной 'литературе' Вагнера, я нахожу его также в его 'музыке'".

Вальтер Бруно (1876—1962) — всемирно известный немецкий дирижер, прославился интерпретацией сочинений Г. Малера и В.-А. Моцарта. Один из самых близких друзей Т. Манна. В 1933 г. эмигрировал в Австрию. После того, как в 1938 г. нацисты арестовали его дочь, Бруно Вальтер, находившийся в то время на гастролях в Голландии, разорвал контракт и не вернулся в Вену. В 1940 г. эмигрировал в США. Поздравляя Б. Вальтера с пятидесятилетием его дирижерской деятельности, Т. Манн писал: "Великие дирижеры — воспитатели уже в силу своей профессии, а если они больше, чем просто профессионалы, — это само собой разумеется, — если они великие дирижеры, то их желание воспитывать, их вера в воспитание простирается значительно дальше — на сферу общенравственную, в мир человеческого и политического". В день восьмидесятилетия Т. Манна Б. Вальтер специально

прилетел из США, чтобы продирижировать в честь юбиляра "Маленькой ночной серенадой" Моцарта.

Вассерман Август фон (1866—1925) — немецкий бактериолог и иммунолог. Разработал (совместно с А. Нейссером) метод диагностики сифилиса (1906).

Вассерман Якоб (1873—1934) — известный немецкий писатель. Жил в Мюнхене и Вене. Автор романов "Цирндорфские евреи", "Дело Маурициуса" и др., автобиографической книги "Мой путь как немца и еврея". Сторонник ассимиляции евреев. Несмотря на это, подписал в числе других общественных деятелей Европы, евреев и неевреев, в 1930 г. "Обращение к советскому правительству" — протест против инспирированного Евсекцией запрета изучать иврит в Советском Союзе. (С призывом подписать "Обращение" обратились к деятелям культуры Европы один из сионистских руководителей Якоб Клячкин и немецкий писатель, еврей Арнольд Цвейг.)

В предисловии к книге Марты Карльвейс о Вассермане Т. Манн писал: "...Он вышел из низов, темноты и лишений. Он голодал. Потом благодаря своей огромной одаренности, упорнейшему труду и продиктованному самыми нравственными мотивами честолюбию вознесся, окруженный похвалами, на высоты блестящей жизни, стал звездой мировой романистики... И в то же время в основе его мировосприятия всегда была грусть, он оставался мрачным, пессимистичным; недоверчивым был его взгляд, которым он смотрел на свое счастье, свои колоссальные успехи... Он не верил им. Люди, говорил он, его немцы, не доверяют ему, потому что он еврей..." (1935).

Вейцман Хаим (1874—1952) — крупнейший деятель сионистского движения, известный химик, первый президент государства Израиль. Президент Все-

мирной сионистской организации (1920—1931, 1935—1946). При его содействии была опубликована Декларация Бальфура. Один из основателей Еврейского университета в Иерусалиме. Принимал активное участие в деятельности еврейской делегации на Генеральной Ассамблее ООН в 1947 г. Заручился согласием Трумэна на заем в 100 млн. долларов для развития еврейского государства. Основал в Реховоте научно-исследовательский институт, который теперь носит его имя.

Вольфскель Карл (1869—1948) — немецкий поэт. Т. Манн знал его по Мюнхену, в культурной жизни которого Вольфскель играл значительную роль. В 1933 г. эмигрировал в Швейцарию. В его творчестве после 1933 г. наличествуют еврейские темы ("Песня об эмиграции", "Иов", "Псалмы", "Голос зовет").

Гамсун Кнут (наст. фам. Педерсен, 1859—1952) — норвежский писатель, автор знаменитых романов "Голод", "Благословение земли", "Пан" и др. Лауреат Нобелевской премии (1920). В 1935 г. вступил в национал-социалистическую партию Квислинга, во время оккупации Норвегии нацистами призывал народ поддерживать Германию. Был осужден за сотрудничество с нацистами.

Гарден Максимилиан (1861—1927) — немецкий эссеист, критик, сатирик. Основатель и редактор журнала "Ди Цукунфт", в котором резко критиковал кайзеровскую Германию. Критиковал слабость правительства Веймарской республики, был противником национал-социализма. Автор книг "Берлин — театральная столица", "Головы", "О Версале и после Версаля".

Гауптман Герхарт (1862—1946) — крупнейший немецкий драматург и романист, глава натурали-

стического направления в немецкой литературе. Нобелевский лауреат (1912). Автор пьес "Перед восходом солнца" (1889), "Затонувший колокол" (1897), "Ткачи" (1897) и др. В период нацизма оставался в Германии. "Роль мученика он отверг, — писал Т. Манн, — в его жизни "захват власти" не должен был ничего изменить. Он вывесил флаг со свастикой и написал: "Я говорю 'да' ". Я не считаю уместным высказывать обобщающее суждение по поводу отхода Гауптмана от позиции демократа к национал-социализму... его демократия с самого начала была сильно окрашена национализмом. То, что происходит сегодня, не вызывает его протеста; возможно, Гауптман убежден в правильности принципов национал-социализма, хотя у меня насчет этого большие сомнения..." (из статьи "Литература и Гитлер", 1934 г.). "Конечно, он несказанно страдал в спертom, пропахшем кровью воздухе Третьей империи, несказанно терзался, видя, как гибнут страна и народ, которые он любил" ("На смерть Гауптмана", 1946).

Георге Стефан (наст. фам. Генрих Абелес; 1868—1933) — поэт, один из видных представителей немецкого символизма, глава так называемого "круга Георге". В программном стихотворении "Поэт в годы смуты" утверждал, что народ — темная сила, будущее должно принадлежать "аристократии духа". Объективно его идеи значительно содействовали развитию нацистского движения (об этом писал и Т. Манн), однако Георге отказался от предложенного ему нацистами президентства в созданной ими в 1933 г. "Академии поэзии" и эмигрировал в 1933 г. в Швейцарию из протеста против спекулятивного использования его имени для пропаганды нацистской идеологии. Когда он умер, нацистские власти намеревались устроить ему государственные похороны, но Стефан Георге завещал "не хоронить его в немецкой земле".

Гессе Герман (1877—1962) — крупный немецкий романист и поэт. С 1921 г. жил в Швейцарии. Нобелевский лауреат (1946). Дебютировал в 1919 г. романом "Демиан. История одной молодой жизни" (под псевдонимом Синклер), который принес ему широкую известность. Автор романов "Степной волк" (1930), "Игра в бисер" (1943) и др. Близкий друг Т.Манна.

Гельдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770—1843) — крупнейший немецкий лирический поэт. Идеал гуманизма видел в античной Греции. В своих "Гимнах" обличал тиранию. Т.Манн назвал Гельдерлина в числе "великих немцев, бросающих в лицо Германии беспощадные истины".

Герцог Вильгельм (1884—1960) — немецкий писатель и публицист еврейского происхождения. Главный редактор мюнхенского журнала "Форум", запрещенного в 1915 г. за антивоенную направленность. В 1933 г. эмигрировал в Швейцарию, затем в США. В письме к Альберту Эйнштейну от 4 августа 1941 г. Т.Манн просит "замолвить слово" перед государственным департаментом и попросить продлить Герцогу визу для въезда в Америку. В 1947 г. Герцог вернулся в Базель, в 1952 — в Германию.

Глезер Эрнст (1902—1963) — немецкий поэт и публицист. Автор нашумевшего романа "Год рождения — 1902" (1928), переведенного на 25 языков. Книга сожжена нацистами в 1933 г. как пацифистская. Эмигрировал в Швейцарию. Впоследствии сотрудничал с нацистами.

Гольдберг Оскар (1885—1952) — немецкий востоковед и теолог. Жил в Берлине. После прихода к власти нацистов эмигрировал во Францию, затем в США. Автор книг "Пятикнижие" (1908), "Дей-

ствительность евреев" (1925), "Маймонида" (1935); сотрудничал в журнале "Мас унд Верт". Согласно его теории, изложенной в сочинении "Действительность евреев", существуют так называемые "метафизические народы", которые поддерживают связь между собой и Богом посредством магических ритуалов и этим способствуют тому, что Бог существует в мире, и есть народы, потерявшие метафизическую силу. Метафизическая сила евреев состоит в том, что они соблюдали законы и установления Торы в их буквальной и точной интерпретации. Однако, начиная с эпохи Пророков, метафизическая сила евреев стала угасать. Сторонники этой теории Гольдберга пользовались в двадцатых годах известным влиянием. О. Гольдберг послужил Т. Манну прототипом при создании образа Хаима Брейзахера в романе "Доктор Фауст".

Горовиц Владимир (1904—1989)—американский пианист-виртуоз родом из России. Зять Артуро Тосканини.

Граф Оскар Мариа (1894—1967) — немецкий писатель. Участник революционного движения в Баварии. Автор широко известного романа "Мы — пленные" (1927).

11 мая 1933 г., на следующий день после сожжения нацистами книг прогрессивных писателей, опубликовал в венской газете "Арбайтерцейтунг" протест под заголовком "Сожгите меня", получивший широкое распространение во всем мире. В нем, в частности, говорилось: "...как сообщает 'Берлинер Берзенкурир', мое имя помещено в *белом* списке авторов новой Германии, и все мои книги, кроме главной — "Мы — пленные", оказались в числе *рекомендуемых*! Итак, я призван быть представителем 'нового' немецкого духа! Напрасно я спрашиваю себя, чем я заслужил этот позор. Третья империя изгнала почти все, что есть зна-

чительного в литературе, большинство писателей ушли в изгнание, и их произведения в Германии запрещены. ...представители этого варварского национализма, которые не имеют ничего, совершенно ничего общего с Германией, смеют претендовать на то, чтобы я представлял их 'духовную' культуру, записали меня в так называемый *белый* список, который совесть мира может считать только черным. Этого бесчестия я не заслужил! Вся моя жизнь и мое творчество дают мне право требовать, чтобы мои книги были преданы чистому пламени и не попали в обгаренные кровью руки и в извращенные мозги коричневых бандитов". В 1933 г. эмигрировал.

Грин Жюльен (1900—?) — французский писатель американского происхождения. В 1940 г. эмигрировал в США; поддерживал французское Сопротивление своими выступлениями и статьями.

Гуггенгейм Зигфрид (1893—1961) — немецкий юрист, библиофил. Издал в 1927 г. "Оффенбахскую аггаду", иллюстрированную художниками из города Оффенбаха. В Оффенбахе была одна из самых старинных синагог в Германии. В 1933 г. эмигрировал в США.

Гумм Рудольф Якоб (1895—1977) — швейцарский писатель, драматург и журналист.

Дёблин Альфред (1878—1957) — писатель-экспрессионист, автор знаменитого романа "Берлин — Александерплац". Печатался в авангардистском журнале "Дер Штурм". В 1933 г. вышел из Прусской Академии искусств. Эмигрировал в Париж, где в 1936 г. получил французское гражданство, затем в США. После войны жил в Париже. В эмиграции написал книгу "Бегство и преображение еврейского народа".

Декарт Рене (1596—1650) — французский философ-дуалист, физик, математик. Жил в Нидерландах; в учении о познании — родоначальник рационализма и сторонник учения о врожденных идеях.

Демель Рихард (1863—1920) — немецкий писатель. Лирик, драматург и эссеист, близкий к натурализму и к экспрессионизму. Автор поэмы "два человека", драмы "Михель и Михаэль", дневников военного времени "Между народом и человечеством". Восторженно отозвался о первых писательских опытах молодого Т. Манна и предсказал ему большое литературное будущее.

Джекобсон Анна (1888—1972) — американский профессор германистики, автор ряда статей о Т. Манне.

Дю-Бо Шарль (1882—1939) — французский литературовед, критик и переводчик.

Земплини-Нейман Клара — венгерская писательница. В 1944 г. жила в эмиграции в Аргентине.

Кайзерлинг Герман граф (1880—1946) — немецкий философ и историк культуры. Был знаком с Т. Манном с 1919 г. Организовал в Дармштадте знаменитую в двадцатые годы "Школу мудрости", где на ежегодных конференциях на тему "Реформы культуры и жизни" выступали среди других Карл Юнг, Рабиндранат Тагор. В период нацизма школа была закрыта.

Калер Эрх фон (1885—1970) — историк, социолог, философ. Близкий друг Т. Манна с 1919 г. Эмигрировал в 1933 г. С 1938 г. — в США. Много писал о Т. Манне. Автор книги "Израиль среди народов".

Карльвейс Марта — вторая жена Якоба Вассерма-

на. Т. Манн написал предисловие к ее книге "Якоб Вассерман. Образ, борьба и творчество".

Кардорф Зигфрид (1873—1945) — лидер Немецкой народной партии. С 1920 по 1932 гг. был депутатом рейхстага. Выступал за союз буржуазных партий Центра против поднимающего голову национал-социализма.

Каросса Ганс (1878—1956) — немецкий писатель и врач. Автор, главным образом, автобиографических произведений. В 1933 г. отказался вернуться в Прусскую Академию искусств, однако в 1941 г. был назначен президентом основанного в Веймаре "Европейского объединения писателей". Использовал свое положение для помощи писателям — противникам нацистского режима.

Кауфман Фриц (1891—1958) — историк философии. В 1934—1936 гг. доцент в "Высшей школе иудаизма" в Берлине. Автор книги "История философии. Философия XX века". Эмигрировал в США.

Кафка Франц (1883—1924) — крупнейший австрийский писатель, еврей, оказавший большое влияние на развитие европейской литературы. Жил в Праге. Автор новелл и романов "Америка", "Процесс", "Замок". Один из самых любимых писателей Т. Манна, который писал, что Кафка принадлежит к немногим писателям, по произведениям которых он "испытывает голод".

Келлер Готфрид (1819—1890) — швейцарский писатель демократических убеждений. Автор широко известного романа "Зеленый Генрих".

Кереньи Карл (1897—1973) — венгерский филолог и историк религии. С 1934 г. переписывался с Т. Манном.

Керр Альфред (наст. фам. Кемпнер; 1867—1948) — ведущий берлинский театральный критик, автор книг "Мир в произведениях драматического искусства" (в 5 томах), путевых очерков "Мир в свете". Эмигрировал в 1933 г. в Париж, в 1935 в Лондон, где работал на радиостанции Би-Би-Си. К Т. Манну относился враждебно.

Кинбергер — личность установить не удалось.

Клагес Людвиг (1872—1956) — немецкий философ-иррационалист, представитель т. наз. "Философии жизни", писал работы по характерологии и графологии.

Клее Пауль (1879—1940) — известный швейцарский художник. До 1933 г. преподавал в знаменитой художественной школе "Баухауз", основанной в 1919 г.

Кнопф Альфред (1892—1964) — американский издатель, близкий знакомый Т. Манна, публиковал его произведения с 1924 г. Первая поездка Т. Манна в 1934 г. в США в связи с изданием "Историй об Иакове" состоялась по приглашению Кнопфа.

Кольб Аннетта (1875—1967) — немецкая писательница и переводчица французского происхождения, друг Кати и Томаса Маннов. Автор биографий Моцарта, Шуберта, Вагнера, автобиографической книги "Качели" и др. Уехала из Германии в 1933 г. в знак протеста против шовинизма и антисемитизма. С 1941 г. жила в США, с 1945 г. в Европе.

Кон Бернгард Эмиль (1881—1948) — раввин и писатель. В 1933 г. был арестован нацистами. Автор книг "Еврейство" (1923) и "Еврейская история" (1936), которые читал Т. Манн.

Кольмерс — главный врач больницы в городе Кобурге.

Коринт Ловис (1858—1925) — живописец и график. Импрессионист. Президент берлинской секции "Сецессион" ("Разрыв"), оппозиционного объединения художников, порвавших с рутинным академическим искусством.

Кокошка Оскар (1886—1980) — австрийский художник и драматург. С 1920 г. профессор Художественной академии в Дрездене. Один из руководителей "Сецессиона". Его пьесы "Убийца, надежда женщин" и "Иов" ставил Макс Рейнгардт, музыку к ним написал Пауль Хиндемит. В 1934 г. эмигрировал в Прагу. Тема многих его антифашистских картин — Гражданская война в Испании. С 1938 по 1952 гг. жил в Лондоне, с 1953 — в Швейцарии.

Корроди Эдуард (1885—1955) — швейцарский публицист и литературный критик. Хороший знакомый Т. Манна, автор многих статей о нем.

Кусевицкий Сергей (1874—1951) — русский дирижер, контрабасист-виртуоз. В 1920 г. эмигрировал из России. В 1924—1949 гг. — главный дирижер Бостонского оркестра. Внес большой вклад в пропаганду русской музыки.

Кьеркегор Сёрен (1813—1855) — датский теолог, философ, писатель. Предшественник экзистенциализма. Автор книг "Или — или", "Страх и трепет", "Философские крохи" и др.

Ласкер-Шюлер Эльза (1876—1945) — крупнейшая немецкая лирическая поэтесса. Близкая знакомая семьи Маннов. Автор стихотворного цикла "Еврейские баллады", многих лирических стихотворений, очерка "Страна евреев", трех пьес. В пьесе

”Артур Аронимус и его отцы” (1932) пророчески предсказала судьбу евреев Германии (”Ваших сестер сожгут на костре”). Эмигрировала в 1933 г. в Цюрих, с 1939 г. жила в Иерусалиме. Ее книги нацисты уничтожали.

Лев Десятый Медичи (1475—1521) — с 1515 по 1521 гг. папа Римский. Довел до скандальных размеров торговлю индульгенциями, что вызвало резкую критику Лютера. Отлучил Лютера от церкви.

Лафлин Джеймс (1914—?) — американский издатель. Издавал современную европейскую литературу.

Лессер Ионас (1896—1968) — австрийский филолог и писатель. Эмигрировал в Лондон в 1938 г. Автор обширного исследования ”Томас Манн в эпоху его зрелости” (1952).

Либерман Макс (1847—1935) — крупнейший немецкий художник, главный представитель импрессионизма в немецкой живописи. С 1899 по 1911 гг. Президент берлинской секции ”Сецессион”. С 1920 г. и до прихода к власти нацистов — президент Прусской Академии искусств. Написал несколько портретов Т. Манна, в том числе в 1925 г. — для десяти томного издания его сочинений. Несмотря на многочисленные предложения нацистов креститься, отказался: ”Я родился евреем и умру евреем”. Нацистская пресса писала, что Либерман — ”символ обьевреивания немецкого искусства”. 8 мая 1933 г. заявил о своем выходе из Прусской Академии искусств: ”По моему убеждению искусство не имеет ничего общего ни с политикой, ни с происхождением”. Подписал в 1930 г. протест против запрещения изучать иврит в Советском Союзе.

Макс Либерман был далек от сионизма, но после прихода к власти нацистов пересмотрел свои

взгляды. Он получил приветственное письмо от Бялика и мэра Тель-Авива М. Дизенгофа. В своем ответе им М. Либерман писал: "Мы должны отказаться от мечты об ассимиляции. К сожалению, я слишком стар, чтобы переселиться в Палестину, но это — единственный выход". Гроб Либермана провожало всего четыре художника, в их числе знаменитая художница-график Кете Кольвиц, противница нацистского режима. 83-летняя вдова М. Либермана отравилась перед депортацией.

Линкольн Абрахам (1809—1865) — президент Соединенных Штатов с 1860 по 1865 гг., сторонник освобождения негров.

Лион Фердинанд (1893—1965) — немецкий литературовед и эссеист. В 1933 г. эмигрировал в Швейцарию. Сотрудник журнала "Мас унд Верт". В предисловии к его книге "Томас Манн" Т. Манн писал: "Это очаровательная работа, стилистически безусловно изящная, написанная с фантазией и остроумием, — почти поэзия — своевольная, окрашенная авторской индивидуальностью и в высшей степени правдивая. Это роман о нашем времени, в котором моя скромная фигура с большим искусством вставлена в рамку эпохи". (1947 г., не опубликовано, находится в архиве Т. Манна в Технологическом институте в Цюрихе).

Лукач Георг (1883—1971) — венгерский философ-марксист и литературный критик. Член коммунистической партии Венгрии. В 1919 г. нарком по делам культуры Венгерской советской республики. После разгрома республики эмигрировал; с 1930 г. в Москве, с 1945 г. в Венгрии; участвовал в культурном строительстве ВНР. Т. Манн познакомился с ним в 1922 г. Лукач — автор книги о Т. Манне "В поисках гражданина". Т. Манн ценил его как "человека строгого, чистого и гордого ума".

Люблинский Самуэль (1868—1910) — драматург и критик. Жил в Веймаре, сотрудничал в сионистской газете "Ди Вельт", издававшейся в Вене. Опубликовал в этой газете статьи "О еврейском национальном характере", "Евреи и христиане". Стал объектом издевательской критики со стороны философа и математика Теодора Лессинга за свою книгу "Итог модерна". Т. Манн был особенно возмущен тем, что Лессинг в статье "Самуэль Люблинский подводит итог" в журнале "Ди Шаубюне" разрешает себе насмеяться над еврейской внешностью Люблинского. "Я его защищаю не потому, что он меня хвалил, а потому, что он меня *умно* хвалил", — писал Т. Манн. Люблинский первым чрезвычайно высоко отозвался о "Будденброках" и предсказал книге долгое будущее.

Лютер Мартин (1483—1546) — основатель немецкого протестантизма. С 1508 г. профессор теологии и философии в университете Виттенберга. Ему принадлежит первый перевод Библии на немецкий язык.

Отношение Лютера к евреям претерпевало изменения на протяжении его жизни. Вначале он осуждал преследования евреев, но в 1542 г. написал памфлет "О евреях и их лжи". Высказывания Лютера оказали влияние на отношение лютеранской церкви к евреям и в течение столетий вдохновляли антисемитов.

Вслед за Ницше, Т. Манн считал Лютера олицетворением немецкого характера, которому свойственны несвобода, тупое верноподданничество, униженная покорность перед государственной властью, аполитичность, грубость, суеверный страх перед демонами.

Магнес Иехуда Леон (1877—1948) — еврейский политический и общественный деятель в США и Эрец-Исраэль. Возглавлял реформистскую си-

нагогу в Бруклине (1904), затем в Нью-Йорке (1906). В 1903 г. организовал в Нью-Йорке самую крупную еврейскую демонстрацию против погромов в России. Примкнул к сионистскому движению. Инициатор создания объединенной общины в Нью-Йорке. Содействовал основанию Джойнта. В 1922 г. переехал в Эрец-Исраэль. В 1923 г. возглавил работу по подготовке открытия Еврейского университета в Иерусалиме. С 1925 по 1948 гг. стоял во главе Еврейского университета; его именем названо издательство университета. Выступал против раздела Палестины. Автор многочисленных статей в пользу еврейско-арабского сотрудничества.

Майер Ганс (р. 1907) — немецкий историк литературы. Эмигрировал в 1933 г. Был сотрудником журнала "Мас унд Верт". После войны — главный редактор на радио во Франкфурте, затем профессор Литературного института в Лейпциге. К 80-летию Т.Манна подготовил к изданию 12-томное собрание его сочинений. С 1963 г. профессор в Ганновере. Автор книг "Шиллер и нация", "Немецкая литература и мировая литература" и др.

Малер Густав (1860—1911) — известный австрийский композитор, определивший в значительной степени развитие музыки XX века. Еврей. "Я человек, трижды лишенный родины, — писал Малер, — как чех среди австрийцев, как австриец среди немцев, как еврей во всем мире". Любимый композитор Т.Манна. После премьеры Восьмой симфонии Малера Т.Манн обратился к композитору со следующим письмом: "Высокопочтимый государь, я не был в состоянии в отеле сказать Вам, как глубоко я Вам признателен за впечатление от вечера 12 сентября. Я испытываю сильную потребность хотя бы дать Вам об этом знать и прошу благосклонно принять мою новую книгу /роман

”Королевское высочество” — *пер./*. В качестве ответного дара за то, что я получил от Вас, она, правда, плохо пригодна и весит не больше пушинки в руке человека, в котором, — я думаю, что понял это, — воплощается самая серьезная и самая святая воля нашего времени”.

Манн (Голо) Ангелус Готтфрид Томас (р.1909) — сын Т.Манна, историк и философ. Эмигрировал в 1933 г. Один из редакторов журнала ”Мас унд Верт”. Во время войны служил в американской армии. С 1963 по 1980 гг. один из издателей журнала ”Нейе Рундшау”.

Манн Генрих (1871—1950) — старший брат Т.Манна, крупный романист и эссеист. Автор романов ”Богини” (1903), ”Учитель Гнус” (1905), ”Верноподданный” (1911—14), ”Юность короля Генриха IV” (1935), ”Зрелость короля Генриха IV” (1938) и др., программного эссе о Золя, эссе ”Обзор века” (1945) и др. Последовательный защитник демократии. Кроме периода расхождений с Т.Манном, связанных с позицией последнего в период написания ”Размышлений аполитичного”, братьев связывала на протяжении всей жизни глубокая личная и творческая дружба, духовное родство. (”В высшем смысле у меня только один брат”, — писал Т.Манн.) Г.Манн эмигрировал в 1933 г. во Францию, в 1940 г. уехал в США.

Манн Клаус (1906—1949) — старший сын Т.Манна, писатель, журналист. Покинул Германию в марте 1933 г. С осени 1933 г. до конца 1935 г. издавал в Амстердаме первый литературный журнал немецкой эмиграции ”Ди Заммлунг”. Служил в американской армии. Автор сборника новелл ”Перед жизнью” (1925), драмы ”Аня и Эстер” (1925), биографического романа ”Точка поворота” (1942), романа ”Мефисто” (1936), романа о Чайковском

”Патетическая симфония (1935) и др. Покончил с собой.

Манн Эрика (1905—1969) — старшая, любимая дочь Т. Манна. Актриса, журналистка, писательница. Автор книги ”Последний год. О моем отце”. 1 января 1933 г. основала в Мюнхене литературное кабаре ”Перцемолка” и писала для него тексты. После эмиграции Э. Манн в 1933 г. представления этого кабаре состоялись во многих европейских городах. В годы войны Э. Манн — корреспондент американских газет. Она сопровождала Т. Манна в его поездках с выступлениями по США. Была корреспондентом американских газет во время Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками. Хранительница литературного наследия Т. Манна. В 1961—1965 гг. издала трехтомник избранных писем Т. Манна.

Мейер Агнес (1887—1970) — американская журналистка, жена издателя газеты ”Вашингтон Пост”. Познакомилась с Т. Манном в 1937 г. Перевела на английский его эссе ”О грядущей победе демократии”. В течение почти двадцати лет активно переписывалась с Т. Манном; их переписка насчитывает около 300 писем.

Мартенс Курт (1870—1945) — немецкий писатель, с которым Т. Манн дружил в 900-е годы. Сотрудник газеты ”Мюнхнер Нейсте Нахрихтен”.

Масман Ганс Фердинанд (1797—1874) — организатор спортивного движения в Германии.

Марк Франц (1880—1916) — немецкий художник, сначала импрессионист, потом кубист.

Мацукетти Лавиния (1889—1963) — итальянская писательница, литературовед, переводчица произ-

ведений Т. Манна и автор статей о нем. К 80-летию Т. Манна опубликовала статью "Томас Манн — человек". Ей было адресовано последнее письмо Т. Манна.

Менухин Иехуда (р. 1916) — один из крупнейших скрипачей XX века. Работает в США. Гастролирует как солист и ансамблист. Основал школу для одаренных детей в Англии, организовал несколько международных музыкальных фестивалей.

Мильштейн Натан (р. 1904 г.) — знаменитый скрипач, уроженец России. Живет в США.

Моло Вальтер фон (1880—1958) — немецкий писатель. С 1928 по 1930 гг. президент литературной секции Прусской Академии искусств. Во время нацизма принадлежал к внутренней эмиграции. В 1933 г. вышел из Прусской Академии искусств. Автор трилогии о Шиллере, романа "Народ рассыпается" (1922). В 1945 г. первый обратился к Т. Манну с призывом вернуться в Германию.

Мэннинг (1866—1949) — протестантский епископ Нью-Йорка в 1921—46 гг.

Мюзам Эрих (1878—1934) — немецкий поэт, драматург, публицист левосоциалистического направления. Автор текстов для политических кабаре. В 1919 г. участник борьбы за создание Баварской советской республики. С 1919 по 1925 гг. находился в тюрьме. В 1933 г. был снова арестован. Автор сборника стихов "Горящая земля" (1920), драмы "Иуда" (1921) и др. Погиб в концлагере Ораниенбург. Нацисты повесили его, инсценировав самоубийство.

Нибур Рейнгольд (1882—?) — американский теолог.

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма, один из основателей "философии жизни". Некоторые тенденции его учения использовали идеологи немецкого фашизма. О взглядах Т. Манна на творчество Ф. Ницше см. статью д-ра Л. Дымерской-Цигельман в наст. сб.

Нольде Эмиль (1867—1956) — немецкий живописец и график. Экспрессионист. В годы власти нацистов ему было запрещено заниматься живописью. В знак протеста создал за это время сотни аварелей, назвав их "Ненаписанные картины".

Ольберг Пауль (1878—1960) — немецкий писатель и журналист социал-демократических убеждений. В 1933 г. эмигрировал в Швецию. Автор книг "Русский империализм" (1940), "Антисемитизм в Советском Союзе" (1953).

Опиц Вальтер (1879—?) — немецкий писатель. Автор книги "Тени, что вызваны заклинанием".

Орманди Юджин (наст. фам. Браун, 1899—1987) — дирижер, руководитель Филадельфийского симфонического оркестра. Уроженец Будапешта.

Опрехт Эмиль (1895—1952) — цюрихский книгопродавец и издатель. Основал издательства "Опрехт и Гельбинг" и "Ойропа" — ведущие антифашистские издательства Швейцарии. Издавал многих писателей-эмигрантов, журнал "Мас унд Верт" и т. д. Друг Т. Манна. "Мое самое прекрасное воспоминание о нем относится к тому дню под Новый, 1937 год, когда я в его кабинете читал ему только что написанное письмо в Бонн /имеется в виду письмо декану Боннского университета, см. наст. сб. — *ред.*/, то обвинение растлителям Германии, ко-

торое благодаря его инициативе обошло весь мир” (Т. Манн. “Ди Вельтвохе” от 17 октября 1952 г.).

Ортега-и-Гасет Хосе (1883—1955) — испанский философ, публицист и общественный деятель. Один из главных представителей концепции “массового общества”, “массовой культуры” (“Восстание масс”, 1929—30) и “теории элиты”. В эстетике выступал как теоретик модернизма (“Дегуманизация искусства”, 1925).

Осецкий Карл фон (1889—1938) — известный публицист левого направления. Один из редакторов социал-демократической газеты “Берлинер Фольксцейтунг”. С 1926 по 1933 гг. редактор еженедельного политического журнала “Вельтбюне”. Выступал против милитаризации Германии, за что был судим пять раз. В 1931 г. был осужден на два с половиной года заключения в крепости, освобожден по амнистии в 1932 г. Вновь арестован на следующее утро после пожара рейхстага в феврале 1933 г. С 1934 г. узник концлагеря. В 1936 г. Т. Манн обратился в Нобелевский комитет с ходатайством о награждении Осецкого Нобелевской премией мира. Осецкому была присуждена премия (1936), но нацисты не разрешили ему ее получить и не выдали ее семье после смерти Осецкого. Умер в больнице, где находился под надзором полиции. “Как немец, которого отвращение перед подлостью и опасностью нацистского режима заставили покинуть Германию, я с благодарностью и почтением отдаю дань памяти человека, который шесть лет назад умер смертью мученика за свободу и мир”. (Т. Манн. “Памяти Карла фон Осецкого”, 1944).

Павезе Чезаре (1908—1950) — известный итальянский романист и поэт, переводчик американской литературы. Автор поэтического сборника “Южные моря”, повестей “Прекрасное лето”, “Дьявол

на холмах” и др. Его творчество вызывало противоречивые отклики критики: одни считали его ”лидером неореализма”, другие — декадентом. Покончил с собой.

Паскаль Блез (1623—1662) — французский религиозный философ, писатель, математик и физик. Его ”Письма к провинциалу” (1657) — шедевр французской полемической сатирической прозы. В своем главном труде ”Мысли” развивает представление о трагичности и хрупкости человеческого существа (человек — ”мыслящий тростник”).

Перль Вальтер (р. 1909) — американский литературовед. Автор книги ”Томас Манн, 1933—1945. От немецкого гуманиста до американского гражданина мира”.

Пехштейн Макс (1881—1955) — немецкий живописец и график, экспрессионист. Один из основателей ”Сецессиона”. С 1933 г. власти запретили ему заниматься живописью.

Планк Макс (1858—1947) — знаменитый немецкий физик, основатель квантовой теории. Открыл закон излучения ”черного тела”. Лауреат Нобелевской премии (1918).

Поллак Ганс — германист; в 1945 г. жил в Австралии.

Понтен Иозеф (1883—1940) — немецкий писатель, жил в Мюнхене. Часто встречался с Т.Манном. Автор романов ”Вавилонская башня”, ”Народ в пути”. В середине двадцатых годов разошелся с Т.Манном. Поддерживал национал-социалистов.

Пуанкаре Раймон (1860—1934) — французский политический деятель, умеренный республиканец. В

1913—1920 гг. президент Французской республики. Был проповедником войны-реванша против Германии; стремился обеспечить экономическую гегемонию Франции в Европе; выступал за оккупацию Рура. Во второй половине двадцатых годов был сторонником сближения с Германией.

Публицист Иозеф — личность установить не удалось.

Радек Карл (1885—1939) — крупный советский политический деятель, публицист, литератор. Работал в Германии с Розой Люксембург; после Февральской революции переехал в Россию. С 1919 по 1924 гг. член ЦК ВКП(б). В 1920 г. секретарь Исполкома Коминтерна. В 1924 г. примкнул к троцкистской оппозиции, в 1927 г. исключен из партии. В 1930 г., после "признания своих ошибок", восстановлен. Руководил отделом Центральной Европы Наркоминдела.

Ратенау Вальтер (1867—1922) — экономист, писатель, политик. В 1921 г. министр восстановления экономики Веймарской республики, инициатор многочисленных проектов развития экономики. Сторонник германо-французского сближения. С 1922 г. министр иностранных дел Веймарской республики. Убит 24 мая 1922 г. антисемитами, сторонниками Гитлера. Спекулируя на патриотических чувствах немцев, Гитлер распорядился поставить памятник убийцам с надписью — цитатой из листовки Эрнста Морица Арндта (1769—1860), писателя и публициста, призывавшего к борьбе против наполеоновского господства — "Делай то, что ты должен сделать".

Ревальд — личность установить не удалось.

Рём Эрнст (1887—1934) — один из руководителей

нацистской партии. Был знаком с Гитлером с 1919 г. С 1930 г. начальник штурмовых отрядов (СА), использовавшихся для уличных боев с политическими противниками. В штурмовые отряды входили главным образом деклассированные элементы, безработные, бывшие фронтовики, их численность доходила до 4 миллионов. У Рёма были разногласия с Гитлером по вопросу о роли СА, которые он хотел превратить в основное ядро армии. Зная о том, что Рём готовит путч, 30 июня 1934 г. Гитлер вызвал всех руководителей СА в Бад-Висзее якобы на совещание. По его приказу Рём был арестован и затем расстрелян в тюремной камере в "ночь длинных ножей". Вместе с ним были арестованы и расстреляны 83 его сторонника.

Ренан Эрнест (1823—1892) — французский теолог и писатель, автор книги "Жизнь Иисуса", где он пытается осмыслить евангельский сюжет, устраняя из него все сверхъестественное, а также книги "История еврейского народа". Оказал большое влияние на современников.

Ример Фридрих Вильгельм (1774—1845) — немецкий ученый-филолог. Жил в семье Гёте на положении воспитателя его сына Августа. Был также секретарем и доверенным лицом поэта.

Рихнер Макс (1897—1965) — швейцарский литературовед, почитатель творчества Т. Манна. Опубликовал более пятидесяти работ о нем.

Реглер Густав (1898—1963) — немецкий писатель, участник Гражданской войны в Испании в составе Интернациональной бригады. Автор романа "Хлеб, вода и пули".

Роден Огюст (1840—1917) — крупнейший французский скульптор, один из основоположников им-

прессионизма в скульптуре. Его произведения отличаются философской глубиной и жизненностью.

Ромен Жюль (1885—1972) — известный французский писатель. Годы Второй мировой войны провел в эмиграции. В своей многотомной эпопее "Люди доброй воли" высказал неверие в возможность революционной перестройки общества.

Ротмунд Генрих (1888—1961) — начальник отдела швейцарской полиции, занимавшегося делами иностранцев.

Рубинштейн Артур (1887—1982) — всемирно известный пианист. Родом из Польши. Т. Манн встречался с ним, восхищался его игрой. В Израиле проводятся международные конкурсы пианистов имени А. Рубинштейна.

Рузвельт Делано (1882—1945) — президент Соединенных Штатов с 1933 по 1945 гг. В 1937 г. выступил с осуждением политики гитлеровской Германии.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский философ, писатель, композитор. Виднейший представитель французского сентиментализма. Подверг критике современную ему цивилизацию, противопоставляя ей "естественное состояние", при котором все люди равны и свободны. Идеи Руссо оказали влияние на общественную мысль и литературы многих стран.

Рэм Вальтер (1901—1963) — немецкий литературовед. Автор книг "Идея смерти в немецкой поэзии", "Античность и эпоха Гёте" и др.

Сигети Иозеф (1892—1973) — знаменитый скрипач. Еврей венгерского происхождения. Пропагандист современной музыки. С 1940 г. жил в США.

Слочауэр Гарри (1900—?) — американский литературовед и социолог. Автор книги "История Иосифа Т.Манна" и многих статей о творчестве Т.Манна.

Стерн Лоренс (1713—1768) — английский писатель, родоначальник литературы сентиментализма. Его произведения отличаются мастерством художественной формы, острой наблюдательностью и психологизмом. Один из любимых писателей Т.Манна.

Тиссен Фриц (1873—1951) — создатель сталелитейной промышленности Германии. Одним из первых поддержал нацистскую партию. Был назначен Гитлером государственным советником. Протестовал против преследования евреев. В 1939 г. эмигрировал; арестован в оккупированной зоне Франции. До освобождения в 1945 г. был узником концлагеря.

Уитмен Уолт (1819—1892) — американский поэт и эссеист. Автор широко известного сборника стихотворений "Листья травы". Т.Манн высоко ценил его и писал, что его творчество представляет собой "единство гуманности и демократии".

Унру Фриц фон (1885—1970) — немецкий драматург, экспрессионист. Его книги пользовались большим успехом у читателей во время Веймарской республики, особенно антивоенная трагедия "Род" (1917), поставленная Максом Рейнгардтом. Последовательный противник милитаризма. Эмигрировал в 1932 г. Написал в эмиграции антигитлеровский роман "Тот, который никогда не терпел поражения" (1947).

Унсет Сигрид (1882—1951) — известная норвежская писательница. Эмигрировала в США. Участница сборника "Десять заповедей".

Уэст Ребекка (1892—?) — английская писательница. Участница сборника "Десять заповедей".

Фальке Конрад (наст. фам. Фрей; 1880—1942) — немецкий журналист. Один из редакторов журнала "Мас унд Верт".

Фези Роберт (1883—1972) — швейцарский литературовед. Близкий знакомый Т.Манна. Переписывался с ним с 1914 по 1955 гг. Автор книги "Томас Манн — мастер прозы" (1955).

Фиртель Бертольд (1885—1953) — австрийский писатель и режиссер. Эмигрировал в 1931 г. в Лондон, с 1939 г. в США. Стихотворение "В аду" издано в 1941 г. в Нью-Йорке. В 1948 г. вернулся в Вену.

Фишер Самуэль (1859—1934) — немецкий издатель. Основал в 1886 г. изд-во С.Фишера. Первый и постоянный издатель Т.Манна. "Открыл" многих, ставших впоследствии известными, писателей; публиковал лучшие произведения европейской литературы. Друг Т.Манна. "Часть моей собственной жизни уходит в могилу вместе с этим старым, усталым человеком, целая эпоха, к которой я себя чувствовал принадлежащим духовно и нравственно, и лишь отдельные ее представители продолжают дело своей жизни в климате, им совершенно чуждом" — писал Т.Манн в газете "Базлер Нахрихтен" 28 октября 1934 г. в статье "Памяти С.Фишера".

Франк Бруно (1887—1945) — немецкий романист и драматург. Близкий друг Т.Манна. Эмигрировал из Германии после пожара рейхстага. С 1937 г. жил в США. Автор драмы "Двенадцать тысяч" (1927), романа "Сервантес" (1934) и др. Участник сборника "Десять заповедей". "...Я любил его привязанность к городскому образу жизни, вежливость его сердца, его ясный и веселый ум, короче, его гуманизм,

которому он неизменно оставался верен, несмотря на распутно-соблазнительные агуманистические и антигуманистические эскапады нашего времени..." (речь Т. Манна на панихиде по Франку 29 сент. 1945 г.).

Франк Леонгард (1882—1961) — немецкий романист и драматург. Пацифист. Эмигрировал в 1933 г. в Швейцарию, затем в Париж, в 1940 г. в США. Автор романа "Человек добр" (1918), автобиографической книги "Слева, где сердце" (1952) и др.

Фрей Мориц (1881—1957) — немецкий писатель, родом из Мюнхена. В 1933 г. эмигрировал в Австрию, затем в Швейцарию. Хороший знакомый Т. Манна. Т. Манн написал предисловие к одной из его книг.

Фриделл Эгон (1878—1938) — австрийский театральный критик, историк искусств, журналист. Т. Манн называл его одним из лучших немецких стилистов.

Фридрих Вильгельм (1620—1688) — курфюрст Бранденбургский из династии Гогенцоллернов. Заложил основы прусского абсолютизма. Создал регулярную армию, проводил политику централизации.

Фромер Якоб (1865—?) — уроженец Польши, сотрудник библиотеки еврейской общины в Берлине, востоковед. В статье, опубликованной в 1904 г. в журнале "Цукунфт", советовал евреям, "учитывая неполноценность их религии, принять веру народов, среди которых они живут". В книге "Сущность еврейства" (1905) писал, что "нация без родины осуждена на исчезновение". В дальнейшем изменил свои взгляды.

Фульда Людвиг (1862—1939) — немецкий писатель и переводчик Мольера. С 1926 г. заместитель председателя секции литературы Прусской Академии искусств. Автор драм "Честные" (1883), "Талисман" (1893) и др. Подвергался преследованиям как еврей. Покончил с собой.

Фучик — личность установить не удалось.

Хаксли Олдос (1894—1963) — известный английский писатель, автор антиутопий, интеллектуальных романов и т. д. Был частым гостем Т. Манна в США. "В искусстве Хаксли, в частности, в его эссеистике я восхищаюсь утонченностью западно-европейского духа" (Т. Манн. Письмо к Кереньи от 20.2.34).

Хейфец Иосиф (Яша) (1901—1987) — крупнейший скрипач XX века.

Хофер Карл (1879—1955) — немецкий живописец и график, профессор Берлинской Академии искусств.

Хух Рикарда (1864—1947) — немецкая писательница, ведущая представительница неоромантического направления в немецкой литературе. Жила в Мюнхене. В 1933 г. в знак протеста против преследования евреев демонстративно вышла из Прусской Академии искусств. Почетный председатель Первого съезда немецких писателей, состоявшегося в 1947 г. в Берлине. После смерти была издана ее книга "Безмолвное сопротивление" — о группе мюнхенских студентов "Белая роза", казненных за сопротивление нацистскому режиму.

Черчилль Уинстон (1874—1965) — крупнейший английский политический деятель. С 1924 по 1929 гг. — министр финансов в консервативном правительстве Англии. В 1939 г. — военно-морской министр.

В мае 1940 г. — премьер-министр коалиционного правительства. После поражения консерваторов в 1945 г. стал во главе консервативной оппозиции в парламенте. 1951—1955 гг. — глава правительства Великобритании.

Шницлер Артур (1862—1931) — австрийский драматург, романист, врач. Автор социально-критических пьес "Лейтенант Густль", "Профессор Бернарди" и др. Его пьесы ставились Еврейским культурбундом в Германии во времена нацизма. "...Я только нащупывал свой путь, когда его имя уже блистало, и я навсегда сохранил радостно-почтительное отношение к нему. Его трезвое знание мира и людей, актуальность поставленных им проблем, чистота и благородство его стиля, его безупречный вкус, который уберег его от ошибок и неудач, его сильный интеллект, жизненность и убедительность характеров в его драмах и четкая, захватывающая форма его новеллистики... обаяние его личности — все это превращало часы, проведенные в театре или за чтением его произведений, в часы счастливо-возвышенного ощущения жизни". (Т. Манн, журн. "Меркер", Вена, 1912, №8.).

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-кантианец. В главном труде "Мир как воля и представление" сущность мира предстает как неразумная воля, слепое, бесцельное влечение к жизни. Его философия оказала значительное влияние на эстетику символизма.

Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ, историк, представитель "философии жизни". Главное сочинение "Закат Европы". Развил теорию о культуре как множестве замкнутых "организмов" (египетская, индийская, китайская культуры и т. д.), выражающих коллективную "душу народа" и проходящих определенный жизненный цикл — рожде-

ние, расцвет, смерть; в стадии умирания, например, находилась, по Шпенглеру, западная культура. В статье "Об учении Шпенглера" (1924) Т. Манн резко критикует его концепции.

Штейнберг Вильям (наст. имя Ганс Вильгельм; 1899—1978) — немецкий дирижер. В 1936 г. по приглашению Бронислава Губермана приехал из США в Палестину, готовил первое выступление Палестинского филармонического оркестра, затем работал там дирижером-ассистентом. Вернулся в США, был музыкальным директором Питтсбургского симфонического оркестра.

Штернгейм Карл (1878—1942) — известный немецкий писатель, экспрессионист. Автор остро-критических комедий "Штаны" (1911), "Сноб" (1914) и др. и сборника новелл "Хроника начала XX века" (1918).

Шторм Теодор (1817—1888) — крупный немецкий писатель, поэт, новеллист. Один из любимых писателей Т. Манна.

Штраус Рихард (1864—1949) — крупный немецкий композитор. Автор известной оперы "Кавалер роз". Пользовался покровительством нацистов. Подписал коллективное письмо-протест против интерпретации Т. Манном творчества Вагнера, где Т. Манн обвинялся в принижении роли и значения Вагнера в немецкой и мировой культуре.

Штукеншмидт Ганс-Гейнц (1901—?) — немецкий музыковед, композитор. В нацистское время был лишен права печататься. С 1947 г. профессор истории музыки.

Эберс Георг Фриц (1837—1898) — египтолог, автор так называемых исторических "профессорских" ро-

манов "Ночь египетского фараона", "История моей жизни" и др.

Эберт Фридрих (1871—1925) — первый президент Веймарской республики. Социал-демократ, был лидером профсоюзного движения Германии. "Известие о смерти Эберта глубоко потрясло меня. Моя симпатия к нему безгранична... Я познакомился с президентом во Франкфурте четыре года назад во время Недели Гёте... я встречался с ним и позднее, и он оставил у меня впечатление доброты, спокойствия, мужественности; я заключил его в свое сердце как друга" (Т. Манн. Памяти Эберта, "Франкфуртер Цейтунг" от 6 марта 1925 г.).

Эйнауди Джулио (р. 1912) — основатель итальянского издательства "Эйнауди" в Турине, где издавались многие писатели-антифашисты — Антонио Грамши, Чезаре Павезе, Наталия Гинзбург и др.

Эйнштейн Альберт (1879—1955) — великий физик, создатель теории относительности, внес огромный вклад в разработку квантовой теории. Лауреат Нобелевской премии (1921). В 1933 г. эмигрировал в США. Поддерживал дружеские отношения с Т. Манном. "Я рад возможности высказать Томасу Манну мою признательность и восхищение честной позицией, которую он занимал по отношению ко всем лицам и группам в самых различных обстоятельствах. Это качество в моих глазах значит даже больше, чем его художественные достижения" (из письма А. Эйнштейна в журнал "Нейе Рундшау" в связи с 80-летием Т. Манна).

Входил в состав Еврейского агентства, членами которого были как сионисты, так и несионисты. В 1930 г. подписал протест против запрещения в Советском Союзе изучать иврит. Содействовал поселенческой деятельности в Эрец-Исраэль. (В музее школы-интерната в Бен-Шемене, созданной

в 1938 г. в Эрец-Исраэль для вывезенных из Германии еврейских детей, хранится приветственное письмо Эйнштейна.

Т. Манн в связи с кончиной А. Эйнштейна писал: "Глубоко потрясенный известием о смерти Альберта Эйнштейна, я могу в эту минуту сказать только, что с кончиной этого человека, чья слава уже при жизни стала легендарной, для меня погас свет, который был мне много лет утешением в мрачном хаосе нашего времени... То, что я любил, чем восхищался и что всегда буду чрезвычайно ценить — это его нравственная позиция. Приверженный идее человечности, гуманистической идее, он был чужд всякого конформизма и смело защищал свои убеждения" ("Нейе Цюрхер Цейтунг" от 19 апреля 1955 г.).

Эккерман Иоганн Петер (1792—1854) — писатель, личный секретарь Гёте. Издал мемуары "Разговоры с Гёте в последние годы жизни".

Энгельман Конрад (1892—?) — немецкий экономист, автор многих статей по экономическим вопросам.

Эренштейн Альберт (1886—1950) — австрийский писатель, еврей по происхождению. Экспрессионист. Автор сборника "Человек кричит".

Эрлих Пауль (1854—1915) — немецкий врач, бактериолог и биохимик. Открыл средство против сифилиса. Лауреат Нобелевской премии (1908, совместно с И. И. Мечниковым).

Эррио Эдуард (1872—1957) — лидер партии радикалов и радикал-социалистов Франции. Мэр Лиона с 1905 г. до своей смерти (кроме лет немецкой оккупации). С 1916 г. неоднократно входил в правительство. После парламентских выборов 1924 г.

— премьер-министр в коалиции "левого блока".

Эразм Роттердамский (1469—1536) — нидерландский ученый, писатель, богослов, филолог, виднейший гуманист эпохи Возрождения. Его учение о "христианском гуманизме" основано на нравственных обязательствах человека перед Богом, а не на характерной для лютеранской идеи униженности человека перед Всевышним. Автор антилютеровского трактата "О свободе воли".

Юнг Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог и психиатр, был одним из ближайших сотрудников Зигмунда Фрейда, затем порвал с ним. В книге "Метаморфозы и символы либидо" (1912) развил учение о коллективном бессознательном, в образах которого ("архетипах") содержится источник общечеловеческой символики, в том числе — символики мифов и сновидений. Оказал влияние на культурологию, сравнительное религиоведение и др.

Ян Фридрих Людвиг (1778—1852) — основатель немецкого спортивного движения, целью которого было укрепление физической и моральной силы народа для борьбы против наполеоновского господства. В 1811 г. открыл первую спортивную площадку в Берлине.

Ясперс Карл (1883—1969) — немецкий философ-экзистенциалист и психиатр. С 1921 г. профессор философии Гейдельбергского университета. В 1933 г. был отстранен от преподавательской деятельности. После войны опубликовал книгу "О немецкой вине".

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדסטין - ספריה
מס. מלאי.....

1207

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОСТАВИТЕЛЯМИ

Thomas Mann. Gesammelte Werke. 13 Bände. Frankfurt/M., S. Fischer Verlag, 1974.

Thomas Mann. Briefe. 3 Bände. Hrsg. von Erica Mann. Frankfurt/M., S. Fischer Verlag, 1961.

Thomas Mann. Tagebücher, Hrsg. von Peter de Mendelsohn. Bd. 1918—21, 1933—34, 1935—36, 1937—39, 1940—43. Hrsg. von Inge Jens. Bd. 1944 bis 1.4.1946. Frankfurt/M., S. Fischer Verlag, 1977—86.

Thomas Mann. Frage und Antwort. Interviews 1909—55. Hamburg, Verlag Knaus, 1983.

Томас Манн. Собрание сочинений в 10-ти тт. М., "Художественная литература", 1959—1961.

Томас Манн. Письма. М., "Наука", 1975.

КНИГИ ИЗД-ВА "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А.И.Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р.и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917--1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ

32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж.и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ
37. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И.Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И.Кауфман. Библейская эпоха
Л.Финкелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
Ш.Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. А.Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник

69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л.Коллинз и Д.Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М.Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М.Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф.Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф.Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А.Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х.Н.Бялик и И.Х.Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
 Б.Динур. Исторические основы возрождения Израиля;
 С.Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Х.Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД ИЕРУСАЛИМ
 С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М.Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А.Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М.Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н.Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финжелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М.Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1

106. **Михаэль Бар-Зохар.** БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2
107. **ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ.** Сборник статей
108. **Ахарон Аппельфельд.** ПОРА ЧУДЕС
109. **Гилель Бутман.** ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. **Голда Меир.** МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. **Голда Меир.** МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. **Василий Гроссман.** НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
112. **Василий Гроссман.** НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. **В ОТКАЗЕ.** Сборник
114. **Гершом Шолем.** ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1
115. **Гершом Шолем.** ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2
116. **Эфраим Урбах.** МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. **В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ.** Сборник рассказов современных израильских писателей
118. **Владимир (Зев) Жаботинский.** ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания
119. **Оскар Минц.** ПРИЗМЫ
120. **Игал Аллон.** ЩИТ ДАВИДА
121. **Моше Даян.** ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. **Иерухам Кохен.** ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера
123. **Исраэль Таяр.** СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. **Виталий Рубин.** ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. **Виталий Рубин.** ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. **Анита Шапира.** БЕРЛ. Книга 1
127. **Анита Шапира.** БЕРЛ. Книга 2
128. **Хаим Гвати.** КИБУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. **Виктория Левитина.** РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1
130. **Виктория Левитина.** РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2
131. **Януш Корчак.** ИЗБРАННОЕ
132. **Ашер Бараш.** ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. **Ицхак Орен (Надель).** МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ
134. **Андре Неер.** КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. **Ицхак Зив-Ав.** ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...
136. **Эрбер Ле Поррье.** ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. **ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ.** Становление и развитие. Книга 1
138. **ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ.** Становление и развитие. Книга 2
139. **ИЗРАИЛЬ.** Географический справочник
140. **Шломо Гилель.** С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. **М.Бейзер.** ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ

142. Абба Ковнер. КНИГИ СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И.Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ ЦАРЕЙ
И БУНТАРЕЙ
149. И.Гутман, Х.Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ
159. И.Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А.Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И.Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС — II. Сборник произведений израильских
литераторов, пишущих по-русски
165. Р.Зернова. ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ. Рассказы
166. П.Пели. ТОРА СЕГОДНЯ
167. Р.Маркус, Г.Козн, А.Галкин. ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ
ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. С.Кац. ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ
169. Э.ЛУЗ. ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. Яков Кац. КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
171. ИЗРАИЛЬСКАЯ НОВАЯ ПОЭЗИЯ. Сборник переводов

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. Рут Сэмюэлс. ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. Дорит Оргад. МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. Ури Орлев. ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. Амос Оз. СУМХИ
5. Шмуэль Хуперт. ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. Й. Сегал. ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. Яэль Розман. МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И ПНИНОЙ
8. Двора Омер. ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. Сами Михаэль. ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. Шмуэль Авидор-Хакохен. И СОТВОРИЛ БОГ...
11. Двора Омер. ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. Юрий Суль. ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. Ицхак Ной. РОН И ДЖУДИ
14. И. Башевис-Зингер. ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов и сказок для детей
15. Эстер Файн. ХАДАС
16. Н. Гутман и Э. Бен-Эзер. МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ СИНЬЮ
17. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской детской поэзии и прозы. Том I
18. СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я! Антология израильской детской поэзии и прозы. Том II
19. Одед Бецер. НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том I
22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том II
23. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
24. Гиля Альмагор. ДЕВОЧКА СО СТРАННЫМ ИМЕНЕМ
25. Тамар Бергман. ПО ШПАЛАМ

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

Наши книги можно заказать

также по адресу:

Р.О.В. 4140

91041 Jerusalem

Israel

